

● **ДЖОН ЛЕ-КАРРЕ. МАЛЕНЬКАЯ БАРАБАНЩИЦА.**

Впервые на русском языке — самый нашумевший детективный роман последнего десятилетия: поединок израильской разведки с неуловимой группой палестинских террористов.

● **ЛЕОНИД ЦЫПКИН. МОСТ ЧЕРЕЗ НЕРОЧЬ.**

Когда будет опубликовано все, написанное (но так и не напечатанное в России) этим автором, перед читателем откроется один из лучших и интереснейших русских писателей последних лет.

● **МАРК АЗБЕЛЬ. ПИСЬМА ИЗ ИЗРАИЛЯ.**

Письмо первое: наука по-еврейски и наука по-американски.

● **ДОРА ШТУРМАН/ЛЕВ ЛОСЕВ. ЧИТАЯ СОЛЖЕНИЦЫНА.**

Парвус — и Ленин. Богров — и Столыпин.

39

**22**

№ **39**

МОСКВА - ИЕРУСАЛИМ

---

# ДВАДЦАТЬ ДВА

---

общественно-политический и литературный журнал  
еврейской интеллигенции из СССР в Израиле

---

Год издания VII

№ 39

ноябрь-декабрь 1984

---

## СОДЕРЖАНИЕ

### ЛИТЕРАТУРА

- ЛЕОНИД ЦЫПКИН. Мост через Нерочь (повесть;  
предисловие М. Цыпкина) . . . . . 3  
Н. Н. (Ленинград) (стихи) . . . . . 41  
ДЖОН ЛЕ-КАРРЕ. Маленькая барабанщица (роман, продолжение;  
сокращенный перевод с английского Н. Воронель) . . . . . 47

### ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

- МАРК АЗБЕЛЬ. Письма из Израиля. Письмо первое:  
наука по-еврейски и наука по-американски . . . . . 113

### ПОЛЕМИКА

- ЕФИМ ФИШГЕЙН. Глядим назад мы без боязни . . . . . 132

### ОЧЕРКИ И ВОСПОМИНАНИЯ

- ВАЛЕРИЙ КУКУЙ. Не ударю . . . . . 139

### ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

- ДОРА ШТУРМАН. Солженицын о Ленине в Цюрихе (окончание) . . . . . 158  
ЛЕВ. ЛОСЕВ. Великолепное будущее России (заметки при чтении  
"Августа Четырнадцатого" А. Солженицына) . . . . . 173

### МУЗЫКА НАШИХ ДНЕЙ

- ФЕЛИКС РОЗИНЕР. Симфония ля-мажор "Юбилей" . . . . . 192

## ЛЮДИ И КНИГИ

ЗЕЕВ БАР-СЕЛЛА. К вопросу о древнейшей истории евреев Кавказа . . . . .	213
ЮРИЙ КОЛКЕР. Ленинградский Клуб-81 . . . . .	219
ЯКОВ АШКЕНАЗИ. "Цветной туман" . . . . .	222

---

### ИЗДАНИЕ

**общественного культурного фонда "Москва-Иерусалим" под покровительством Израильского комитета ученых при общественном совете солидарности с евреями СССР**

**главный редактор — Рафаил Нудельман**

#### Редакционная коллегия:

<b>В. Богуславский</b>	<b>Ю. Меклер</b>
<b>А. Воронель</b>	<b>Н. Рубинштейн</b>
<b>Н. Воронель</b>	<b>М. Хейфец</b>
<b>Э. Кузнецов</b>	<b>Я. Цигельман</b>
<b>И. Чаплина</b>	

заведующая редакцией — Мириам Бар-Ор  
технический редактор — Наталья Рубина  
—  
Всю корреспонденцию направлять по адресу:  
"22", P. O. B. 7045, Ramat-Gan, Israel

**Телефон редакции — 03/394525**

Все права на материалы журнала (за исключением особо оговоренных случаев) принадлежат издательству "Москва—Иерусалим". Использование материалов без ведома и согласия издательства не разрешается.

**Заказы на подписку за рубежом можно направлять в адрес представителей журнала:**

#### Соединенные Штаты

L. Khotin, 235 17 Mile Dr. Pacific Grove, Ca. 93950, USA  
A. Zeide, 455 West 43 th St., Apt. 38, New-York, N. Y. 10036

#### Западная Германия

L. Roitman, 67 Oettinger str. am Englischen Garten, 8 Muenchen 22, BDR  
L. Gerschtein, 27 Bruckner str. 8 Muenchen 80

#### Великобритания

R. Weisman, 1 Lodge Rd., Hendon, London NW 4

Отпечатано в типографии  
"ЯКОВ ПРЕСС"  
ул. Рош-Пина, 22  
Тель-Авив

# ЛИТЕРАТУРА

Леонид Цыпкин

## МОСТ ЧЕРЕЗ НЕРОЧЬ

### Несколько слов о Леониде Борисовиче Цыпкине (1926–1982)

*Мой отец несколько не удивился бы, если бы ему сказали, что ему не удастся увидеть ни одной написанной им строки в печати. Будучи русским интеллигентом и евреем в СССР, отец знал, что родился под вдвойне неблагоприятной звездой. Он всегда чувствовал, что внешнее благополучие, сопутствовавшее ему многие годы, призрачно и что беды, преследовавшие людей его поколения и круга, наступят в конце концов и его.*

*Леонид Борисович Цыпкин родился в 1926 году в Минске, в потомственной врачебной еврейской семье. События его детства и юности были вполне предсказуемыми: арест и гибель родных, бегство от немцев в 1941 году, опять гибель родных — в Минском гетто, эвакуация в Уфу, голод, холод и антисемитизм. Потом были медицинский институт, жена и сын, кандидатская диссертация, безработица во время “борьбы с космополитизмом” и ожидание ареста во время “дела врачей”. Сталин умер, и жизнь, казалось, пошла хоть и не круто, но устойчиво вверх: переезд в Москву, работа в Институте полиомиелита АН СССР, докторская диссертация, около 100 научных публикаций, кооперативная квартира в центре Москвы, членство в Доме ученых. Вижу отца, как сейчас: в дубленке, с тяжелым портфелем — уважаемый научный работник, член привилегированной касты, коллеги ценят его профессиональное мнение и опасаются его острого языка, лаборантки побаиваются за строгость и любят за справедливость; он пунктуален, у него все всегда сделано вовремя; он глава семьи с гипертрофированным, как сказал бы он сам, чувством долга перед близкими и друзьями — кто бы ни заболел, можно не сомневаться: отец всегда устроит в хорошую больницу, вытащит из портфеля и накинув на плечи белый халат уверенно пройдет сквозь любые гриппозные карантинные и поговорит с лечащим врачом. Все это так — и все равно, стандартные биографические данные настолько же скрывают моего отца, насколько рассказывают о нем.*

*Всю жизнь (и чем дальше, тем больше) его беспокоили “проклятые” вопросы: можно ли выкроить из абсурдности существования духовно осмысленную жизнь? можно ли это сделать без веры и как найти Бога? как*

нести свое еврейство — как проклятие или благословение? В жизни отца с девяти до пяти, в статьях, конференциях, вакцинах, сыворотках, культурах ткани ответа на эти вопросы не было. Он бы хотел вырваться из наезженной и комфортабельной колеи — порывался уйти из медицинского института на филологический факультет; пятнадцать лет спустя, уже вполне устроенный научный работник, увлекся любительским кино и мечтал пойти учиться во ВГИК. В начале 60-х годов он стал писать стихи, а через несколько лет написал свой первый рассказ. Читателей было мало — жена, несколько друзей, сын и пара юнцов — приятелей сына. В редакциях показывал мало и с осторожностью — в рассказах почти не было явно “антисоветского”, но уж “советского” не было вовсе: ведь если искать себя в творчестве, нужно было быть беспощадно честным. И главное: хотя по культуре и вкусам отец был настоящим русским интеллигентом, сквозь каждую написанную им строчку проглядывало его искалеченное еврейство, которое не смогли убить ни страх, ни ассимиляция, ни профессиональный успех.

Невозможность “нормального” совписательского успеха его не останавливала, — он писал каждый вечер, каждый выходной, без конца исправлял, сам перепечатывал на старенькой, сияющей от чистоты “Эрике”.

Само собой разумеется, что выросши в такой обстановке, я не хотел искать себе места в советской жизни. Отец и боялся моего отъезда, и понимал, что мое желание вырваться из бесконечной советской лживости является логическим результатом его духовных поисков, невольным свидетелем которых я был. Когда в 60-е годы по-русски был издан Кафка, отец набросился на него с жадностью. Он очень остро ощущал беспомощность человека перед безликой машиной государства и словно предчувствовал, что последние годы его жизни пройдут в кафкианском кошмаре. Вскоре после моего отъезда его уволили с работы, потом все-таки восстановили в должности младшего научного работника в ожидании выездной визы. Хотя один рычаг государственной машины буквально выталкивал его из страны, другой одновременно не выпускал: первого отказа пришлось ждать почти два года. В Институте полиомиелита отцу не давали никакой работы, не давали печататься, — ему, человеку скорее американской, чем советской этики труда, было тяжело “отсидеть” часы. Тем больше он работал над главным: писал рассказы, составил уникальный фотоальбом “По местам героев Достоевского” (он был превосходный фотограф), написал роман “Лето в Бадене” о Достоевском (уже опубликованный на Западе по-русски и по-немецки). Достоевский с его заостренностью на проблемах добра и зла был особенно важен для отца, до конца жизни не терявшего детской способности страдать от человеческой подлости и глупости. Он и писателем смог стать потому, что не имел “защитных фильтров” — он пропускал сквозь себя с невероятной интенсивностью всю окружающую реальность целиком — и эта реальность в конце концов его убила.

Когда я позвонил отцу 15 марта 1982 года, чтобы сообщить о начале публикации “Лета в Бадене” в “Новой газете”, он сказал мне, что в этот день его вызвал директор института С. Дроздов (ныне, кажется, функционер Всемирной организации здравоохранения при ООН) и заявил, что

*после 25 лет работы в институте отца увольняют. А 20 марта, в свой пятьдесят шестой день рождения, отец скоропостижно умер дома от инфаркта. Смерть настигла его буквально за пишущей машинкой: нужно было зарабатывать на жизнь, и он занялся техническими переводами. До последней минуты он остался верен себе: долг прежде всего.*

*Отец всегда боялся смерти, и творчество было для него, помимо всего прочего, еще и оружием против собственной брэнности. Мне кажется, что эту схватку он выиграл.*

*Михаил Цыпкин,  
Кембридж, Массачусетс, США*

1

Запах метро тысяча девятьсот семьдесят второго года тот же, что и запах метро тысяча девятьсот тридцать шестого, и на секунду я испытывал то же чувство беспричинной и пронзительной радости, что и тогда, в тридцать шестом году, и мне кажется, что вот сейчас я поднимусь на поверхность, окажусь под слепящим июльским солнцем в районе метро "Сокол" — почему я тогда оказался там, не помню — только слепящее солнце, новые высокие, невиданные мною еще никогда дома и вкус обжигающего эскимо — эскимо бывает только в Москве, нигде больше — это почти синоним Москвы, только почему же я никак не могу вспомнить лица тех, кто ехал вместе со мной в вагонах метро, поднимался по эскалаторам, ходил по улицам. Как выглядели они? На кого они похожи? На героев из кинофильмов "Цирк" или "Веселые ребята" в непомерно широких галстуках (снова возвратившихся к нам) и мешковидных брюках с лицами наивными и благодушными, исполненными веры в счастливое будущее, или на Розенель — в длинных платьях, с короткой стрижкой, с широко раскрытыми, вращающимися от изумления глазами? Я напрягаю память, но тщетно: нет лиц, нет костюмов, нет людей. Что это? — мое беспамятство или беспамятство истории. И не точно так ли исчезну я и мои соседи по вагону метро семьдесят второго года из памяти школьника в нейлоновой куртке, сидящего сейчас напротив меня? — у него уже почти модная прическа, и я уже прозреваю в нем черты юноши-студента, тонкого и высокого, как и все это поколение, небрежным движением головы поправляющего рассыпа-

ющиеся волосы, и уже не студента, а мужа — молодожена с обручальным кольцом и с авоськой в руке, спешащего с покупками домой, и он, так же как и я, уйдет из памяти тех, кто увидит его, и на минуту я представляю себе всех заполнивших этот вагон, — озабоченных, беспечных, только что расставшихся с женщиной, или едущих на свидание, толкующих об утренней планерке, едущих с чертежами, с папками, конспектами, с заготовленными адвокатскими речами, напечатанными на двадцати двух страницах — карандаш следит за строчками и подчеркивает особо важные места, на которых следует сделать упор во время заседания — на минуту я представляю себе всех их, лежащих в однообразных позах — с руками, сложенными на груди, с головой, запрокинутой назад, с желтыми, восковидными лицами — все они, словно по команде, — одни раньше, другие — позже исчезнут, не оставив после себя ничего и так же исчезнут толпы людей, фланирующих по широким улицам в дни праздников, а иногда мне представляется, что все они, едущие со мной в одном вагоне, — это двуногие, одетые в костюмы, с портфелями и сумками в руках.

## 2

Горбатая мостовая с глянцевым булыжником круто спускается к реке. По самому краю мостовой, прижимаясь к тротуару, едет на велосипеде толстый коротконогий мальчик-подросток с нездоровыми кругами под глазами. В ушах его молотком отдаются удары сердца, ногой он давит на тормоз, громыхающие телеги обгоняют его, но ему кажется, что он мчится с невероятной скоростью, обгоняя всех и все, и так будет казаться ему всю жизнь, потому что его самолюбие никогда не позволит примириться с сознанием своей слабости. Благополучно спустившись, он с видом победителя въезжает на деревянный мост — внизу протекает Нерочь, узкая речка, не обозначенная ни на одной, даже самой крупномасштабной карте, и мальчику это немного обидно, потому что хотя к концу лета из воды и торчат ржавые консервные банки и битые бутылки, оплетенные водорослями, зато весной река широко разливается, затопляя городской сад и даже домики, расположенные за садом, течение ее становится мощным, высокая, темная вода почти достигает настила моста, крупные льдины ударяют о его сваи, так что мост вздрагивает, по реке плывут вывороченные с корнями деревья, бревна, доски — в такие

дни с Нерочью может соперничать только Волга, которую мальчик никогда не видел, — миновав мост, он поворачивает налево и, нажимая на педали, поднимается вверх по улице к нелепому зданию оперного театра, напоминающего собой старинный замок, — несколько дней тому назад на площади перед театром, где теперь раскатывают местные пижоны — многие из них “без рук”, одним, чуть заметным наклоном туловища направляя ход велосипеда, — еще несколько дней назад Тусик, двоюродный брат его матери, обучал его езде на велосипеде. Он бегал, держа велосипед одной рукой за седло, а другой — за руль, весь взмокший, потому что не так-то легко было удерживать велосипед с толстым мальчиком в положении равновесия — то приходилось брать его на себя, то отталкивать, чтобы мальчик с велосипедом не свалился на него, и повторял одно и то же: “Крути, Гаврила!”, хотя мальчика вовсе не звали Гаврилой, но мальчику слышалось в том возгласе нечто залихватское, приравнивающее его к Тусику, — мужчины, понимающие друг друга с полслова, — и он усердно нажимал на педали, и велосипед его все чаще стал обретать независимость, так что обучавший его уже не удерживал машину, а только придерживал ее за седло, и иногда мальчику даже казалось, что это создает ему помеху, и он крутил еще сильнее, и на короткое мгновение полностью вырывался из-под опеки — обучавший просто бежал рядом, и мальчику не верилось, что он едет сам, без посторонней помощи, — словно вдруг взмахнул руками и поднялся вверх и полетел — и ему становилось жутко и одновременно сладко от этой обжигающей, внезапно обретенной самостоятельности, которая грозила крахом, — он оглядывался — Тусик не бежал и даже не шел, а стоял — фигура его с каждой секундой уменьшалась, рукой он делал движение, обозначавшее “крути быстрее!” — потеряв равновесие, мальчик летел на асфальт, разбивая в кровь колени, а Тусик подбегал к нему, помогая подняться, и начиналось все сначала. Тусик был высокого роста, во всяком случае самый высокий в семье, с темными прямыми волосами, которые легко рассыпались, закрывая ему лоб, и с глубоко сидящими спокойными серыми глазами, в которых иногда появлялось что-то бесшабашное, — его дед был из донских казаков — фотография его хранилась в золотом медальоне, доставшемся Тусику от матери — мальчик любил открывать его и рассматривать фотографию — у донского казака было скуластое лицо, длинные, как у Тараса Бульбы, усы, и светлые,



еще более глубоко сидящие, чем у Тусика, глаза, — мальчик очень гордился этим родством, хотя в семье мальчика никто не видел этого деда — его дочь, мать Тусика, чтобы выйти замуж, вынуждена была перейти в иудейство, и донской казак, видимо не очень обрадованный этим, так ни разу и не появился, а родители Тусика умерли, когда ему было два или три года, и с тех пор он жил в семье своей тетки, бабушки мальчика, — она любила Тусика больше своих дочерей, по крайней мере говорила так, — может быть, за его спокойный, покладистый нрав, а, может быть, за то, что, оставшись сиротой, он давал ей возможность чувствовать себя благодетельницей. Выехав на площадь перед оперным театром, мальчик вливается в число катающихся вокруг скверика — меньше чем через год в здании оперного театра разместится немецкий штаб, а семья мальчика, — находящаяся в эвакуации, в такой же вот ясный предосенний день, охваченный уже предчувствием зимы сорок первого года, получит открытку от Тусика — единственную открытку, написанную его аккуратным почерком с наклоном влево — Тусик просит не беспокоиться, у него все в порядке, а вот, как они и как мама? — так он называл бабушку мальчика — а на обратной стороне открытки его же рукой был написан обратный адрес: "247 Б. А. О." — после расспросов у знакомых выяснилось, что Б. А. О. — это батальон аэродромного обслуживания, и мальчик все время пытался представить себе, в чем же состоят обязанности Тусика — ему почему-то казалось, что Тусик переносит ящики с боеприпасами или подметает летное поле, но ведь Тусик был командиром, хотя и младшим, — во время польских событий он служил в армии и получил один кубик — мальчик прекрасно помнил маленькую фотокарточку Тусика с этим кубиком в петлице и в пилотке, лихо сдвинутой набекрень, — фотокарточку эту удалось потом раздобыть у каких-то дальних родственников, ее увеличили, сделали из нее почти портрет — теперь она лежит у моей мамы на письменном столе, под стеклом, рядом с другими фотографиями и общей семейной группой — мальчик там еще совсем мальчик, худой, в матросском костюме, с оттопыренными ушами. А когда осенняя по колено грязь на окраинных улицах уральского города стала подмерзать, и на стенах комнаты, в которой жила семья мальчика, стал появляться иней, и предчувствие ранней зимы обернулось неслышанно ранней зимой — а, может быть, на Урале всегда так было — улицы и крыши одноэтажных деревянных до-

мов с резными наличниками покрылись снегом, и купленный на рынке хворост можно было легко доставлять на детских санках, а молоко продавалось в виде полупрозрачных ледяных лепешек — пришла целая связка писем и открыток со штампом: “Адресат выбыл”, но мысль о смерти Тусика не сразу утвердилась в семье, и даже когда кончилась война, все еще надеялись и расспрашивали, и тогда удалось узнать, что в расположение части, где находился Тусик, ночью неожиданно ворвались немецкие танки. Тусик и бывшие с ним военные размещались в сараях на окраине деревни, и мальчик пытался представить себе выражение лица Тусика в последнюю минуту его жизни, когда танк наехал на сарай и, поворачиваясь вправо и влево, стал давить своими гусеницами всех находившихся там, или, когда его вели на расстрел, потому что он был командир, коммунист и еврей, и его не могли оставить в плену, но это предсмертное выражение лица Тусика никак не давалось ему, потому что Тусик одним пальцем укладывал его на обе лопатки, был самым высоким не только в семье мальчика, но и во всем доме, а когда к нему приходили одноклассники, он специально оставлял открытой дверь своей комнаты, чтобы они могли увидеть Тусика, когда он проходил мимо, по коридору. Тусик не мог умереть от чужой руки — он был сильнее всех! Мальчик грустно усмехался этим своим мыслям, потому что к тому времени, когда стали известны обстоятельства гибели Тусика, мальчик уже перестал быть мальчиком. Он и теперь часто снится мне, и сон мой почти всегда один и тот же: я знаю, что Тусик погиб и в то же время он с нами — он живет в нашей довоенной квартире, но он не живет, а как бы проживает — является только по ночам, чужой и неуловимый, — мне никак не удается поговорить с ним и даже увидеть его — он спит на своем обычном месте, на продавленной кушетке, с выпирающими пружинами, — в огромной комнате, большей, чем теперешние трехкомнатные квартиры, перегороденной надвое ширмами, за которыми живут бабушка и дедушка, — именно на этой кушетке он демонстрировал мальчику приемы борьбы, укладывал его одной рукой на лопатки, а потом жал и мял его, издавая при этом устрашающие звуки, — я вхожу в эту комнату, но кушетка пуста — только смятые простыни и выпирающие пружины, и я смутно догадываюсь, нет, я точно знаю, что Тусик у своей приятельницы, там-то он и живет, там-то он и разговаривает, и становится прежним — бабушка была очень горда тем, что Тусик

в знак послушания так и не женился на этой женщине, хотя встречался с ней несколько лет, но бабушке она была не по душе — она считала, что эта женщина не любит Тусика и что у нее какие-то свои, корыстные соображения — она носила короткую стрижку и очки, но даже и в очках немного щурилась — иногда Тусик заходил к ней вместе с мальчиком — мальчик тайно ревновал Тусика к ней, и может быть, именно поэтому благоговел перед ней, и, кроме того, если Тусик ее любил, значит в ней было нечто необыкновенное, а бабушка с гордостью говорила о широте своих взглядов на жизнь — в семье ее тоже все считали очень либеральной и склонной к философским обобщениям — она очень любила произносить фразы назидательно-философского порядка, вроде того, например, что “кто не чтит отца и мать своих, тот не достоин царствия Божьего”, или “c’est la vie”, или еще что-нибудь в этом роде, а иногда она подходила к пианино и своими искривленными подагрой пальцами исполняла романс, единственный оставшийся из ее некогда, по ее словам, обширного репертуара; в романсе речь шла о фее, которая жила на берегу реки, и о каком-то Марке, в руках которого она жарко извивалась, — мальчик никак не мог понять, зачем фее было извиваться в его руках? — бабушка не пела, а скорее мелодекламовала, а в пассажах, которые сопровождали мелодекламацию и должны были изображать всю глубину чувств не то Марка, не то феи, а, может быть, их обоих, бабушка фальшивила, ее искривленные пальцы не поспевали за развитием музыкальной мысли романса и попадали не на те клавиши — ее родители, считавшиеся передовыми людьми для своего времени, обучали своих детей игре на фортепиано, а семнадцатилетней девушкой послали ее в Париж, где она окончила зубоврачебные курсы и научилась курить, — иногда после обеда она посылала мальчика к себе в комнату за папиросой и спичками — чтобы не носить спичек, мальчик возвращался в столовую с закуренной папиросой, — моя жена до сих пор не может простить моей маме, что она допускала это, — обретенную ею самостоятельность бабушка ценила превыше всего на свете — это давало ей возможность философски-снисходительно относиться к дедушке, который в семье считался скупым, швырял в бабушку тарелки за ее расточительность, сопровождая это отменными ругательствами на еврейском языке, но иногда тоже проявлял склонность к назидательным афоризмам, из которых самый любимый его был: “Так тонут маленькие дети, купаясь

летнею порой” — фраза, которая и по сей день бытует в нашей семье. Дедушка носил усы и был акушером-гинекологом — он часто брал мальчика с собой на визиты — сидя на извозчике с лакированным верхом и дутыми шинами, глядя в широкую спину кучера, мальчик терпеливо ожидал дедушку возле какого-нибудь деревянного дома на окраинной немощенной улице, пока дедушка обследовал больную, потому что предстоял обратный путь с обгоном всех ломовых телег и даже многих извозчиков, а по вечерам дедушка иногда брал его с собой пройтись — его высокие без шнуровки ботинки, не знавшие сноса, уютно поскрипывали, они шли по главной улице города, почти все встречные, в особенности женщины, первыми здоровались с дедушкой, и мальчику было приятно, что его дедушку знает весь город, а когда дедушку хоронили, его голова с жидкой прядью седых волос развевающихся на декабрьском ветру, моталась из стороны в сторону, иногда ударяясь о стенки гроба, потому что катафалк ехал по бульжнику, и мальчику казалось странным, что дедушке не больно и не холодно на морозе в одном костюме, — он шел вслед за катафалком с черными витыми колоннами, подпиравшими такую же крышу, впереди оркестра и траурной процессии, растянувшейся, наверное, на несколько кварталов, а из подъездов домов и калиток выходили женщины — всплеснув руками, они ахали и причитали: “Боже мой, ведь это же доктор, который принимал у меня!” — мальчику было приятно, что он идет во главе такой огромной процессии, под звуки оркестра, и что его дедушку провожает весь город — впрочем, об ахавших женщинах он знал больше по семейным преданиям, потому что сам он этого не помнил, но тем не менее теперь я отчетливо вижу этих ахающих и причитающих женщин, шпалерами выстроившихся вдоль тротуара, словно в ожидании проезда космонавта, — перед смертью дедушка сам попросил ввести себе морфий, чтобы ускорить конец, и пока ходили в аптеку, он подозвал к себе внука, чтобы попрощаться с ним, — мальчик нагнулся к нему и на всю жизнь запомнил прикосновение колючих дедушкиных усов — ровно через год, в этот же самый день у них пропала собачка, маленькая, белая с черными пятнами — на линолеуме она иногда оставляла лужи, напоминавшие по своей форме цифру восемь, — вернувшись домой после похорон, они пообедали, потому что после длительного пребывания на морозе все очень проголодались — мальчик запомнил, что на второе были котлеты, и он с аппетитом

ел их — впрочем, весьма возможно, что и об обеде, и о котлетах он узнал впоследствии от своей тетки. Она с мужем прибыла из Москвы на следующий день после смерти дедушки, рано утром, на поезде, проходившем через их город от границы к границе, — мальчику так ни разу и не удалось повидать этот транссибирский экспресс, но ему почему-то казалось, что он состоит из желтых деревянных вагонов с зеркальными окнами, — дедушка умер ночью, когда мальчик уже спал, сразу же после того, как ему ввели морфий, а когда он проснулся, тетка была уже у них в квартире, как будто она здесь жила, — в один из своих приездов она привезла мальчику канарейку в клетке — когда канарейка умерла, ей почему-то надрезали живот и оказалось, что она вся кишела червями — мальчик заставлял тетку рисовать — он подкарауливал каждую ее свободную минуту, чтобы обложить ее альбомами для рисования или листами бумаги, — рисуя, она жевала язык, подложив его под щеку, и это получалось у нее очень миловидно — готовя уроки, мальчик тоже высовывал кончик языка, особенно если он очень усердствовал, и тетка говорила ему, что это у него от нее, и он гордился этим, потому что она очень точно срисовывала вазы или стакан с цветком, иногда даже пользуясь красками, но когда мальчик просил ее нарисовать что-нибудь вообще, она говорила, что умеет только срисовывать, — позднее мальчик узнал, что ее специальность называется “искусствоведение” — когда, уже став взрослым, он приезжал в Москву, она часто брала его с собой на вернисажи, юбилейные вечера или художнические диспуты, потому что он считал, что его истинное призвание — живопись, и она поддерживала в нем эту мысль — знакомя его с кем-нибудь из своих коллег, она представляла его как своего духовного сына — при этом она снисходительно похлопывала его по плечу, хотя была намного ниже его ростом, и рассказывала историю о том, как его приняли за ее шофера, — он донашивал тогда шинель, купленную во время эвакуации, — а когда они видели из окна такси куда-то спешащих, снующих или стоящих в очереди людей, она говорила о том, что вот у каждого из этих людей есть своя, особая жизнь — наверное, кто-нибудь похоронил мать, а кто-нибудь торопится на свидание — “Помнишь, как у Сезанна или у Чехова...” — и что вот собственно это и есть жизнь со всей гаммой ее красок, и только они оба, она и он, могут понять это в силу их духовного сродства, и что вот они, сидя в такси, жалеют людей, которые идут пешком или стоят

в очереди, но что эта жалость какая-то очень абстрактная, созерцательная, толстовская — при этом она делала очень выразительный жест рукой, как будто взвешивала на ладони головку сыра или даже целую сахарную голову, — ее пальцы были искривлены так же как у бабушки, хотя в те годы у нее еще не могло быть подагры, — в общем этот жест должен был обозначать наличие какой-то очень тонкой философии, доступной только им обоим, — по-видимому, некое углубленное бабушкино *"c'est la vie"*, а когда кто-нибудь из знакомых болел или умирал, а она собиралась на генеральную репетицию или на банкет, она говорила: "Помнишь котлеты?", многозначительно подняв брови и взвешивая на ладони невидимую головку сыра, — так же как и бабушка, она любила подчеркивать и широту своих взглядов на жизнь, в качестве примеров приводя свои отношения с мужем, — когда к нему приходила какая-нибудь его аспирантка, она специально уходила из дома, — ее муж был армянином, но в первые послевоенные года его часто принимали за еврея, и он молчаливо сносил это, тем более, что он носил слуховой аппарат и вполне мог не слышать того, что ему говорили, а по утрам, проснувшись, он долго сопел, как будто занимался каким-то непристойным делом. Вскоре после получения связки писем с фронта бабушка начала терять память, а, кроме того, она кашляла от курения и храпела по ночам, и мальчик, который уже стал подростком, начал придирается к ней и дразнить ее, — он кричал ей "Сура-Бура!", хотя у нее было свое, очень благозвучное библейское имя, — несколько раз она гналась за ним со щеткой, но ей так и не удалось догнать его, а однажды, не выдержав, она расплакалась и раздетая выбежала на улицу, в зимнюю уральскую стужу — сквозь слезы она твердила, что уйдет из дома, потому что не может жить здесь больше — она достаточно самостоятельна, чтобы заработать себе на кусок хлеба, и матери мальчика стоило больших трудов вернуть ее в комнату. Болезнь ее прогрессировала, но тянулась долго: уже после войны, вернувшись с семьей мальчика в свой родной город, она каждое утро обливалась до пояса холодной водой, прогуливалась возле дома — иногда даже заходила в булочную, расписывалась за грошовую пенсию, которая давала ей, однако, право чувствовать себя самостоятельной, словоохотливо беседовала со старыми знакомыми, которых не узнавала, стараясь перевести разговор на отвлеченно-философскую тему, а свою дочь — мать мальчика, называла мамой — впрочем, это было уже потом,

когда она большую часть времени лежала и делала под себя, а мать мальчика заплетала ее волосы в жидкую косицу, меняла ей простыни и, подставляя ей судно, прибегала к еврейскому языку, надеясь, что таким образом бабушка лучше поймет инструкции, которые ей давались, но она все равно делала под себя, спрашивала, когда вернется из командировки Тусик, а меня и отца принимала за своих братьев, которых уже давно не было в живых. Она умерла весной, в день моего переезда из родного города — мама заснула после обеда и сквозь сон услышала бабушкин храп, но не придавала этому значения — в это время я был уже в дороге — узнав о бабушкиной смерти, я сразу же увидел, как она выбежала на улицу в снежную уральскую ночь — на ней был один халат, и она плакала навзрыд, и мама успокаивала ее, но я не помню, чтобы подростку досталось от мамы, и я вспомнил, как бабушка, доведенная им до отчаяния, не раз грозила ему, что ему за все воздастся, — наверное, в глубине души она была верующей, но мне так ничего и не воздалось, по крайней мере при ее жизни, потому что нам нужно видеть расплату, — иначе это уже не расплата — впрочем, я уверен, что все это были только одни слова, а теперь по вечерам я захожу в мамину комнату — после смерти отца она переехала к нам — тяжело сажусь в кресло, которое она вывезла из нашей послевоенной квартиры — их было два, оба они стояли в столовой, и гости любили на них садиться, и я тоже, когда приезжал к родителям, а теперь только в маминной комнате сохранился обрывок нашей квартиры, но комната эта — обманчивый островок, потому что жена терпеть не может запаха, идущего из верхнего ящика маминного шкафа, где хранятся лекарства, — еще те, которыми лечили отца, когда он болел, — жена уверяет, что все эти лекарства пахнут мочой, и, находясь за две комнаты, узнает, что мама открыла шкафчик, — правда, иногда она ошибается, но тогда уверяет меня, что я просто не заметил, как мама открыла шкафчик. Я усаживаюсь в кресло, положив ногу на ногу и поглядываю на себя в зеркало — немолодой, расплывший человек, который хочет казаться молодым, — вот при таком положении лица, кажется, это получается, а мама лежит на тахте в своем синем с разводами байковом халате, тоже положив ногу на ногу — ноги у нее почему-то имеют саблевидную форму, как у наездника, пальцами ног она делает веерообразные движения, как будто у нее положительный симптом Бабинского, и при этом ритмично подрагивает правой ступ-

ней, и я хочу сказать ей, чтобы она прекратила это, что сам подрагиваю одной ногой, — это у меня наследственное — мама сама однажды поймала меня на этом. Я поглядываю на себя в зеркало — нет, у меня все-таки благородное выражение лица — я ловлю себя на том, что раздуваю ноздри точно так, как это делал отец, — перед уходом на работу он подходил к зеркалу и, чуть приподняв голову, как это только что делал я, благородно раздувал ноздри — наверное, в эту минуту лицо его казалось ему породистым, а сам он себе — не старым, больным человеком с обвислыми щеками — результатом строгой диеты, на которой держала его мама, — а эдаким молодцом, на многое еще способным, — он не пропускал ни одной молодой женщины, не проводив ее взглядом, — и я тоже все чаще ловлю себя на этом, а однажды, разговаривая со мной по телефону мама сообщила мне, что к отцу, когда он вечером гулял возле дома, прицепился какой-то пьяный, преследовал его до самого парадного, а потом толкнул его, и отец упал, и я представил себе, как этот пьяный пристал к нему на перекрестке, возле нашего дома — там висит светофор, но он часто не работает, что, впрочем, никак не сказывается на движении транспорта, потому что в это время трамваи и машины проходят не чаще, чем раз в минуту, да и днем тоже ненамного чаще — приезжая домой, я подолгу простаиваю на балконе, попеременно глядя то на часы, то на перекресток, — не то, что в Москве, где я не успевал не только подсчитать, но даже охватить глазом весь транспорт, проходящий по Садовому кольцу за единицу времени, — он пристал к нему на этом безлюдном перекрестке, и отец, наверное, ускорил шаги, но быстро ходить он не мог, а пьяный забежал вперед, преграждая ему дорогу, нагло ухмыляясь и подмигивая, как будто они были давно знакомы, но теперь отец зазнался и не хотел его узнавать — он весь ушел в поднятый воротник своей новой шубы — в последние годы отец стал усиленно интересоваться модами, и в Москве ему заказали шубу с каракулевым, как у артистов, воротником — шубу эту примерял сын, она очень шла ему, и ему было жаль, что ее пришлось отправить отцу, — пьяный не отставал от него, подмигивал, настойчиво требовал признания старой дружбы, а возле самого подъезда тяжело выругался и толкнул отца в плечо — отец мягко сел в сугроб в своей новой шубе с каракулевым воротником, как будто решил отдохнуть. а потом кряхтя долго поднимался и мать счищала снег с его шубы — по утрам



у себя в клинике он оперировал и раздражался и покрикивал на ассистентов и операционную сестру, как это принято считать про хирургов, — однажды вечером в трамвае, когда я еще жил в нашем городе, ко мне тоже привязался какой-то подвыпивший тип — я сошел на этом перекрестке, но он вышел вслед за мной, продолжая ко мне цепляться, и тогда я подошел к будке постового милиционера, который распорядился работой светофора, и потребовал, чтобы он принял какие-нибудь меры, — подвыпивший пошел своей дорогой, а я все требовал от милиционера принятия каких-то мер — он вышел из своей будки и с безучастно-снисходительным видом слушал меня, пока пьяный не скрылся из вида. Мама лежит на тахте, подрагивая ногой, рот у нее чуть приоткрыт, в его черном распахе виднеются десны — протезы, лежащие в чашечке на столике рядом с тахтой, она надевает только во время еды или когда приходят гости — щеки ее западают, как у всех старух, — может быть, я просто ограждаю себя, подготавливая к неизбежному? — но когда она выпихивает из своей комнаты меня и сына — это случается после того, как он обнаруживает, что она рылась в его конспектах, чтобы уличить его в лени и беспечности, а меня в попустительстве, а мы в ответ бросаем ей обвинение в благоразумии и в страсти к чтению статей на тему морали — когда она выпихивает нас из своей комнаты, чувствуется, что в руках у нее еще достаточно силы, — движения ее становятся решительными и резкими, как у солдата, действующего по приказу “Длинным коли!”, она мечется по комнате в поисках подходящего тяжелого предмета, хватает табуретку, замахивается ею — она вся дрожит, нижняя губа у нее трясется — точно так же как у меня в минуты бешенства, а также и у моей тетки и — теперь я смутно вспоминаю — у моего дедушки, когда он швырял в бабушку тарелками, — по-видимому, это наследственная черта, доставшаяся нам от него, а когда мы уже оказываемся на пороге комнаты, она выпихивает нас в коридор с помощью двери, после чего она дважды поворачивает ключ. “У меня железная старуха...” декламирует сын Заболоцкого; он идет к себе в комнату и возвращается оттуда с карандашом и листом бумаги. Бумагу он подсовывает под дверь маминной комнаты, а карандаш впикивает в замочную скважину, выталкивая оттуда ключ, — этот прием он отработал давно — через несколько секунд он вытягивает из-под двери бумагу с лежащим на ней ключом. Когда мы вхо-

дим в комнату, мама лежит на тахте, повернувшись лицом к стене, плечи ее беззвучно сотрясаются, в комнате пахнет валидолом — мы нерешительно останавливаемся в дверях, я пытаюсь сказать что-то примирительное, но, как только я открываю рот, она вскакивает с побледневшим от гнева лицом и все такой же трясущейся нижней челюстью и кричит: “Вон отсюда!!!” голосом, который слышен, наверное, на соседней улице. Мы выходим, тихонько притворив дверь, словно там лежит покойник, и стоим в коридоре, понурившись, не глядя друг на друга, а жена, выйдя из кухни, делает нам внушение — не обязательно шуметь, можно ведь спокойно высказать свою точку зрения — но внушение ее носит больше формальный характер, потому что она тут же зовет сына кушать, а я все хочу сказать ему, что ведь это моя мама, что она стара и что с ней все может случиться, но он уже идет на кухню к жене или начинает звонить по телефону своим приятелям, и я откладываю этот разговор до другого раза. Мама весь остаток дня не выходит из комнаты — мужественный гарнизон, окопавшийся во вражеском стане, — а вечером, когда столкнувшись с ней возле уборной, я снова пытаюсь заговорить с ней, она, не глядя на меня, бросает короткую фразу: “Тебе воздастся за все!” и снова исчезает в своей комнате с ночным горшком в руках — наверное, это у нас семейное, идущее от бабушки, — вера в окончательное торжество справедливости, потому что я тоже боюсь, что мне воздастся, и регулярно, но с величайшим страхом прохожу ежегодную диспансеризацию.

### 3

Отсветы пламени пляшут по стене, то и дело выхватывая из темноты извилистую трещину на обоях — когда мальчик болел, он подолгу всматривался в нее, пока она не превращалась в петуха или в фигуру сгорбленного старика, — надо обязательно взять с собой бинокль в кожаном футляре — этот бинокль достался Тусику от отца, который служил в армии во время империалистической войны, и, хотя он был врачом, ему почему-то выдали бинокль — он хранился в платяном шкафу у бабушки, вместе с двумя альбомами для марок — у Тусика была очень богатая коллекция марок, самая большая во всем городе — во всяком случае так казалось мальчику — иногда ему разрешалось доставать бинокль и альбом с марками — мальчик выходил на

балкон и наводил бинокль на окно противоположного дома — там помещался клуб советских служащих — что это значило, мальчик не совсем понимал, но однажды в этот клуб привезли первого секретаря партии — дедушка лечил его жену и бывал у них в доме — этот первый секретарь, самый главный начальник в городе, застрелился, потому что его должны были взять, но не успели, а поэтому официально он не считался врагом народа, но торжественных похорон ему не устраивали, а привезли в этот клуб и даже как-то почти тайком, и для прощания с покойным пускали всего два часа, но мальчик, живший напротив, успел там побывать — гроб установили в небольшом зале на втором этаже — там, наверное, заседали советские служащие, — и когда мальчик в веренице пришедших сюда огибал изголовье гроба, он заметил на виске у мертвого маленькую круглую ранку — именно таким он и представлял себе отверстие от пули. Он наводил бинокль на окно клуба советских служащих, приземистого каменного двухэтажного здания, и окно становилось таким огромным, что даже не вмещалось в поле зрения бинокля, а потом он переводил бинокль на дальние крыши — кирпичные трубы и темные слуховые окна, таящие в себе опасность и одновременно манящие, сразу же придвигались к нему — и ближние и дальние все они оказывались одинаково близко, а альбом с марками он иногда показывал одноклассникам — они знали, что это был альбом Тусика, и когда он вносил его в комнату, они благоговейно затихали, а когда осторожно листал альбом, он доходил до марок, каждая из которых была величиной почти с почтовую открытку — даже удивительно, как они держались на узеньких бумажных полосках! — когда он доходил до этих марок, его одноклассники превращались в ничто, — в этот момент он чувствовал себя сильнее их всех, и жаль только было, что ему никак не удавалось завлечь к себе домой Шлема Мозовского — Шлема вставлял свою ручку в щель между основной частью парты, предназначенной для писания, и откидывающейся крышкой, — пером вверх; оттягивая назад ручку, он спускал ее — на затылок мальчика и на его костюм летели чернильные брызги, оставляя на сером сукне фиолетовые пятна, которые не отстирывались, и мать мальчика решила даже как-то пожаловаться родителям Шлемы, но он оказался сиротой, жил с какой-то теткой, а когда ему надоедало это, он тихонько подкалывал мальчика пером в спину или руку — Тусик одной рукой скрутил бы Шлему, но Шле-

ма игнорировал приглашения мальчика прийти к нему — высокий, худой и сутулый, одетый всегда в одну и ту же рубашку защитного цвета, он подкалывал мальчика пером и обдавал его затылок чернильными брызгами — лицо его при этом оставалось невозмутимым — на следующий день после похорон бабушки, когда мальчик пришел в школу после трехдневного перерыва, тайно надеясь, что теперь Шлема его не тронет, на первой же перемене он подошел к мальчику — мальчик весь потянулся к нему — сейчас он услышит слова раскаяния — уколов его пером в ягодицу, Шлема спросил его, не протух ли его бабушка в гробу.

Станный полумрак царит в квартире: свет еще не совсем погасшего дня — самого длинного в году, и колеблющиеся отсветы пламени — это горит Дом Ученых — он помещается на той же стороне, что и клуб совторгслужащих, но только не рядом с ним, а в стороне — чтобы его увидеть, надо выйти на балкон, но отсветы пожара проникают вглубь комнаты, гуляют по стенам, по потолку — только что кто-то пришел и рассказал, что пламя уже перебросилось на эту сторону, и загорелся дом Туников — третий, нет, — четвертый отсюда — в семье мальчика его называли по имени бывшего владельца булочной, помещавшейся в первом этаже того дома, — Туников давно ликвидировали, но булочная осталась, и в ней продаются кухоны — очень вкусные лепешки с запеченным в них зеленым луком, а сверху посыпанные маком. Да, конечно, отсветы пламени, выхватывающие из темноты трещину на обоях, были потом, когда уже все было решено, а сейчас все члены семьи мальчика — отец, мать, бабушка, да и сам он как-то странно слоняются по квартире — словно перед переездом на дачу, когда вещи сложены и ждут только двух подвод и извозчика. Собственно так оно и есть: ждут Тусика — утром он сказал, что заедет за ними на грузовике, но уже давно прошли все сроки, и отец говорит, что больше нечего ждать, а бабушка прислушивается и выглядывает в окно, не приехал ли Тусик. Ничего не ждет только Стефанида — она тихо молится в своей каморке, расположенной между кухней и уборной, попеременно осеняя себя то православным, то католическим крестом — она посещала костел и церковь и часто брала туда с собой мальчика — в костеле в нишах стояли раскрашенные восковые фигуры святых — я всегда вспоминаю их, когда вижу невесту в белом платье, мертвенно застывшую между дву-

мя телохранителями в опоясанной разноцветными лентами “Волге”, а в церкви — мерцание свечей и лампад, запах ладана и таинственная позолота, к которой неодолимо тянет прикоснуться, но это строго воспрещается — однажды, когда мальчик забыл снять шапку, черные богомольные старухи зашипели на него, и он решил отомстить им — прийти в следующий раз в буденновском шлеме с пятиконечной красной звездой, который подарил ему их сосед по квартире, бывший участник гражданской войны, но ему так и не удалось осуществить свой замысел — церковь взорвали, потому что на этом месте предполагали построить что-то, но так ничего и не построили и потому что все это считалось пережитком прошлого — Стефанида говорила, что она не верит в Бога, а ходит в костел и церковь просто так — в углу ее каморки над кроватью висела засиженная мухами икона, а рядом с ней фотография ее племянницы Сони в накинутом на голову платке, покрывающем ее плечи и грудь, с выпуклым лбом и сонными зрачками, странно схожая с женским лицом, изображенным на иконе, только склонившимся к младенцу, — по вечерам, сидя в каморке, он играл со Стефанидой в шестьдесят шесть — для подсчета очков восьмерка прикрывалась какой-либо картой, по мере выигрыша карта эта сдвигалась, открывая выигранные очки, — Стефанида мусолила пальцы слюной, прежде чем взять из колоды новую карту, а мальчик крыл колоду и брал сразу три очка, и еще три, и еще два — Стефанида качала головой и притворно вздыхала — два открытых карточных знака она называла “пенсне”, три — “столик без ножки” четыре — просто “столик”, а семь было и вовсе неприличное, но Стефанида почему-то не стеснялась произносить при мальчике это вслух — к этому времени она уже редко выходила из своей каморки — семью мальчика обслуживала другая женщина — Марья Антоновна — ее называли в доме по имени-отчеству, и бабушка говорила ей: “Возьмите себе супчика”, потому что Марья Антоновна очень любила суп и могла съесть сразу две тарелки, все домашние немножко обыгрывали эту бабушкину фразу, а Стефанида стала почетной домработницей — в выходные дни Марьи Антоновны Стефанида иногда готовила, и тогда мальчику казалось, что все идет по-прежнему, и Стефанида работает у них уже двадцать лет! — ни у кого из знакомых не было такой работницы и никто не готовил так, как Стефанида, — месиво из муки и воды приобретало в ее руках консистенцию теста, в особенности же оно вкусно

пахло после того, как оно подходило — крыша кастрюли сама поднималась под напором этой живой, дышащей массы — Стефанида доставала его из кастрюли — оно еще тянулось волокнами, но уже было сладко — вывалив его на доску, посыпанную мукой, Стефанида начинала месить его, добавляя муку, пока оно не становилось крутым, — она расправлялась с ним — шлепала, колотила, мяла, приговаривала: “Это мы твоего батьку по заднице бьем”, и мальчик с ожесточением тоже принимался шлепать и уминать его, воображая при этом толстый зад своего отца, хотя, как он понял много лет спустя, ягодицы у отца были тощие — в это время у Стефаниды уже были отеки, и она тяжело дышала, а до этого у нее была киста — мальчик представлял себе, как весь ее живот заполнен этой кистой, в которой находилась жидкость, — дедушка устроил Стефаниду в больницу, и ей там удалили кисту, но, по словам мамы, он до самой своей смерти не мог простить Стефаниде, что в ночь, когда я родился, она отказалась поставить самовар для моей первой ванны, а однажды она сказала дедушке, что они пьют из нее кровь, и мама до сих пор не может простить ей этого. Стефанида молилась в своей каморке, а в это время постучали в дверь, и все бросились открывать, но это был не Тусик, а наши знакомые, жившие на соседней улице. Их дом сгорел, и они пришли к нам — каждый с небольшим чемоданчиком в руке. У них всегда сервировали стол старомодному — возле каждой тарелки лежала белая накрахмаленная салфетка, заправленная в серебряное с фамильными инкрустациями кольцо.

Подходил к концу третий день войны.

#### 4—5—6

В воскресенье утром мальчик проснулся от заводского гудка. Гудело длинно и ровно на одной ноте, как в рабочие дни по утрам, — совсем не похоже на тревожное завывание сирены — в городе, расположенном недалеко от границы часто бывали учебные тревоги — об этом заранее оповещали, все ходили с сумкой защитного цвета, надетой через плечо, — в течение десяти секунд нужно было раскрыть ее, развернуть шлем и натянуть его на голову — тугая резина поддавалась с трудом, а очки тут же запотевали, и все становились похожими на слонов с длинным гофри-

рованным хоботом, который так и тянуло зажать у кого-нибудь, чтобы прекратить доступ воздуха, — надев противогаз, нужно было укрыться в ближайшем парадном — иначе хватали, укладывали на носилки и волокли в подвальное помещение какого-нибудь дома с надписью: “Газоубежище”. Гудело протяжно и ровно, и теперь уже отчетливо можно было различить, что это гудел не один завод, а сразу несколько — может быть, даже все имевшиеся в городе, и еще слышались отдельные короткие гудки, доносившиеся со стороны вокзала, — это гудели паровозы, а мать мальчика в это время разговаривала по телефону со своей приятельницей, которая позвонила ей. Ее звали так же, как и маму, и мальчику казалось неправдоподобным, что существует на свете еще одна женщина, которую зовут точно так же, как и его маму, и существование этой женщины казалось ему посягательством на права его мамы и его права — однажды с бьющимся сердцем он унес из прихожей ее сумку, заперся в уборной, вынул из сумки коричневый кошелек, пахнувший кожей и пудрой, и взял оттуда хрустящую трехрублевую бумажку — самое трудное заключалось в том, чтобы незаметно положить сумку на прежнее место. Она была на голову выше мамы, курила и всегда разговаривала властным голосом — с мамой мальчика они работали в одной больнице, но она была невропатологом, и мама рассказывала, что она умеет гипнотизировать, — когда они возвращались поздно вечером из больницы вдвоем, мальчик бывал спокоен — если бы на его маму кто-нибудь вздумал напасть, ее приятельница мигом бы загипнотизировала его. Это не просто так, сказала она. Ей еще рано утром позвонили, что немцы перешли границу, но по радио ничего не сообщали, и тогда Тусик поймал Берлин. Визгливый, истерический голос, срываясь на фальцет, угрожал, призывал, заклинал, и в этом бешеном каскаде немецких фраз отчетливо выделялись лишь два слова, спаренные, как близнецы: “юдн унд коммунистн”. “Это война”, — сказала бабушка и заплакала. Они все сидели перед приемником, но не совсем близко к нему, а как-то посередине комнаты, вернее той ее части, где жил Тусик, — приемник стоял у изголовья его дивана — он лучше всех умел обращаться с приемником — до покупки этого, заводского, он когда-то сам смастерил приемник — нелепое сооружение из ламп, проволочек и контактов, питавшееся током от батареек, и вдруг оттуда послышался человеческий голос — это было непостижимо — сидели посередине комнаты, как потерпевшие

кораблекрушение в лодке посреди бушующего моря. И все-таки бабушка заплакала как-то очень уж неожиданно — так она плакала в первые несколько месяцев после смерти дедушки — начнет вытирать пыль с камина и брать что-нибудь из шкафа — вначале мальчик удивлялся, а потом понял, что причиной всего были вещи — бабушка плакала, как обиженный ребенок, она вся уходила в этот плач, по ее лицу текли настоящие слезы, и это тоже казалось ему неправдоподобным — плакать имели право только дети, — таким же неестественным показалось ему то, что он узнал об отношениях между мужчиной и женщиной — дети еще могли этим заниматься, но взрослые? — и когда они с мамой как-то встретили одну знакомую, а потом мама рассказала кому-то про нее, что она беременна, мальчик все никак не мог представить себе, что эта взрослая серьезная женщина, которая жила на соседней улице в подвальном этаже, что эта женщина еще два или три месяца тому назад занималась этим, а однажды в течение нескольких дней подряд он набирался храбрости, чтобы рассказать Тусику, что он знает одно слово, — Тусик наклонился к нему, а мальчик, приставив ладони ко рту, чтобы никто их не услышал, едва слышно произнес это слово — он считал ужасным для себя, что знает это слово, чувствовал себя виноватым и гадким и боялся, что Тусик по меньшей мере перестанет разговаривать с ним после этого — но на лице Тусика ничего не отразилось — он спокойно выслушал это слово — по-видимому, ему это все было давно известно, а может быть, он не хотел заострять внимание мальчика на этом — так же спокойно выслушал меня главврач больницы, в которой я работал и на территории которой мы жили, — он очень хорошо относился ко мне и к моей жене — она даже ему немного нравилась и он ей тоже — я долго не решался позвонить у его двери, а потом он провел меня к себе в кабинет, усадил в кресло возле письменного стола и застыл в выжидательной позе, сидя за столом, на своем обычном месте, чуть подавшись вперед, — небольшого роста, худощавый, с седыми волосами, он ходил домой из конторы больницы по главной улице — ее называли “докторской аллеей” — в своей неизменной черной шляпе даже в самую жаркую погоду, с дымящейся трубкой в руке — он никогда не расставался с ней — никто никогда не видел его за едой, он только курил и пил крепкий чай — отвечая на приветствия, он приподнимал шляпу и чуть кланялся, — его жена страдала склерозом и улыбалась всем улыбкой Офелии —



рассказывали, что когда состояние ее ухудшалось, он сам подавал ей судно — не глядя на него, блуждая глазами по комнате, я попросил его дать мне другую квартиру, потому что за стеной жила женщина, с которой.., и тут я запнулся, но в общем моей жене все это неприятно — он все также выжидательно смотрел на меня, словно я еще не сказал самого главного, а когда я окончательно смешался и замолчал, он сказал мне, что это дело житейское, предложил стакан крепкого чая и на прощание крепко пожал мне руку, так что я даже усомнился в том, так ли уж дурно я поступил по отношению к своей жене.

На главной улице былолюдно, как, впрочем, и в каждое воскресенье. Они с Тусиком купили кефир, а когда они вышли из магазина, под большим черным репродуктором, прикрепленным к углу дома, там, где трамвай со скрежетом сворачивал с главной улицы и мчался вниз по узкому переулку, который пересекал улицу, где жил мальчик, и ему всегда казалось, что откажут тормоза, и трамвай врежется в трехэтажное казарменное здание, которое называлось “Дом профсоюзов”, под этим репродуктором стояла толпа людей и молча слушала; обычно по радио так не выступали: говоривший делал паузы в неожиданных местах и иногда заикался, особенно на словах, начинавшихся с “п” и “т”, — мальчик сразу уловил это, потому что он сам тоже заикался, особенно на уроке физкультуры, когда их выстраивали в шеренгу и нужно было рассчитывать по порядку номеров — “первый, второй, третий” — он выглядывал из шеренги, заранее подсчитывая, какой он, — если он оказывался вторым, можно было дожидаться спокойно — еще не так давно он видел в газете фотографию: говоривший по радио, поблескивая стеклами пенсне, полувопросительно поглядывал на черного с выпученными глазами человека с прядью волос, косо пересекавших низкий лоб, — поговаривали, что одна рука у него парализована или даже вовсе отсутствует, но говорить вслух об этом не решались, потому что он считался теперь нашим другом и союзником, — он стоял так, словно принимал парад, и разглядеть его руки было невозможно, а взгляд его выпученных глаз был обращен куда-то в пространство.

...И снова велосипед. Мальчик что есть силы налегал на педали — теперь уже по-настоящему. Пот градом катился с него, сердце стучало — он уехал из дома, воспользовавшись тем, что роди-

тели ушли на работу — мать категорически запретила ему это делать — он миновал небольшое здание местной электростанции с несоразмерно высокими трубами — электростанция называлась почему-то “Эльвод”, и теперь ехал по главной улице города, вдоль трамвайной колеи — так далеко он никогда не заезжал — булыжник кончился, и велосипед катился теперь по немощеной части улицы, поднимая за собой столб пыли, — справа за забором тянулся местный ботанический сад, в котором росли такие же деревья, как и везде, слева — пятиэтажный “Дом печати”, недавно построенный, спящий белизной с черными прямоугольниками окон, пересеченных белыми крестами. Вот и трамвайное кольцо, дальше уже Московское шоссе, а справа — начало Ветряковского леса — по выходным дням жители города ездили в этот лес отдыхать, там росли сосны и пахло хвоей, и это особенно привлекало туда еврейское население города, потому что там, где сосны, там всегда сухо — моя мама до сих пор любит это повторять — между деревьями на специально вбитых крюках вешались взятые напрокат холщовые гамаки, потому что веревочные врезались в тело — в них, словно в люльках, раскачивались дети или наиболее престарелые члены семьи, а остальные располагались рядом на подстилке — вокруг, на помятой траве, появлялись яичная скорлупа и листы промасленной бумаги, потом дети разбегались по лесу, слышались удары мяча, заглушаемые призывными женскими голосами: “Моня! иди к маме, поешь клубничку!” — Тусик называл их всех “какаясниками” — от слов “какао и яйца”, но по выходным дням мальчик с мамой тоже выезжали туда и захватывали с собой крутые яйца и какао в термосе. Мальчик миновал трамвайное кольцо и катился по асфальту Московского шоссе по направлению к Ветряковскому лесу, и, если бы я сейчас был на месте мальчика или он на моем, то наверняка продекламировал бы про себя: “Здесь пресеклись рельсы городских трамваев, дальше служат сосны, дальше им нельзя...”, но тогда я даже не знал о существовании Пастернака — в том же, что мальчик продекламировал бы эти строчки или хотя бы вспомнил о них, никакого сомнения быть не может, потому что моя мама до сих пор при слове “мороз” обязательно скажет: “Мороз и солнце, день чудесный...”, а если, поглядев на первый выпавший снег, произнести при ней слово “зима”, она тут же подхватит: “Зима, крестьянин торжествуя” и т. д., а когда я однажды спросил у кого-то, приехавшего из Болгарии: “Ну, как Бол-

гария?”, мама тут же вставила: “Хороша страна Болгария, а Россия лучше всех”. У нее это, наверное, от бабушки, а у меня от нее. Мальчик ехал по Ветряковскому лесу, не разбирая дороги, напрямик, давая яичную скорлупу, шурша шинами по промасленным листам бумаги, оставшимися еще со вчерашнего утра, мимо сосен с одиноко торчащими ржавыми крючьями для гамаков. Возле дощатой зеленой будки, где обычно выдавались гамаки, за nasкоро сколоченной оградой аккуратными рядами стояли велосипеды — до сих пор я не могу понять, как они удерживались, потому что никаких специальных стоек или даже столов там не было — может быть, они поддерживали друг друга? Боец в пилотке принял у мальчика велосипед и выписал квитанцию. Мальчик аккуратно сложил ее и спрятал во внутренний карман курточки. В квитанции был указан заводской номер велосипеда, так что после войны он сможет получить его обратно. Когда он подходил к трамвайному кольцу, поднялся ветер. Пыль попадала в глаза, скрипела на зубах, и одновременно мальчик услышал вой гудков — не монотонное, ровное, как накануне утром, гуденье, а тревожное — то взмывающее куда-то вверх, то неожиданно падающее вниз, в глухие басы. Орава мальчишек перебежала дорогу и с радостным гиканьем взобралась на крышу какого-то сарая. Над противоположной частью города, примерно там, где находился вокзал, один за другим стали появляться бурые грушевидные дымки — они возникали из ничего и надолго повисали в небе, и только доносившееся издали глуховатое орудийное аханье, как будто где-то погромыхивало, объясняло их происхождение, и мальчик тоже взобрался на забор, чтобы лучше видеть, — казалось, что все эти дымки и эта пальба были ни к чему, просто так — забавя или ученье, но внезапно между дымками, в белесой голубизне неба он увидел самолеты. Они шли ровным строем, словно на воздушном параде, — по три серебристых точки в каждом звене, не обращая внимания на облачка разрывов, словно эти облачка не имели к ним никакого отношения, и в этот момент воздух сотрясся от взрыва — в противоположном конце города, где-то в районе вокзала взметнулся к небу черный, жирный фонтан земли, медленно оседая, — точно так, как в кинофильмах об Испании.

Во дворе Дома специалистов возле подъездов толпились люди — среди толпившихся мальчик сразу же узнал девочку с двумя длинными золотистыми косами, перевязанными голубым бан-

том. Она стояла рядом со своей мамой — мальчик протолкался к ним — они не то собирались уходить куда-то, не то возвращались домой — она радостно улыбнулась ему, как своему спасителю, и он почувствовал себя героем — сдав велосипед, пренебрегая опасностью, он возвращался через весь город домой, а они жались в подъезде своего дома. Она улыбнулась, обнажив свои зубы, усеянные мелкими точечками, похожими на мушиные следы. Собственно, с этого все и началось — отцы их работали вместе — отец девочки руководил клиникой, в которой работал отец мальчика, и их обоих пригласили в качестве консультантов в санаторий, открывшийся в одном курортном городке, который раньше принадлежал Польше, а после воссоединения стал нашим — кажется, она сидела на террасе в шезлонге, а может быть, мальчик сидел, а она проходила мимо и улыбнулась или сказала что-то, и он увидел на ее зубах мелкие черные точки — точь-в-точь такие же, как у него, — зубной налет, который не сходил у него, хотя он чистил зубы самым тщательным образом. В первый момент это неприятно поразило его — у девочки, с которой он даже боялся заговорить, и вдруг такой же дефект, как у него! — это было настолько невероятно, что на несколько дней она даже перестала ему казаться таким недосыгаемым существом, и, возможно, именно благодаря этому, она обратила на него внимание, а может быть, просто она почувствовала свою уязвимость, а в середине лета, в самом разгаре его, когда мальчику казалось, что всю свою жизнь он прожил в этом курортном городке, где по вечерам из двухэтажных вилл (мальчик впервые услышал это слово), отданных под санатории и дома отдыха, из двухэтажных вилл, густо обсаженных зеленью, доносились звуки танго — не обычного, записанного на патефонные пластинки, а исполняемого живыми музыкантами модного польского танго, — мальчик даже боялся заглянуть туда, чтобы посмотреть, как все это происходит, и только от одного своего соученика, высокого мальчика, который казался ему тогда уже взрослым мужчиной, он смутно знал, что происходит там, — соученик рассказывал ему, как он танцует танго с бывшими польскими горничными, и даже намекал, что он не только танцует с ними, отчего у мальчика в сладком ужасе проваливалось сердце, — в середине лета они с девочкой поехали кататься на лодке. Они ушли из дома, не сказав, куда идут, — тогда мальчик еще был способен на решительные действия, потому что он еще не научился рассуждать, — как

потом выяснилось, дома очень беспокоились, особенно мать мальчика, — когда они вернулись, она отчитала мальчика и объяснила ему, что лодка могла перевернуться, и он мог утонуть, потому что он не умеет плавать, — с тех пор я страдаю водобоязнью — все мои попытки научиться плавать ни к чему не привели, потому что я все время должен проверять, достают ли мои ноги до дна, а в тот полуденный час спящая зеркальная гладь озера была пустынна, только вдалеке на берегу виднелась зеленая кладбищенская роща с белой каменной аркой, увенчанной католическим крестом, — байдарка легко скользила по воде — мальчик, никогда до этого не ступавший в лодку, без всяких усилий орудовал веслом. Он орудовал веслом, как это делают заправские гонщики — по крайней мере, так мне кажется теперь, когда я смотрю по телевизору какой-нибудь спортивный репортаж, а девочка сидела напротив мальчика, лицом к нему, так что ему были видны ее пестрые ситцевые штанишки с двумя мокрыми пятнышками на самом постыдном месте — возможно, это были следы от водяных брызг, которые он иногда поднимал веслом, — он старался не смотреть на ее штанишки и на эти пятнышки, и это делало ее еще более уязвимой в его глазах — в этот момент ему даже стало жаль ее, и это чувство, вероятно, было похоже на то, что принято называть нежностью, а однажды вечером, когда он бродил по саду вокруг дома, где они жили, надеясь, что, может быть, она еще не легла спать и выйдет, он увидел в ее освещенном окне ослепительно белую статую. Это было мимолетно, потому что свет в комнате тотчас же погас, но это видение бело-розового тела с еще более ослепительными белыми маленькими полукругами груди, словно светящееся изнутри, как алтарь или Джоконда, все чаще посещает меня, а у мальчика лишь на секунду перехватило дыхание — теперь он знал о ней все, ее самая главная тайна принадлежала теперь ему, и когда через несколько дней вечером, накануне ее отъезда, они сидели на диване в полутемной комнате, и она спросила его, любил ли он когда-нибудь раньше и не делал ли он каких-нибудь гадостей, он соврал ей, потому что ему хотелось быть перед ней мужчиной и пробудить в ней ревность — он сказал, что у него была такая история с девочкой, которая приходила убирать к ним квартиру, и она отрезала от своей косы пучок золотистых волос и подарила ему — он завернул их в бумажку и спрятал в свой кошелек — потом он не раз доставал эти волосы и прикладывал их к губам, хотя они жили

в одном городе, — неужели это та самая женщина, с которой я недавно ходил по Ленинграду, и она хорошо отработанным голосом профессионального гида рассказывала мне о памятных местах города и показывала дома, где, как предполагается, жили герои Достоевского, с лисьим лицом, с жидкими волосами — я даже не запомнил, какая у нее была прическа, — с теми же мушиными следами на зубах — у меня этого налета уже давно нет, просто зубной камень — с непропорционально маленькими ручками и высохшими пальчиками, на одном из которых неизвестно каким образом удерживалось обручальное кольцо? — впрочем, теперь она не демонстрировала его, а в первое время после замужества она старалась держать свою руку так, чтобы это кольцо не могло не броситься в глаза, и без конца повторяла: “Мой муж, мой муж” — по ее словам, он был человеком необычайным и обожал ее, и она его, конечно, тоже, и жизнь их была заполнена очень тонкими интеллектуальными интересами и такими же друзьями, но при этом она многозначительно посматривала на меня, словно все это ни в какой степени не должно было отразиться на наших отношениях, которых уже давно не существовало, потому что, когда после войны она вернулась из Германии, куда она попала вместе с отцом, мне приходилось часто провожать ее на окраину города, где они с отцом поселились в деревянном домике у какой-то своей подруги — староверки, — рассказывали, что ходить там было небезопасно — я пристально всматривался в каждый столб и в каждый куст и мысленно подсчитывал, сколько домов еще осталось до ее калитки, а она в это время вела нескончаемые разговоры о немецком искусстве эпохи Возрождения и о религиозном мистицизме, к которому она приобщилась, живя у своей подруги. Утром, когда мальчик встал, было пасмурно, накрапывало, и окно девочки было закрыто ставнями — они уже уехали, но он все еще надеялся и бродил по саду, а потом, когда открыли ставни, он влез на скользкий от дождя деревянный карниз и, ухватившись за наличник, заглянул в окно, но увидел лишь свое отражение — он спрыгнул на землю и снова принялся ходить по мокрому саду — по небу, задевая верхушки деревьев, ползли тучи, и, наверное, все это называлось тоской, а потом, вернувшись в город, мальчик стал часто бывать в четырехкомнатной квартире в Доме специалистов — он находился как раз напротив дома, в котором жила приятельница Тусика, — теперь у мальчика тоже была девочка, и он мечтал о том, как они с Туси-

ком доедут на трамвае до одной и той же остановки и молча, по-мужски пожав друг другу руки, разойдутся в разные стороны — каждый к своему дому. Мальчику обычно открывала дверь мать девочки, черная разговорчивая женщина — в семье мальчика ее называли неприятной особой — вероятно, потому что она любила одеваться и от нее всегда пахло духами — немцы убили ее, потому что она была еврейкой, — она проводила мальчика по ярко освещенным комнатам с красными коврами и на полу и на стенах, и он старался как-нибудь побыстрее миновать их, чтобы не встретить отца девочки, — даже когда его не было, дух его все равно незримо присутствовал здесь — наверное, он родился академиком — крупный, с крупным породистым лицом, запрокинутым вверх, как будто его подбородок был подперт тугим крахмальным воротничком, он, казалось, был создан для того, чтобы смотреться в зеркало, — не им ли воображал себя мой отец, благородно раздувая ноздри перед зеркалом? — выступая на научных заседаниях, он пересыпал свою речь латинскими терминами вроде “summa summarum” или “volens-nolens” или еще чем-нибудь в этом роде — недавно мы встретились с ним на одном очень узком совещании — он снова сделал вид, что не замечает меня, хотя мы не раз встречались за эти годы, но на этот раз я тоже сделал вид, что не замечаю его и даже, кажется, чуть запрокинул лицо вверх, но я не уверен, что он заметил это. Черная разговорчивая женщина, от которой приятно пахло духами, отводила полного рыхлого мальчика с нездоровыми кругами под глазами в комнату девочки с секретером, на котором стояла настольная лампа, с тахтой, покрытой ковром, который со стены переходил на тахту, а оттуда на пол, с узким полированным шкафом, и девочка с длинными золотистыми косами, в которые был вплетен голубой бант, и это создавало интимную обстановку — мальчик усаживался на тахту, а девочка на стул, а иногда наоборот, но вспомнить, о чем они говорили я не могу, — одно можно твердо сказать — мальчик чувствовал себя взрослым, потому что в это время Тусик находился, наверное, в доме напротив — однажды он побывал там с Тусиком — маленькая квартира, ковры, полусвет и почему-то полати, с которых Тусик что-то доставал, и в этом полусвете стриженная женщина в очках с близоруким прищуром и, кажется, с веснушками на лице и даже на руках — даже во сне она до сих пор уводит от меня Тусика. Но в общем они вели себя очень чинно, как настоящие благовос-

питанные дети, и только один раз, придя к девочке, он застал у нее Леву Зайца — его подбородок не только выдавался вперед, но как-то еще и заострялся кверху, сходясь с кончиком приплюснутого носа, как у Плюшкина или у Иуды, и дышал он громко, с сопеньем, словно у него был хронический насморк или аденоиды, но он прыгал в воду солдатиком — в красных плавках, смуглый, с резиновой шапочкой на голове и так же великолепно плавал, даже, кажется, баттерфляем, по пояс выводя из воды свое смуглое тело, — летом он жил в том же курортном городке — там был специальный бассейн — мальчик ходил туда учиться плавать, его даже специально обучали — теоретически он знал все движения — лежа на постели, он проплыл не один километр и кролем, и брассом и даже баттерфляем, но в бассейне он сразу поджимал под себя ноги, словно защищая свой живот от смертельного удара, так что водобоязнью он страдал уже тогда — просто мне хочется все свалить на маму — так легче жить, когда есть виновник, а Лева Зайц прыгал солдатиком, а иногда даже прогнувшись, отставив назад руки, словно парящая птица, и потом долго плыл под водой, уплощенно, как лягушка, в красных плавках, под прозрачным зеленым стеклом, и девочка тоже хорошо плавала, но ей было, конечно, далеко до него, и мальчику часто представлялось, как девочка и Лева Зайц вместе плывут куда-то — они уже далеко от берега, и ей отказывают силы, и тогда Лева Зайц спасает ее — мальчик старался не додумывать, как это происходит, потому что Лева Зайц должен был для этого обхватить ее одной рукой, но неопределенность была еще страшнее, а иногда мальчик воображал себя Томом Сойером, а ее — Бэки Тэчер — они заблудились в пещере, полная тьма, он зажигает свечку — они вдвоем, вокруг никого, она дрожит от страха, она полностью в его власти, и эта ее беспомощность и сознание своей власти над ней рождали в нем чувство жалости — нежности к ней, и наряду с этим, еще какое-то другое чувство, непонятное, но захватывающе-сладкое и оттого запретное — почему Том Сойер не воспользовался им? — примерно такое же чувство мальчик испытал, будучи еще совсем маленьким, — в жаркий полдень, в хвойном лесу, неподалеку от дачи, которую они снимали, — почему-то он остался один, может быть, на несколько минут, а, может быть, и дольше — под крупной раскидистой елью, а, может быть, на ее нижней ветви, он увидел зеленую лягушку, даже не лягушку, а лягушонка, потому что, когда он подошел вплотную, лягушка



даже не попыталась убежать от него, — может быть, она была мертвая? — он взял какой-то сучок и потрогал ее — лягушка не пошевелилась, но, наверное, все-таки она была жива, только больна, пожалуй, но тут пришли взрослые и позвали его — весь день он думал об этой лягушке, ему казалось, что он мог с ней еще что-то сделать, но что именно, он не знал, к этой запретно-сладкой мысли примешивался запах сухой, жаркой хвои, а когда он пришел туда на следующий день, лягушки уже не было — впрочем, он не был уверен, что это была та самая ель — он еще несколько раз приходил на это же место и даже следующим летом, когда они снова жили там на даче — только такое же чувство он испытывал впоследствии при виде оставленного без призора плачущего младенца, и иногда даже мечтал о подкидыше — нечто подобное я испытываю теперь, оставаясь наедине с неохраняемым государственным имуществом.

“До свидания”, — сказал он девочке с длинными золотистыми косами, стоявшей среди толпы вместе с матерью в подъезде Дома специалистов. Наверное, она снова улыбнулась ему, и кто-то из них, а, может быть, оба они сказали друг другу: “Мы еще увидимся”.

## 8

На улице было светло как днем, и мальчик даже не оглянулся на два железных столба с незатейливым узором, подпиравшие козырек над подъездом дома, где он жил, — сверху с балкона было видно, что козырек этот покрыт ржавым железом, точно таким, каким были покрыты крыши домов, — сколько раз в засыпанном снегом деревянном домике он вспоминал вход в свой дом — хозяйка оставила им только две железные кровати и один стул, а из кухни доносился запах жарившейся на свинине картошки — однажды, когда хозяйки не было дома, мать мальчика открыла маленький висячий замок, которым хозяйка запирала от них кухню, — но и мать мальчика, и бабушка, и сам он знали, куда она прячет этот ключик, — они с мамой вошли в кухню, и она, руководствуясь каким-то безошибочным чутьем, а, может быть, она уже и раньше заприметила это место, просунула руку за какую-то занавеску и достала оттуда несколько картофелин, розовых, упругих, немерзлых, и мальчик тоже захватил пару картофелин, и ему хотелось взять еще, но ему казалось,

что он слышит шаги хозяйки и что она уже стоит в дверях кухни — это было похоже на ожидание выстрела в спину — замочек почему-то долго не хотел защелкнуться и ключ застрял, но, наверное, они все-таки оставили какие-то следы, а, может быть, хозяйка вела счет своим картофелинам — вечером она раскричалась сначала на кухне, а потом ворвалась к ним в комнату с криком: “Понаехали, окаянные, золото понавозили и еще воруют!”, а мама в ответ повторяла одно и то же: “Вы что, с ума сошли?” и с тех пор он понял, что его мама может врать, а второе слово, которое обозначало то, что она сделала накануне, и он помогал ей, он даже мысленно боялся произнести, настолько это не вязалось с его представлением о маме, но насчет “окаянных” и “золота” хозяйка кричала еще и до этого и после этого снова повторяла то же и грозила выбросить их на улицу, а ночью мальчик укрывался шуршащим рыжим плащом отца, потому что отец в это время находился на излечении в психиатрической больнице, — особенно неприятно было, когда он касался голого тела — сколько раз мальчик вспоминал этот крытый козырьком, опирающимся на два железных столба, вход в свой дом, широкую каменную лестницу, пахнущую кошками, — эта лестница не раз снилась ему: он поднимается по ней, но почему-то минует второй этаж и оказывается на площадке третьего, последнего этажа — он всегда немного завидовал жившим на третьем этаже, потому что с балкона третьего этажа было видно больше домов, чем с его балкона, и, кроме того, они видели балкон мальчика, как на ладони, а он только мог догадываться, что у них там происходит, — он оказывается на площадке третьего этажа и звонит, но ему долго не отпирают дверь, а потом открывают, и он долго бродит по квартире — расположение комнат точно такое же, как у них, но в каждой комнате живет семья — настоящая коммунальная квартира, а у них только две подселенные семьи, но все-таки они этажом выше, и он мечтает добраться до их балкона и даже, кажется, входит на балкон, а когда однажды вечером в газете он увидел снимок своего города, находившегося тогда в глубоком немецком тылу, но снятого с птичьего полета, с наших самолетов, он попытался найти тот квартал, где они жили — к тому времени он уже знал, что дом их сгорел, да и весь квартал тоже, но он продолжал рассматривать снимок, пытаясь узнать хотя бы соседние кварталы или какое-нибудь другое, знакомое место — ему казалось, что во всем виноват тусклый свет коптилки — он

приблизил фотографию к самым глазам, так что вся она оказалась состоящей из перемежающихся между собой темных и светлых точек — следов типографского клише, а потом, когда после войны они вернулись в свой город, он пошел на то место, где была их улица, и среди груды кирпичей пытался найти остатки железных столбов, подпиравших козырек над входом в их дом, — весь центр города представлял собой сплошные груды кирпичей, среди которых лишь иногда возвышались пустые коробки или кирпичные стены с прилепившимися голландскими печками и развевающимися на ветру обоями, а потом груды кирпичей убрали и на том месте, где находился их квартал и соседние кварталы, сделали центральную площадь города — на ней стали проводить праздничные демонстрации и парады — огромное, залитое асфальтом пространство с возведенным посередине деревянным помостом для членов правительства и с бронзовой статуей Сталина, которую однажды ночью ликвидировали, но основание ее оказалось настолько глубоко и прочно врытым в землю, что в течение еще нескольких ночей раздавались глухие взрывы — его доставали по частям, словно корни сломанного зуба. Мальчик забыл оглянуться на подъезд своего дома, но почему я до сих пор помню полутемную улицу с глянцеватым булыжником и с пляшущими тенями приближающихся пожаров и молчаливый, темный трехэтажный дом, молчаливо ожидающий своей участи, с выходящим во двор и потому невидимым с улицы окном каморки, в которой, сидя на кровати, тихо молилась Стефанида — не то перед образом Божьей матери с младенцем, не то перед фотографией своей племянницы, а в темной столовой на массивных высоких стульях с соломенной сеточкой на спинках сидели наши знакомые с Интернациональной улицы, поставив на пол рядом с собой свои аккуратные кожаные саквояжи — высокий лысый старик с орлиным носом, его жена, еще не старая интеллигентная женщина, черты лица которой я никак не могу вспомнить, и их дочь, перезрелая девица с узким, как у отца, лицом, в пенсне и с немецким именем Эльза — всех их убили в гетто, а может быть, Стефанида уже бродила неслышной тенью по квартире, открывая шкафы и чемоданы, — уже после войны кто-то рассказывал, что она, захватив какие-то вещи, ушла в деревню к каким-то своим родственникам, но она уже не могла ходить из-за отеков и вскоре умерла — мама до сих пор не может ей простить этого — неужели где-то еще могли сохраниться наши вещи —

клетчатый плед, которым укрывался Тусик, или бинокль, который мальчик так и не взял с собой? — это так же неправдоподобно, как обнаружить вдруг труп Гомера или Александра Македонского. Так почему же было светло, как днем? Наверное, это было уже возле объятых пламенем дома Гецова, на углу двух улиц, там, где заворачивал трамвай, как раз напротив того места, где позавчера они с Тусиком, стоя в толпе людей, слушали заикающийся голос из черного репродуктора. Гецова давно уже не было в живых, но в семье мальчика дом этот, также как и дом Туников, называли по имени его бывшего владельца — в этом доме жил когда-то доктор Минц — о нем в семье мальчика постоянно рассказывали одну и ту же историю, как к нему на прием пришла какая-то женщина и на его вопрос: “На что жалуетесь?” сказала ему, что когда она дышит, то ей больно, на что он ей сказал: “Так не дышите” — эта история, кажется, пошла от дедушки, который был знаком с Минцем, потом после смерти дедушки ее рассказывала бабушка, потом моя мама и тетка, и когда теперь кто-нибудь говорит, что ему больно нагибаться или ходить, то мама или тетка говорят: “Так не нагибайтесь или не ходите, как сказал бы доктор Минц”, и я тоже не один раз повторял эту историю моему сыну, и он, наверное, тоже передаст ее своим детям, если они у него будут — настоящая эстафета поколений! — дом Гецова, в котором жил когда-то доктор Минц, горел, объятый пламенем со всех сторон. Дом этот был четырехэтажный, да еще стоял на возвышенном месте — самый высокий в этом квартале — слуховое окно дома, в котором жил мальчик — он поднимался на чердак со Стефанидой, когда она ходила туда развешивать белье, и, взобравшись на какую-нибудь рухлядь, ухватившись руками за нагретое солнцем шершавое железо, выгпяльивал в слуховое окно — так вот, это окно располагалось как раз на уровне четвертого этажа дома Гецова, а все остальные крыши внутри их квартала располагались настолько ниже, что их можно было вообще не принимать во внимание, но Дом Гецова! — впрочем, мальчик успокаивал себя тем, что дом Гецова стоит на возвышенности, а если бы он стоял рядом с их домом, то еще неизвестно, не оказались бы они одного роста, тем более, что в доме, где жил мальчик, были очень высокие потолки, так что их три этажа вполне могли бы оказаться такими же, как четыре гецовских, — встречаясь с людьми, преуспевающими в жизни, я утешаю себя мыслью, что я все равно умнее и способнее их — и вот теперь он горел —

скелет, объятый пламенем, и, наверное, скоро он должен был рухнуть — они шли посередине улицы, потому что противоположный дом с укрепленным на его углу репродуктором тоже горел, но он был двухэтажным — раскаленные головешки с сухим треском падали на мостовую, вдребезги раскаляваясь и извергая снопы искр — было жарко, как будто приоткрыли дверцу паровой топки, и от дыма слезились глаза, и дальше по улице Розы Люксембург тоже горели дома, постреливая головешками, и только на улице Островского, возле дома профессора Ойзермана было темно и прохладно — они остановились как раз под самым балконом Ойзерманов, и мальчик вдруг понял, что была поздняя летняя ночь, но Ойзерманов не было дома, — наверное они уже тоже ушли, и кто-то из знакомых, проходивших по тротуару под балконом Ойзерманов окликнул их, и они тоже кого-то узнали и перебросились с ними несколькими фразами. По такой же темной и молчаливой улице они спустились к реке и пошли по деревянному мосту — в черной, еще не успевшей обмелеть Нерочи отражались огни пожаров, пылавших где-то там, наверху — в дни праздников Москва-река точно также отражает огни салютов, потому что воде все равно, что отражать, — по главной аллее городского парка в обступившей их тьме слышалось шарканье чьих-то ног, из боковых аллей неожиданно появлялись темные фигуры, и такие же фигуры двигались по главной аллее и затем по молчаливым немощным улицам, расположенным за парком, мимо глухих деревянных заборов и одноэтажных домишек с маленькими черными окнами, в которых уже тоже дрожали багровые блики, и только когда они вышли на шоссе, не на Московское, потому что оно должно было быть самым опасным, а на другое, но тоже ведущее на восток, только тогда мальчику стал окончательно ясен смысл этого шарканья и темных фигур, появлявшихся из боковых аллей и боковых улиц — по обочинам шоссе, справа и слева, тянулись нескончаемые вереницы людей, уходивших из города, — с портфелями, с маленькими чемоданами и с сумками в руках, с велосипедами, на которых было что-то навьючено (мальчик вполне мог не сдавать велосипед — как бы он пригодился сейчас!), с детскими колясками, в которых везли не то детей, не то вещи, а, может быть, и то и другое, многие с детьми на руках или ведя их за руку — мальчик никогда не думал, что в их городе живет столько людей, и его даже охватило чувство гордости за свой родной город — можно было подумать, что

люди идут на прогулку или на маевку или на демонстрацию — только странно — почему под покровом ночи? — многие окликали друг друга, узнавали, справлялись о ком-то — самое главное было не потерять друг друга — мать мальчика и сам он служили как бы связующим звеном между отцом и бабушкой, потому что отец все время отрывался от них и уходил куда-то вперед — впоследствии, когда уже все стало ясно, и отец мальчика, лежа на полу в кишевшей клопами комнате, которую им уступили хозяева — жители одного из провинциальных среднерусских городов, куда они попали в жаркие июльские дни, лежа на полу и шурша рыжим плащом, которым он укрывался, тряс по ночам кровать, на которой спали вповалку мальчик, его мать и бабушка, а днем пожирал огуречную кожуру, ежеминутно подбегал к окну и, увидев военных, начинал метаться по комнате с криком: “Это идут за мной!” и считал, что его выискивает заведующий местным горздравотделом Татанов, так что это имя стало даже нарицательным в семье мальчика, когда хотели изобразить несуществующую опасность, — когда уже все было ясно, мать мальчика говорила, что это его стремление вперед, этот безудержный бег его, были первым признаком начинавшегося психоза — бабушка же шла позади, нормальным прогулочным шагом — в семье мальчика считалось, что бабушка любит гулять, — впоследствии бабушка не один раз с гордостью говорила, что только благодаря этому, она сумела пройти в свои семьдесят лет эти тридцать шесть километров, и все подтверждали это; быстроту ее шага, кроме того, может быть, сдерживала мысль о том, что Тусик так и не заехал за ними и, значит, остался в городе, и все они, кроме отца мальчика, пристально вглядывались в обгонявшие их грузовые машины — не было ли там Тусика? Стояли самые длинные дни и самые короткие ночи — за спиной их багровело зарево горящего города, а впереди, на востоке, уже светлело, запах дыма, по временам еще догонявший их, смешивался с запахом раннего дачного утра — впрочем, так рано мальчик никогда не поднимался, он мог только догадываться, что это должно быть так, — по обочинам шоссе двигались вереницы людей, а между ними, по самому шоссе, обгоняя их, шли грузовые машины — в кузове их на скамейках сидели темные неподвижные фигуры в фуражках — среди шедших по обочинам прошел слух, что это была не то милиция, не то части НКВД, — мальчик то и дело догонял отца, и пока они, чуть отступив в сторону, ждали бабушку

и маму, мальчику казалось, что вереница людей сейчас кончится, и его охватывал страх, что они окажутся последними, и отец нетерпеливо кричал: "Скорей, скорей!", а мама кричала ему, что бабушка не может так быстро ходить, но он, не дождавшись их, снова бежал вперед. Грузовые машины прошли — между двумя вереницами идущих, громяхая по асфальту, ехали запряженные лошадьми двуколки — не то орудия, не то полевые кухни с темными на фоне светлого неба, молчаливо ссутулившимися фигурами бойцов в пилотках — из уст в уста стала передаваться брошенная кем-то фраза, что это отступают наши войска, но говорили об этом почти шепотом, потому что считалось, что границы наши неприкосновенны, — какая-то старуха с растрепанными седыми волосами побежала за двуколкой — она отчаянно жестикулировала, умоляя о чем-то, но ехавшие сидели все так же, молча, не шевелясь, — тогда она побежала за какой-то другой повозкой и даже попыталась взобраться в нее, но ехавшие все так же молча сидели слегка ссутулившись, — тогда она стала кидаться от одной повозки к другой, так что, казалось, даже, что она это нарочно разыгрывает, а потом она остановилась посередине шоссе, между повозок, бесстрастно объезжавших ее, и, воздев руки к небу, стала громко причитать — легкий предутренний ветерок развеивал ее седые космы — кто-то сказал, что она, наверное, сумасшедшая, и только впоследствии мальчик понял, что она была еврейкой. А когда небо совсем посветлело, и стало ясно, что предстоит жаркий и безобпачный день, и войска уже почти прошли — мимо идущих с грохотом проносились лишь шальные повозки, догоняя своих, словно отставшие на параде, — над шоссе появились самолеты. Они летели низко, на бреющем полете, серебрясь в лучах еще невидимого солнца, в вырезе фюзеляжа отчетливо вырисовывались фигуры летчиков в шлемах — они проносились над шоссе, уходили в сторону, потом снова возвращались — слышались короткие пулеметные очереди, и многие из шедших по шоссе бросились в сторону, и семья мальчика тоже кинулась в какой-то лесок. С ними было еще несколько человек, кажется их знакомых, с которыми они встретились в начале пути, потом расстались, а потом снова встретились, потому что по пути то и дело встречались знакомые, словно во время демонстрации или народного гулянья, и когда в лесу возле самого уха мальчик услышал эти короткие свистящие звуки "фюить", как будто кто-то легонько пощелкивал кнутом или подманивал собаку,

он не удивился, потому что много раз слышал их когда смотрел “Семеро смелых” или “Тринадцать”, и именно такими представлял себе их, и только крикнул: “Ложитесь!”, потому что из книг и фильмов знал, что в таких случаях полагается делать, — взрослые, подчинившись его команде, бросились на землю, положив возле себя портфели, и мальчик впервые понял, что такое утренняя роса. В полутемном еще, предрассветном лесу, где-то вдалеке, между стволами деревьев, промелькнуло несколько серых фигур — не то военных, не то милиционеров, потом все стихло, и, когда они снова вышли на шоссе, кто-то сказал им, что они попали в перестрелку между пограничниками и немецкими парашютистами, переодетыми в форму милиционеров, — не с тех ли самолетов, которые летали над шоссе, сбросили этих парашютистов? — впоследствии мальчик узнал, что это называется десантом и что немцы широко пользовались этой тактикой, — значит, они столкнулись лицом к лицу с настоящими немцами — интересно, какие у немцев были лица? и как они могли легко попасться в руки к немцам, но этим передовым группам, видимо, было не до гражданского населения, хотя, как он узнал впоследствии, уже на следующий день немцы возвращали людей в город, который к этому времени уже был занят ими, и мальчик потом не один раз представлял себе, как их семью вместе с остальными попавшимися возвращают под конвоем в город — немецкие солдаты в касках с выступающим массивным подбородком и с бесцветными глазами загоняют их прикладами автоматов с примкнутыми ножевыми штыками за колючую проволоку, на них нашивают желтую звезду, а дальше уже страшно было додумывать, потому что профессора Ойзермана, так и не ушедшего из города, — очень полного человека с лысиной, которую наискосок пересекала тщательно примазываемая прядь волос, отчего еще больше подчеркивалась лысина — его вызывали к бабушке накануне его смерти, он молча щупал его пульс и все ждал его решающего слова — как немцы профессора Ойзермана заставили чистить уборные голыми руками, и он, наверное, задышался, а потом с ним сделали такое, о чем даже не говорили вслух, и только уже потом его убили, и то же самое могли сделать с его отцом, хотя он, наверное, до этого покончил бы с собой, потому что он уже пытался это сделать, когда мальчик был еще совсем маленьким, — отца привезли и положили на кровать с большим пружинным матрасом — у него был поврежден позвоночник — он бро-



сился в пролет лестницы, когда его вели с допроса или на допрос — он дал такие фантастические показания, что даже там это показалось подозрительным — у него уже начинался психоз, и его выпустили — он лежал на кровати, не замечая окружающих, и твердил, что он уже никогда больше не встанет. Солнце уже давно поднялось и было жарко, и хотелось пить, и тогда на шоссе стали появляться колонны людей в поношенной серой одежде, с давно небритыми серыми лицами, с коротко остриженными волосами — каждую колонну сопровождало несколько бойцов с винтовками на плече — обгоняя идущих по обочинам, колонны скрывались за поворотом, а когда солнце стояло уже высоко в небе, почти над самой головой, и нещадно палило, и во рту пересохло от жажды, и мальчик научился спать на ходу, на обочинах шоссе стали появляться первые мертвые — люди в поношенной серой одежде, с давно небритыми серыми лицами — они лежали на боку, с чуть согнутыми в коленях ногами, и только на виске виднелась маленькая круглая уже подсохшая ранка с запекшейся стружкой крови, теряющейся где-то в щетине, — идущие вдоль шоссе молча обходили их, но, обходя, не отрывали от них взгляда и потом еще долго оглядывались, как бы стремясь запечатлеть в памяти их черты, — точно так же проходили когда-то мимо гроба первого секретаря в клубе Совторгслужащих — вначале все думали, что это немцы, но небо было чисто, и не слышалось никакой перестрелки, а потом распространился слух, что это конвоиры пристреливают тех, кто не может быстро идти и отстает от колонны.

*(окончание следует)*

*Н. Н. (Ленинград)*

## НАШЕСТВИЕ

Чужие лица в наших зеркалах,  
Чужая речь во рту блевотным комом,  
Чужие часовые на углах,  
И запах дома мнится незнакомым.

Разбиты жертвенники, смяты дерева,  
В сожженных храмах воют вражьи трубы,  
И ненависти страшные слова,  
Слова вражды — забыли наши губы!

И меч отцов от страхов наших ржав,  
И нам уже чужей бича чужого...  
Мужайся, муж кухонного ножа,  
Брюхатить жен, покуда живы жены!

Пока глаза не выжег стыдный пот,  
Покуда кровь не превратилась в воду,  
Мужайся, муж, лизать чужой сапог  
За данную сапог лизать свободу!

\* \* \*

Дядя дышит тяжело,  
Дядю выпить повело...  
Над разбитым Кенигсбергом  
Галки встали на крыло.

Бормотушная страда,  
В доках пьянствует вода,

Над разбитым Кенигсбергом  
Стонет галочья беда.

Ихних западных скорбей  
От российских голубей  
Над разбитым Кенигсбергом  
Не дождешься, хоть убей.

С моря тянет матерком,  
Скучно, Вася, с дураком...  
Заплевать могилу Канта  
Не дает горисполком.

#### ОТЪЕЗДНОЕ

Разлука — смерть за вычетом надежды.  
Увы, мой друг, — покойники мы оба!  
Объятия по-траурному нежны,  
И поцелуй — комок на крышку гроба.  
И скорбь черна, как скорбные одежды...

Распались скрепы, разогнулись скобы,  
И, странниками в дальние исходы,  
Ушли от нас друзья, что были прежде...  
Пылить поврозь по трактам незнакомым.

На чуждых реках и под чуждым небом  
Гадать о друге — был он или не был?  
Раскинув дни, как королей картонных.

#### ГРАММАТИКА

В суете, бессмысленной и жуткой,  
Мечется адамова родня,  
Отделяя совесть от поступков  
Запятыми завтрашнего дня.

Но приходит время ставить точку,  
Вспоминать измятые года...  
Каждый умирает в одиночку,  
Корчась в муках смертного стыда.

## ГАМЛЕТ

О боже! Сколько смысла и добра  
В листе травы, в шершавой коже глины...  
Безумство пятен в строгом танце линий  
И света с ветром вечная игра.

Как я ничтожен на руках весны,  
Как мелок со своим безмерным горем!  
Забиться и уснуть, и видеть сны,  
Вернуться каплей в ласковое море...

\* \* \*

Беспокойно как-то стало,  
Как-то все по пустякам...  
Жизнь надежду отхлестала  
По упитанным щекам.

То ли ветер вербу клонит,  
То ли чешется в спине,  
То ли голод на Цейлоне,  
То ли муха на стене.

Все куда-то тянут душу  
Одичавшие глаза —  
То ли заповедь нарушить,  
То ли кукиш показать,

То ли срок себе умерить,  
Крепко двери заперев...  
За окошком тихо время  
Осыпается с дерев.

Будто пьяненький уродец  
Днями нашими крутит...  
Бросишь камушек в колодец —  
До воды не долетит.

## ЛЮБИМАЯ

“Ну что ты, как ты, чем ты жив?”  
Декабрь... Скоро осень.  
Живу, тебя почти забыв,  
Да и забыть бы вовсе!

Зачем в дурмане суеты,  
В спасительном запое  
Твое назойливое “Ты”  
Маячит передо мною?

Руками тяжесть не поднять —  
Хотя бы и твоими...  
Декабрь... И декабрь опять,  
И осень между ними.

Ну что ж никак ты не умрешь?  
И за забитой дверцей  
Вздыхаешь, топчешься, живешь  
И заземляешь сердце.

\* \* \*

Распалась связь времен... Куда теперь спешить?  
Нет времени, а значит — нет и цели.  
У ценностей поотрывался ценник,  
И все равно — поститься иль грешить.

Что с вами случилось, мудрые сердца,  
Творцы свободы, истины и света...  
Нет времени, а значит — нет Завета,  
И вы — в груди у труса и лжеца.

Безвременье ума, маразм души,  
Забвенья памяти — какая злая доля!  
Безмыслие, безмолвие, безволие...  
Нет времени, куда теперь спешить...

## ИНТЕЛЛИГЕНТ

Кочую от аванса до полочки,  
Сплю долго, много ем и пью немножко.  
Хожу служить, кладу в сортире кучки,  
Имею двух детей, жену и кошку.

Казалось бы, чего еще мне надо?  
Чего же не хватает мне для счастья?  
Не то — блядищи с необъятным задом,  
Не то — свободы слова и печати...

Судьба моя как шахтный коридор,  
Прорубленный неведомой бригадой:  
Как ни петляй ему наперекор,  
Он все равно доставит, куда надо.

Когда-то неразумен и упрям,  
Я ждал развилку, верил в повороты...  
Путь был извилист — коридор был прям,  
Скала тверда — ни впадины, ни грота.

Потом, свои надежды истредав, —  
От стенки к стенке — утлая свобода —  
Я шел туда, куда вела тропа,  
Не тратя сил на поиски обхода.

Да есть ли тот обход? Поверх голов  
Летит мой путь заветный, путь заветный...  
На дудочке играет Крысолов,  
И дети входят в Лету, входят в Лету.

## СЮРРЕАЛИСТИЧЕСКИЙ ЭТЮД

Который раз мне снится тот же сон, —  
Дурацкий сон, что будто бы я счастлив,  
Что будто я от счастья невесом  
И храбр и пьян — хоть режь меня на части!

Что будто даже счастьем я блюю —  
Оно, как рвота, лезет вон из пасти,  
И затопляю комнату свою,  
И плаваю в своем блевотном счастье.

А счастье подмывает потолок,  
И я тону, как мышь в водопроводе..  
И, просыпаюсь, радуюсь, что Бог  
На дом мой счастья, к счастью, не наводит.

\* \* \*

Мы — разбитое поколение,  
Мы разбиты параличом,  
Городошной дубинкой времени  
С кона выбиты в не при чем.

Изнасилованные историей,  
Без иллюзий, как без трусов,  
Не желая, но и не споря, мы  
Ляжем с тем, кто подаст кусок,

Ляжет с тем, кто дыхнет уверенней,  
Кто сильнее нажмет плечом..  
Мы — разбитое поколение,  
Мы разбиты параличом.

*Стихи анонимного автора из Ленинграда прибыли по каналам Самиздата и публикуются без ведома автора.*

## МАЛЕНЬКАЯ БАРАБАНЩИЦА

### 5.

Пароход прибыл в Пирей с двухчасовым опозданием, и кто знает — может, если бы Иосиф не увез билет Чарли, она бы так и не пошла его разыскивать. А впрочем, все-таки пошла бы, ибо ее независимое поведение служило лишь ширмой для ее истинной покорности, которая просто не находила стоящего хозяина среди ее друзей. И хоть она сто раз убеждала себя, что ее преследователь из Ноттингама и Йорка был вовсе не Иосиф, она все равно в глубине души знала, что это был именно он.

Прощание с семейкой оказалось куда трудней, чем она предполагала, так что в конце концов она просто убежала от их простертых рук, и продравшись через толпу отбывающих и прибывающих, оказалась на жарком шоссе вся в слезах. Плечевой ремень ее сумки лопнул, гитара больно била по ноге, солнце палило. Ее выручил нежданно-негаданно хипповатый парнишка из Миконоса, — он, наверно, прибыл в Пирей тем же пароходом, но она его не заметила. Проезжая мимо в такси, он подхватил ее и подвез почти до самого места свидания. Он оказался шведом по имени Рауль, у его папаши был бизнес в Афинах, и Рауль рассчитывал перехватить у него немного денег.

Над рестораном “У Диогена” красовалась голубая вывеска.

“Прости меня, Жозе, у нас ничего не выйдет: это была отпускная блажь и пора с ней кончать. Дай мне мой билет, и я отправлюсь домой”.

Или, может, просто соврать, что ей вдруг предложили роль?

Протискиваясь между столиков, расставленных на тротуаре, к входной двери, Чарли думала: да он давно ушел, кто в наши дни



ждет девушку два часа? Оставил билет у портье в отеле за углом и смотал. Что ж, будет мне наука, не бегать по Европе в поисках пляжных ухажеров. В голове все качалось и мелькало: Люси накануне заставила ее принять какие-то бодрящие таблетки, от которых сегодня ее мутило.

Какой-то хам пошутил насчет ее порванного ремня, вокруг засмеялись, и она не выдержала: обрушив на них всю известную ей рыночную брань, она толкнула ногой дверь. Внутри было сумеречно и тихо, окна зашторены, и в углу, в уютном свете настольного фонарика, сидел Святой Иосиф с острова Микonos, нарушитель ее душевного спокойствия, за чашечкой кофе с книжкой в руке.

Только не прикасайся ко мне, — предостерегла она его мысленно, пока шла к его столику. И пальцем не тронь: я устала, я умираю с голоду, я зареклась крутить романы на двести лет вперед.

Но он и не думал к ней прикасаться, он только взял у нее гитару и сумку. И она не нашлась сказать ничего умней, чем: “Ого! Рубашечка из чистого шелка!”. Рубашка на нем и впрямь была чистого шелка, кремовая с золотыми запонками, крупными, как пробки с пивных бутылок. “Ну и вид у тебя, Жозе! — добавила она, оглядывая его, — часы золотые, браслет золотой! Не успела я отвернуться, как ты нашел себе богатую покровительницу?” И все это тоном истерически-воинственным, с подсознательной целью, — чтобы он устыдился своей шикарной внешности, как она стыдилась своих потрепанных джинсов и стоптанных башмаков.

Но Иосиф и ухом не повел:

“Привет, Чарли! Пароход опоздал, да, бедняжка? Это все пустяки, главное — ты здесь”. В этом был он весь — ни восторга, ни удивления, простое библейское приветствие и властный кивок в сторону официанта. “Что сначала — умыться с дороги или виски?”

“Виски!” — сказала она и плюхнулась на стул напротив него.

Она сразу увидела, что это замечательный ресторан — не для туристов, а для своих.

“Да, и пока я не забыл”, — и он нагнулся за чем-то под столом.

Что ты мог забыть? — подумала она, устало положив голову на руки. Не морочь голову, в жизни ты никогда ничего не

забывал. Иосиф вытащил из-под стола шикарную греческую сумку, которую протянул ей без всяких церемоний.

“Раз уж мы вместе выходим в мир, вот твой пакет первой помощи. Там твой билет из Фессалоники, который ты можешь сменить, если захочешь, и все, что надо для побега, если ты передумаешь. Трудно было врать друзьям?”

Он спросил это так, будто каждый день врал друзьям и сожалел об этом. Она заглянула в сумку и пожаловалась: “А парашют забыл положить!” И добавила: “Красивая сумка, спасибо, Жозе”.

“А как насчет лобстера? Ты говорила, что обожаешь лобстеров”.

Она молча кивнула в знак согласия и взяла его руку в свои, чтобы загладить свою резкость. Он улыбнулся и позволил ей играть его пальцами. Пальцы были красивые — длинные и сильные.

“А к лобстеру вино, твое любимое — “Бутарис”, белое, холодное”.

Да, мое любимое, — думала она, глядя, как его рука уползает от нее по столу. Я ему рассказывала об этом лет десять назад, когда мы встретились на маленьком греческом острове.

“А после обеда я поведу тебя вверх на гору и покажу второе по красоте место в мире”.

“Я хочу первое”, — сказала она, отхлебывая виски.

“Я никогда не присуждаю первый приз”, — произнес он строго.

Она попыталась зайти с другой стороны: “А что ты делал всю эту неделю, Жозе? Кроме того, что тосковал обо мне?”

Вместо ответа он засыпал ее вопросами — о последних днях на острове, о прощании с семейкой, о дороге сюда. И усмехнулся, когда она рассказала про хипповатого паренька, подбросившего ее на такси. Потом спросил, что пишет Алистер. Она ответила небрежно, что Алистер терпеть не может писать письма, но она надеется, у него все в порядке. К тому времени, как она покончила с виски, ей стало опять казаться, что она ему нравится. Но ее все время не оставляло чувство, что все идет не так, как следует. Так у нее иногда бывало во время спектакля: сцены следовали одна за другой с деревянной последовательностью, не складываясь в единое целое. “Сейчас”, — подумала она и вытащила из сумки коробочку оливкового дерева, которую протянула ему. Он

взял ее нехотя, словно не понимая, что это подарок, и она на миг заметила на лице его тень тревоги.

“Открой!” — сказала она.

“Что это?” Он осторожно встряхнул коробочку и приложил к уху, а потом обреченно поднял крышку и начал рассматривать уложенные аккуратно пакетики из папиросной бумаги. “Может, вернем это туда, где ты это взяла?”

“Разверни, не бойся”.

Он медленно сунул руку в коробочку и с опаской вытащил розовую раковину, которую она подобрала на берегу в день его отъезда. Он положил раковину на стол и достал из коробочки деревянного ослика, на боку которого она собственноручно написала “Иосиф”.

“Это ты”, — сказала она, но он не улыбнулся, а стал внимательно осматривать ослика со всех сторон. “А это я, тоскую по тебе”, — и она положила на стол свою фотографию — в соломенной шляпе, вид сзади.

Он поблагодарил как-то отвлеченно, словно хотел сказать: спасибо, но сейчас это некстати. Она секунду колебалась, а потом все же сказала, глядя ему прямо в глаза: “Жозе, не стоит так продолжать. Я ведь еще могу успеть на самолет, если ты передумал”.

“Я вовсе не передумал — я подготовил все к нашему путешествию”.

И он выложил на стол кипу туристских проспектов. Неубежденная нисколько, она все же пересела на его сторону стола и стала рассматривать проспекты вместе с ним, небрежно положив левую руку на его плечо. Плечо было твердое как скала и столь же любезное, но она все равно руку не сняла. О, Дельфы! — потрясно, Жозе! Ее волосы касались его щеки, она помыла голову вчера специально для него. Олимп — подумать только! Метеора? — первый раз слышу, — их лбы соприкасались. Отели, где они будут ночевать, — все продумано, наперед заказано. Она поцеловала его в щечку, где-то под глазом, а он в ответ пожал ее руку и погладил, так что она перестала удивляться, откуда это в нем — или в ней — такая уверенность, что он имеет на нее право, без борьбы, без ее согласия. Словно они давно сговорились и просто планируют давно намеченный медовый месяц.

“У тебя есть красный блейзер, Жозе?” — спросила она, прежде чем подумала, стоит ли спрашивать. “Винно-красный с медными пуговицами, покроя двадцатых годов?”

Он поднял голову и заглянул ей в глаза: “Это шутка?”

“Нет, просто вопрос”.

“Красный блейзер? С чего вдруг? Это цвет твоей любимой футбольной команды?”

“Тебе бы он пошел”. Он все еще ждал объяснения. “Я просто иногда так вижу людей – театрално, мысленным взором. Кого в бороде, кого в гриме, такая у меня привычка”, – она явно пыталась выпутаться.

“Ты хочешь, чтобы я отпустил бороду?”

“Если я захочу, я сообщу тебе об этом”.

Он улыбнулся и отвел глаза, и она сбегала от него в туалет. Там, разглядывая себя в зеркале, она подумала: “Недаром он весь изрешечен пулями. Это бабы в него стреляли. И поделом”.

Когда они поели, он оплатил счет из кошелька крокодиловой кожи, стоимость которого могла бы покрыть половину бюджета любой страны.

“Ты списываешь с налогов расходы на меня, Жозе?” – спросила она, заметив, что он взял у официанта расписку и деловито спрятал в карман.

Он не ответил, так как вдруг оказалось, что они страшно спешат.

“Погляди, не стоит ли поблизости потрепанный зеленый “Опель” с десятилетним шофером за рулем”, – попросил он, когда они почти бегом выскочили из ресторана через черный ход. Сумку же он нес подмышкой.

“А вот он”, – сказала она.

“Опель” действительно притаился в соседнем переулке, зеленый и потрепанный. Шофер взял ее сумку и поспешно сунул в багажник. Ему, конечно, было не десять, но возможно не более пятнадцати, он был конопатый, белобрысый и румяный. Моросил теплый южный дождь.

“Познакомься с Димитрием, Чарли”, – сказал Иосиф и подтолкнул ее к задней двери. “Его мама разрешила ему сегодня поздно лечь спать. Димитрий, будь другом, отвези нас на второе по красоте место в мире”. Он сел на заднее сиденье рядом с ней и произнес голосом гида: “Итак, Чарли, перед тобой – символ современной греческой демократии, Площадь Конституции, а направо – Олимпион и Ворота Адриана. Красиво?”

“Потрясно”, – откликнулась она.

Проснись, сказала она себе сердито, перестань дурить – тебе

предложили даровую поездку по древней Греции и нового роскошного мужика, другая была бы счастлива. Машина замедлила ход и начала вползать на холм по мощенному булыжником серпантину. Чарли увидела справа какие-то развалины, слева густые кусты. Они остановились. Иосиф, стремительно выпрыгнув из машины, распахнул дверцу с ее стороны, крепко взял ее за руку и повел по крутым каменным ступеням, затаившимся среди высоких деревьев. Его прикосновение было как электрический разряд, — ее пальцы словно обожгло там, где он их сжимал. Они поспешно шли вверх по узкой тропке, поросшей сухой травой. Луны не было, но Иосиф уверенно находил путь в темноте, словно знал его наизусть. Сквозь просвет между деревьями она увидела где-то далеко внизу огни города. Невдалеке кто-то засмеялся, она оглянулась — какие-то девчонки бежали по параллельной тропке.

“Ты не возражаешь, что мы идем в гору?” — спросил он.

“Еще как возражаю”, — ответила она.

Он и не подумал остановиться. Слева на фоне оранжевого неба вздымался мрачный черный куб с высокой печной трубой на одном из углов, справа шелестели могучие сосны, оглушительно стрекотали цикады. Пахло смолой и сухой хвоей.

Они вышли на более широкую дорогу, он шагал впереди легким ровным шагом. Возле маленькой каменной будки она увидела двух стражей под тусклой лампочкой в сетчатом абажуре, Иосиф что-то быстро сказал им и поднял руку — блеснули запонки и часы — они почтительно расступились. За будкой высокие ворота литого железа вели в непроглядную тьму, она услышала звяканье ключей, лязг замка и скрип петель. Ворота медленно растворились, и на миг ее охватил страх. Что я тут делаю? Беги отсюда, дура, пока жива! Иосиф окликнул ее от ворот, она глянула назад и увидела в полутьме за будкой двух девушек, идущих вверх по дороге вслед за ними. Иосиф позвал ее еще раз, и она пошла к воротам, чувствуя на себе раздевающий взгляд одного из стражей. Ей вдруг пришло в голову, что Иосиф на нее так не смотрел — и вообще он не выказал пока никакого такого к ней интереса. В своей растерянности она страстно жаждала получить от него подтверждение, что он ее хочет.

Ворота закрылись за ними, и они пошли вверх по скользкой каменной тропке. Она хотела было обнять его за плечи, но он ловко пропустил ее вперед, чтобы, как он сказал, не заслонить

от нее предстоящее зрелище. Значит, это будет зрелище, подумала она, — второе по красоте в мире. Похоже было, что тропка под ногами была из мрамора, и ее кожаные туфли опасно скользили по его гладкой поверхности. Один раз она чуть не упала, но его рука подхватила ее с такой скоростью и силой, по сравнению с которой рука Ала казалась ватной. Другой раз она нарочно покачнулась и локтем прижала его пальцы к своей груди, чтоб он почувствовал. Темнота вокруг светлела и дышала теплом, словно хранила остатки дневного зноя. Где-то внизу покинутой планетой светился далекий город.

“Теперь надо идти медленно”.

По его тону она поняла, что то, ради чего они взобрались так высоко, где-то рядом. Тропка, круто свернув, привела их к деревянной лестнице. Рука об руку они прошли под высокой аркой, а за аркой она увидела половинку красной луны, скользящую среди звезд над колоннадой Парфенона.

Она прошептала: “О, Господи!” — и почувствовав себя на миг совершенно одинокой в мире, быстро шагнула вперед, словно опасаясь, что это мираж, который сейчас исчезнет.

И вдруг она побежала, сама не зная куда, бормоча бессвязные слова, которые она обычно говорила только возлюбленным в постели, и чувствуя, как душа ее пытается отделиться от тела. Она остановилась у парапета, закинув руки за холодный мрамор, и оглянулась, — он наблюдал за ней, стоя за ее спиной.

“Спасибо”, — сказала она.

Она шагнула к нему, взяла его голову в руки и поцеловала в губы, сначала по-детски, сомкнув губы, потом по-взрослому, раздвинув их языком, в промежутках вглядываясь в его лицо. На этот раз их объятие было достаточно долгим, чтобы она убедилась, что у них это получается отлично, да, да! “Спасибо, Жозе”, — повторила она, и он высвободился из ее рук, оставив ее ни с чем.

Озадаченно и почти сердито она стала вглядываться в его застывшее красивое лицо, освещенное лунным светом. А она-то думала, что знает их наперечет. Скрытых гомиков, блефующих до потери сознания, перезрелых девственников, испуганных призраком возможной импотенции, притворных Дон Жуанов, умирающих от застенчивости. Но в Иосифе она чувствовала сдержанность, незнакомую ей доселе, — она была слишком опытна в любовных делах, чтобы не оценить напряженность и уверенность его

объятия. Скорей, это выглядело так, словно у него была иная, далеко идущая цель, которая сдерживала его страсть.

Он молча выдержал ее взгляд и поднял к свету руку с золотыми часами. "У нас совсем мало времени. Я хочу успеть показать тебе храмы, — ты согласна еще поскучать со мной?"

Он хотел заручиться ее поддержкой, — что ж, электрический разряд между ними достиг такого напряжения, что она была готова на все:

"Я согласна скучать с тобой, пока судьба не разлучит нас. Расскажи мне о них все, что знаешь, — кто это построил, кому здесь поклонялись, чем это кончилось!"

А он знал много, он рассказывал долго и подробно, переходя от храма к храму, а она послушно шла за ним, держала его руку и думала: "Я буду твоей ученицей, твоей сестрой, твоей чем хочешь, я все сделаю ради тебя, но я заставлю тебя еще раз мне улыбнуться этой проклятой улыбкой, чего бы мне это ни стоило". Вслух она спросила:

"Ты выучил все это ради меня, Жозе?"

"Только ради тебя. Не веришь?"

"Почему не верю? Я тоже могла бы выучить это ради тебя, — у меня память как губка".

Он остановился, она тоже.

"Тогда повтори все, что я сейчас рассказывал".

Она сперва подумала, что он просто дразнит ее, но он смотрел серьезно. Тогда она взяла его за руку и провела той же дорогой, что он только что вел ее, повторяя его слова.

"Ну как? — спросила она в конце. — Я заслужила второй приз?"

В этот момент где-то далеко внизу прозвучал автомобильный сигнал — три отчетливых гудка, и она сразу поняла, что сигналят ему: он резко поднял голову, вслушиваясь, проверяя точность по часам. Что ж, часы пробили, подумала она, пора карете превращаться в тыкву, а лошадям в мышей.

Они уже начали быстро спускаться с холма, когда Иосиф вдруг замедлил шаг у печальной чаши Театра Дионисоса, затопленной лунным мерцанием.

"Я где-то читал, — сказал он, — что настоящая драма не может быть только личным переживанием, как стихи, например. Она должна иметь общественный смысл, и актер своей игрой должен быть полезен людям".

“Например, играть Елену Прекрасную на утреннем спектакле для пенсионеров”, — попыталась отшутиться она, смущенная серьезностью его тона.

“Нет, сыграть такую роль, которая может изменить реальную жизнь. Ты бы могла?”

“Если бы мне нашли такую роль, может, и могла бы”.

“Я так и думал”, — сказал он, словно что-то кому-то доказывавая.

“Правильно думал”, — эхом отозвалась она, сбегая за ним по крутой тропке и пытаясь охватить разумом реальность происходящего. Страж у ворот приветственно махнул рукой им вслед.

\* \* \*

Сначала она подумала было, что это розыгрыш. Дорога внизу была совершенно пустынная, если не считать “Мерседеса”, припаркованного у обочины. “Мерседес” был темный, но не черный, номерной знак его был скрыт высокой придорожной травой. Ей всегда нравились “Мерседесы”, а этот был очевидно самого роскошного сорта. Иосиф вел ее за руку, и она не сразу осознала, что он собирается открыть дверцу “Мерседеса”. Она видела, как он сунул ключ в замочную скважину, и все четыре дверцы распахнулись одновременно и бесшумно. Пока она пыталась спросить его, что это за дьявольщина, он уже вел ее к пассажирскому месту.

“Что, тебе не нравится эта марка? — спросил он с напускным легкомыслием. — Хочешь, чтобы я заменил “Мерседес” на “Фиат”?”

“Ты взял его напрокат?”

“Не совсем. Мне одолжил его один друг — для нашего путешествия”.

“Как его зовут?”

“Чарли, не будь смешной. Герберт, Карл — какая разница?”

“Где мои вещи?”

“В багажнике. Димитрий положил их туда. Хочешь проверить?”

Она не стала проверять, она села рядом с ним, и он тут же повернул ключ зажигания. На руках у него были шоферские перчатки из тонкой черной кожи, золото браслета и часов ярко выделялись на их фоне. Он вел машину слишком уверенно, и это ей не понравилось тоже — машины друзей так не водят. Ее дверь была заперта, он запер все двери с помощью центрального устройства на приборном щитке.



“Как открыть это проклятое окно?” — спросила она.

Он нажал какую-то кнопку, и окно опустилось на два сантиметра, не больше, — в машину хлынул душистый воздух южной ночи.

“И часто мы забавляемся так? — спросила она резко. — Умыкаем полужнакомых дам в неизвестном направлении со скоростью, вдвое превышающей скорость света?”

Он не ответил, напряженно вглядываясь в стремительно мелькающую перед машиной тьму. Кто он? О, Господи, кто он? Машина наполнилась светом — она резко обернулась и увидела фары другой машины, неотступно следующей за ними с той же скоростью. “Это наши или их?” — спросила она, и тут только до нее дошло, что на заднем сиденье аккуратно разложен винно-красный блейзер с медными пуговицами, хорошо знакомый ей по Ноттингаму и Йорку.

Она попросила у него сигарету. “Погляди в бардачке”, — ответил он, не поворачивая головы. Она потянула тугую дверцу и нашла там пачку “Мальборо”, рядом лежал шелковый шарф и дорогие солнечные очки. Она понюхала шарф, он благоухал дорогими духами.

“Я вижу, твой друг большой щеголь”.

“Да, изрядный. А что?”

“Там, на заднем сиденье — его красный блейзер или твой?”

Он быстро глянул на нее, словно восхитился ее наблюдательностью, и опять перевел глаза на дорогу: “Скажем, его, но он мне его одалживает, когда надо”. Он еще подбавил газу.

“Чего ж ты не одолжил тогда и его темные очки? Они бы защитили твои глаза от огней рамп. Твоя фамилия Рихтховен, правда?”

“Правда”.

“А имя — Питер, хоть ты предпочитаешь, чтоб тебя называли Иосиф. Живешь ты в Вене, немного занимаешься делами, немного читаешь, ходишь по театрам, да?”

Он согласно кивнул, стрелка спидометра перемахнула за сто тридцать километров. Она продолжала с той же скоростью:

“Национальности неопределенной, из дворян. Трое детей, две жены”.

“Ни жены, ни детей”.

“А я б не возражала против жены и против детей. И против любой детали, которая могла бы определить, кто ты есть. Ты знаешь, девушки ужасно любопытны”.

Дорога была очень узкая, хоть и прямая, скорость уже достигла ста сорока, и она почувствовала, как где-то под ложечкой у нее назревает паника. "Может, скажешь что-нибудь определенное?"

"Я могу сказать только, что я старался лгать тебе как можно меньше и что скоро ты поймешь, почему нам было так важно, чтобы ты была с нами".

"С нами?" — задохнулась от негодования она.

До сих пор он был одинокий волк, ей вовсе не понравился этот переход ко множественному числу. Нисколько не снижая скорости, он выскочил на большое шоссе, ловко подрезав набегающие справа машины так, чтобы следующие за ними фары успели пристроиться сзади.

"Я надеюсь, это не связано с оружием?" — спросила она, вспомнив вдруг о его шрамах. — С какой-нибудь небольшой войной или революцией? А то я совершенно не переношу стрельбы". Она сама не узнавала свой голос.

"Нет, Чарли, никакой стрельбы".

"Никакой стрельбы? А что — работорговля?"

"И не работорговля".

"Что ж, остаются только наркотики. Но и наркотики — не по моей части". Он промолчал. "Что-то более возвышенное? Более благородное? А может, лучше всего остановить машину и дать мне выйти?"

"Здесь, на пустом шоссе, среди ночи? Не сходи с ума".

"Сию минуту останови эту проклятую машину!" — завопила она.

Они проскочили светофор и свернули налево так круто, что плечевой ремень чуть не задушил ее. Она хотела схватить руль, но его рука перехватила ее руку на полпути. Машина свернула налево еще раз на аллею, окаймленную жимолостью и азалией, и резко остановилась у дверей белой виллы, увитой красными розами. Вторая машина вырулила к двери вслед за ними, перегораживая выход. Она услышала легкие шаги по гравию. Над входом горел тусклый фонарь. Иосиф выключил мотор и сунул ключ в карман. Наклонившись над Чарли, он открыл дверцу с ее стороны, впустив внутрь неумолчный хор цикад. Он вышел, но она осталась сидеть — из тускло освещенной тьмы на нее глядели юные лица. Димитрий — конопатый водитель десяти лет. Рауль, подвозящий девушек на такси, сын богатого папочки из Афин.

Две девицы в джинсах — те самые, которых она заметила в Акрополе. Да и на Миконосе они несколько раз попадались ей на глаза, — теперь она вспомнила их. Услышав, как кто-то открыл багажник, она заорала: “А ну, не трогайте мою гитару!”, но Рауль уже нес и гитару, и сумку с порванным ремнем. Она готова была в него вцепиться. Но девушки твердо взяли ее за локти и без труда вывели к крыльцу.

“А где этот подонок Иосиф?” — завопила она.

Но подонок Иосиф, выполнив задание, убежал от нее вверх по лестнице, не оборачиваясь, словно удирал с места преступления. Проходя мимо машины, Чарли рассмотрела, наконец, номерной знак. Он вовсе не был греческий. Он был арабский, с пластиковой нашлепкой “ДК” на багажнике, что означало “Дипломатический Корпус”.

## 6.

Две девушки провели ее в уборную и, нисколько не смущаясь, стояли над ней, пока она не спустила воду. Одна блондинка, другая брюнетка, обе красотки, в рубашках навыпуск поверх джинсов. Они выглядели довольно хрупкими, но без особого труда скрутили ее, когда она попыталась выцарапать им глаза, а когда она осыпала их проклятиями, они улыбались с любезностью глухих.

“Меня зовут Рахель, — сказала ей брюнетка, пока заводила ей локти за спину, — а ее Роз. Два “Р”, запомнишь?”

У Рахели был северный акцент и веселые глаза, это на ее зад польстился на границе Янука. Роз была гораздо выше и спортивней, ее суховатый английский выдавал уроженку Южной Африки. После уборной они отвели ее в спальню, где дали ей расческу и стакан крепкого чая без молока. Она сидела на краю кровати, прихлебывала пустой чай и бормотала: “Похищена актриса без гроша в кармане. Какой выкуп можно с нее получить, кроме ее долгов?” Они вежливо улыбнулись в ответ и повели ее вверх по широкой лестнице, на мраморных ступенях которой дробился лунный свет. Рахель распахнула двойную дверь на втором этаже и отступила, пропуская Чарли вперед. У стола в центре просторной комнаты сидели двое. один — крупный и кряжистый, другой — тонкий и сутулый, на столе вздымался ворох бумаг, издали напоминавший газетные вырезки. Рахель подтолкнула Чарли вперед, и она

ровным шагом двинулась к столу, чувствуя себя заводной игрушкой. Закати истерику, скомандовала она себе, завизжи, притворись, что у тебя приступ аппендицита. Но двое у стола тем временем вскочили на ноги почтительно, тонкий остался стоять, а кряжистый шагнул ей навстречу и уверенно пожал ей руку, прежде чем она успела его оттолкнуть.

“Чарли, как мы рады видеть тебя, наконец, среди нас!” — воскликнул Курц радостно, словно ей понадобилось пройти сквозь огни, воды и медные трубы, чтобы оказаться среди них. “Ты можешь называть меня Марти”, — его рука все еще держала ее руку, и химия между ними была куда приятней, чем она могла бы предположить. Он кивнул на тонкого: “А это Майк, познакомьтесь. А это мистер Рихтховен, с ним ты уже знакома — Иосиф, кажется, так ты его назвала?”

Она не заметила, когда он вошел. Оглянувшись, она увидела его, — он сидел за маленьким складным столиком, освещенным настольной лампой, и разбирал какие-то бумаги.

“Сейчас я бы назвала этого подонка иначе”, — сказала она.

Она хотела было броситься на него — три прыжка и хорошая пощечина, вот было бы славно, — но понимала, что из этого ничего не выйдет, и не стала попусту тратить силы. Она попросту обозвала его всеми знакомыми ей бранными словами, которые он преспокойно стряхнул с ушей. Он сменил свою роскошную шелковую рубашку на легкий бежевый свитер с открытым воротом.

“Я бы посоветовал тебе послушать то, что тебе хотят сказать. Ты можешь многое узнать, а если тебе повезет, многое сделать”, — сказал он, наконец, и вернулся к своим бумагам.

Ему нет до меня дела, — с горечью подумала она. Те двое у стола продолжали вежливо стоять, ожидая, пока она сядет, что само по себе было безумием. Тем не менее она села, тайком смахнув невольную слезу, и спросила вызывающе: “Ну, кто сдает первый?”. Да, теперь она ясно видела, что на столе были разложены газетные вырезки, причем она без труда узнала их: это были статьи из газет о ней и ее карьере. “Может, вы ошиблись и вам нужна совсем другая девушка?”

“Нам нужна именно ты, Чарли!” — радостно ответил Курц и заговорил быстро и оживленно с той покоряющей силой, которая увлекла раньше в его сети Алексиса, Квили и многих других. Если Чарли сначала только подозревала, что ее ждет бессонная

ночь, то голос Курца, заполнивший комнату, окончательно убедил ее в этом. У двери на полу расселись остальные участники спектакля, явно не расположенные вскорости идти спать.

“Чарли, мы хотим, чтобы ты поняла нас и простила. Есть вещи, которые приходится делать, хотим мы того или нет, и мы их делаем. Прости и здравствуй. Я понимаю, что ты хочешь задать тысячу вопросов, — что ж, дай нам время, и мы ответим на них. А пока, давай выясним главное. Ты хочешь знать, кто мы? Иосиф сказал правду: мы благородные люди, так же, как и ты, обеспокоенные тем, что многое в этом мире совершается неправильно и несправедливо. А если я добавлю к этому, что мы — граждане Израиля, я надеюсь, у тебя не появится желание в ярости выскочить из окна с проклятиями, если, конечно, ты не разделяешь мнения многих арабских организаций, что Израиль следует смести с лица земли и сжечь напалмом. Ты тоже так считаешь, Чарли? Ты можешь заявить об этом прямо — билет твой у тебя в сумочке. Мы дадим тебе денег, и ты свободна уехать домой. Ну?”

Чарли словно окаменела, все смешалось у нее в голове. У нее, собственно, не было сомнений, что Иосиф — еврей, но Израиль был для нее отвлеченной абстракцией, вызывающей одновременно к ее защите и к ее осуждению, ей никогда и в голову не приходило, что она может столкнуться с ним, как с реальностью, требующей немедленного ответа.

“А в чем, собственно, дело?” — спросила она, отмахиваясь от предложения Курца закончить разговор до того, как он начался.

“У тебя есть расовое отвращение к евреям? Они плохо пахнут или, может, тебе не нравятся их манеры? Мы готовы это понять”.

“Только не говорите глупости!” — голос ее прозвучал фальшиво: для нее самой или для других тоже?

“Ты чувствуешь себя среди врагов?”

“Что вы! Каждого, кто меня похищает, я рассматриваю как своего лучшего друга!” — огрызнулась она и, к своему удивлению, заработала взрыв восхищенного смеха всех слушателей. Всех, кроме Иосифа, — она слышала, как он торопливо шуршит бумагами за ее спиной.

“Давай забудем на миг, что тебя похитили. Скажи, ты предлагаешь всем европейским евреям упаковать чемоданы, чтобы

вернуться в свои бывшие страны и поджидать там новых погромов?”

“Я предлагаю, чтобы вы оставили арабов в покое!”

“Ты смотрела когда-нибудь на карту Ближнего Востока??”

“Конечно, смотрела”.

“И тебе не приходило при этом в голову, что хорошо бы арабам оставить нас в покое?” — трезвость его доводов превращала все ее предыдущие убеждения в плоские лозунги. Она почувствовала себя на миг глупой девчонкой, робеющей перед учителем.

“Я хочу мира”, — сказала она, сама удивляясь глупости своих слов, хоть они были чистой правдой.

“Что ж, глянь на карту еще раз и подумай, чего хотим мы”, — ответил Курц и умолк. Вся комната погрузилась в молчание, которое становилось с каждым мгновением все полновесней и значительней, пока Курц снова не прервал его.

“Чарли, мы здесь не для того, чтобы разоблачать твои политические взгляды. Хочешь верь, хочешь нет, но твои взгляды нам нравятся. Мы хотим обратиться к твоему инстинктивному гуманизму, к твоему чувству справедливости. Мы не хотим от тебя ничего, что противоречило бы твоим убеждениям и твоей этике. Если ты примешь это за основу, мы хотим, чтобы ты выслушала, что мы тебе предлагаем”.

И снова Чарли бросилась в атаку: “Если Иосиф — израильтянин, почему он разъезжает в этой роскошной до отвращения арабской машине?”

Лицо Курца рассыпалось тысячей мелких морщинок, выдающих его истинный возраст: “Мы украли ее, Чарли”, — этот ответ вызвал новый взрыв смеха, к которому Чарли чуть было не присоединилась. “Теперь, я думаю, ты хотела бы знать, что ты делаешь тут, среди нас, и зачем мы затащили тебя сюда столь грубо и бесцеремонно. Дело в том, что мы хотим предложить тебе роль. Главную роль”.

\* \* \*

Он попал в точку, он сам это знал.

“Лучшую роль, которую тебе когда бы то ни было предлагали, самую трудную, самую опасную, самую почетную. Дело не в деньгах — денег ты получишь много, столько, сколько запросишь”.

Его большая рука отмела, как несущественные, все финансовые проблемы. "Эта роль потребует всех твоих талантов, актерских и человеческих. Твоего интеллекта, твоей смелости. Мы выбрали тебя, Чарли, одну из тысяч кандидатов из многих стран. Ты здесь среди поклонников, среди почитателей — ты нужна нам. Мы любим тебя и восхищаемся тобой".

Он умолк, и голос его оставил в комнате пустоту. Она знала этот эффект, голоса великих актеров оставляли после себя пустоту, которую хотелось снова заполнить. Она потрясенно подумала: какой оборот, сначала Ал получил роль, теперь я, — но все же не сдалась и отпарировала:

"Странный способ приглашать актрису, не правда ли? Стукнуть по голове и вытащить на сцену в наручниках!"

"Что ж, мы приглашаем тебя сыграть в необычной драме".

"Кто написал ее?"

"Мы разработали сюжет, Иосиф подготовит диалоги — с твоей помощью".

"А что будет публика? Эти сопляки?" — она кивнула в сторону слушателей, сидящих у двери.

Торжественность Курца не показалась ей странной или неуместной:

"Тысячи людей никогда ничего не узнают об этом спектакле, но они будут тебе обязаны жизнью. Невинных людей. Тех, судьба которых всегда беспокоила тебя, за которых ты боролась, в защиту которых выступала".

Она старалась избежать его взгляда: он говорил слишком высоким штилем, лучше б он обращался не к ней, а к кому-нибудь другому. Все еще надеясь противостоять ему, она спросила:

"А кто вы такие, чтобы отличать виновных от невинных?"

"Я бы поставил вопрос иначе: кого мы считаем виновными? Тех, кто погрел все человеческие нормы. Они заслужили смертный приговор".

Все еще сопротивляясь ему, она спросила: "И среди евреев бывают такие?"

"Естественно, — и среди евреев, и среди израильтян. Но мы, слава Богу, сегодня собрались здесь не для решения этой проблемы". Он говорил с настойчивостью, на которую внутренне имел право, она это чувствовала. "Не путай наш спектакль с театром, Чарли. Когда на сцене погаснут огни, вокруг будет настоящая темнота. И те актеры, которые будут убиты во время дей-

ствия, — а такие будут, — не вскочат на ноги, когда занавес упадет, и не выйдут к рампе кланяться публике. Там не будет выходных дней, не будет отпуска по болезни. Если это то, что ты любишь, чего ты ждешь от жизни, ты выслушаешь мое предложение. Если нет, мы можем прервать нашу беседу на этой точке”.

Тут Шимон Литвак вставил свою первую реплику:

“Чарли никогда не бежала с поля боя, Марти. Мы знаем это, и я, и ты”.

\* \* \*

Это уже была половина победы. Так потом рассказывал Курц Мише Гаврону — женщина, которая согласна слушать, это женщина, которая согласна.

Да, половина победы, по сути, но не по времени: по времени это было только начало пути. Когда Курц настаивал на применении нажима, он вовсе не имел в виду поспешность, он хотел подстегивать ее нетерпение так, чтобы оно само гнало ее вперед. С самого момента ее похищения он втерся к ней в доверие — этакий добрый папаша; а вслед за этим собрал в одну точку все раздробленные осколки ее не слишком успешной жизни. Он обратился к ней, как к актрисе, как к авантюристке, как к жрице справедливости. И при этом он вводил ее в новую семью, готовую раскрыть ей свои объятия: он знал, что, как все бунтовщики, она втайне жаждет пойти с кем-нибудь в ногу. А главное, бросая к ее ногам все эти соблазны, он делал ее богатой, что, по ее собственным словам, было началом всякого порабощения.

\* \* \*

“Мы предлагаем тебе, — говорил Курц уже не так напористо, — ответить на ряд вопросов, оставляя цель этого собеседования пока неясной для тебя. При этом мы просим тебя отвечать со всей возможной откровенностью, не уклоняясь от правды из желания нам угодить или из страха нас разочаровать. И не старайся решать за нас, что считать хорошим, а что плохим в твоей жизни: мы можем иногда видеть вещи по-разному. И главное: что будет, если один из нас — ты или мы — решит, что нам не по пути? Как ты думаешь, Чарли?”



“Тут важно, как ты думаешь, Марти”, — ответила она ему в пандан, сама улыгнувшись собственной дерзости.

“Спасибо, Чарли. Что ж, это зависит от момента, когда такое решение будет тобой или нами принято. В зависимости от того, как много ты будешь к этому времени знать, возможно два курса действий. Первый — ты твердо обещаешь нам держать язык за зубами, получаешь от нас деньги, и — прощай, Чарли. Конечно, мы некоторое время будем наблюдать за тобой, чтобы убедиться, что держишь слово. Второй вариант, — чуть поосторожнее: если ты будешь знать так много, что это помешает нам пригласить другую актрису на эту роль, нам придется поддержать тебя некоторое время в карантине, в обществе симпатичных ребят, вроде этих. Мы придумаем какой-нибудь убедительный предлог для твоего отсутствия, например мистическое паломничество к мусульманским святыням”.

Его толстые пальцы автоматически нащупали часы, аккуратно разложенные перед ним на столе, и сдвинули их на пару сантиметров. Чарли, тоже ощутив потребность в каком-то механическом действии, притянула к себе лист бумаги и начала чертить на нем завитушки и рожицы.

“После этого мы не оставим тебя в беде — мы снабдим тебя деньгами и поможем тебе восполнить пробел в твоей карьере. Я говорю это все, опасаясь, как бы ты не вообразила, что сказавши нам “нет”, ты однажды утром окажешься на дне реки с камнем на шее. Мы в такие игры не играем. Во всяком случае с друзьями”.

Чарли продолжала чертить, из-под пера у нее выползала символическая фигурка мальчика. Молчание прервал Иосиф, и хоть голос его звучал скорей раздраженно, она уловила в нем скрытую теплоту:

“Чарли, где ты? Встань, отзовись, не давай им решать твою судьбу за тебя!”

Она старательно начертила второго мальчика рядом с первым, хоть слышала все, что сказал Курц, и могла бы повторить его слова с той же точностью, с какой повторила лекцию Иосифа в Акрополе. Она инстинктивно чувствовала, что лучше не спешить с ответом, и потому, словно и не услышав призыв Иосифа, спросила почти безучастно:

“И как долго этот спектакль будет идти, Марти?”

“Ты хочешь знать, что будет с тобой, когда занавес упадет?”

Она была неподражаема: отшвырнув карандаш, она яростно хлопнула кулаком по столу: "Какого хрена вы решаете за меня, чего я хочу! Я хочу знать, что будет с моей ролью в осенней постановке "Как вам это понравится!"

Курц ничем не выдал своей радости по поводу практичности этого вопроса. Он сказал торжественно: "Чарли, наше предложение не повлияет на твое участие в осенней постановке. Никто не знает, сколько времени потребует наш проект, -- может, шесть недель, может, два года. Сейчас мы всего лишь хотим услышать, готова ты принять участие в предварительном собеседовании или хочешь взять свой билет и деньги и вернуться домой".

На ней был жакет из джинсовой ткани, одна из медных пуговиц которого висела на ниточке. Она заметила эту пуговицу еще на пароходе и собиралась пришить ее, но забыла, полная предвкушения встречи с Иосифом. Сейчас она нащупала эту готовую оторваться пуговицу и начала крутить ее вокруг оси, — она была в центре внимания и чувствовала на себе взгляды всех собравшихся в комнате. Она хорошо знала это чувство, это напряжение, идущее от публики на сцену, это знакомое поскрипывание и шорох зачарованного зрительного зала. Она радостно ощутила свою власть над ними, — ответ зависел от нее: да или нет?

"Жозе?" — спросила она не поворачивая головы.

"Да, Чарли".

Она все еще не посмотрела в его сторону, но она всей кожей чувствовала, что он ждет ее ответа еще напряженной и тревожной, чем все остальные. "Итак, это конец? Прощай, наше романтическое путешествие по Греции, по всем вторым по красоте местам?"

"Ничто не может отменить наше путешествие на север".

Пуговица наконец оторвалась, и она раскрутила ее на столе как волчок, — орел или решка? Пусть подождут ее ответа, пусть попотеют.

"Что ж, — сказала она Курцу, — давайте побеседуем. Мне нечего терять".

Она никогда не могла удержаться от хорошей заключительной реплики. Она добавила: "Ничего, кроме того, что я уже и так потеряла".

Занавес, подумала она, и аплодисменты. Жозе, посмотрим, что напишут о нашей игре завтра в газетах. Но аплодисментов не последовало, так что ей пришлось вновь взяться за карандаш.

Пока она пририсовывала девочку к двум мальчикам на листе, Курц, сам того не замечая, вновь автоматически передвинул часы на столе.

\* \* \*

Курц вел собеседование, не давая ни себе, ни Чарли и секунды передышки. Он дразнил ее и льстил ей, он убаюкивал ее и раздражал, его лицо, стремительно преображаясь, выражало то восторг, то недоумение, то отчаяние, то испуг — он один мог заменить целый зрительный зал, так что все ее внимание сосредоточилось на нем. Даже Иосифа она отложила до лучших времен.

Первые вопросы Курца касались общеизвестных деталей ее биографии. Их целью было вовсе не получение информации, а создание между ним и Чарли особой атмосферы сотрудничества, основанной на ученической да-сэр-нет-сэр реакции с ее стороны, которая помогла бы ему добиться своего впоследствии.

Выяснив попутно, почему ее старшую сестру называли Хейди, а ее саму Чармиан, Курц наконец перешел к ее детству, которое они проскочили без особых затруднений, — начальная школа, частная школа-интернат, имена собак, пони и подруг, — она отвечала охотно, явно желая завоевать его расположение. От школ и подруг они естественным образом перешли к самому трагическому событию ее юности — к банкротству ее отца, и она принялась вдумчиво рассказывать, как впервые узнала о постигшей их беде, о суде и приговоре. Голос ее, правда, порой вздрагивал, и, стараясь скрыть слезы, она опускала глаза на свои выразительные руки, но все же она нашла в себе силы заключить полшутливо:

“Все было бы куда проще, будь мы из рабочего класса. Но мы были буржуа, мы привыкли жить по эту сторону баррикад, на стороне победителей, и не могли примириться с тем, что оказались вдруг среди проигравших”.

Курц, сочувственно вздохнув, стал проверять фактические данные: даты и адрес суда, Чарли? сколько лет получил отец, Чарли? не помнишь ли ты фамилию адвоката отца? Она постаралась припомнить все, что могла, и Литвак добросовестно записал все ее ответы. Публика совершенно перестала смеяться, все, затаив дыхание, следили за диалогом на сцене. За всю свою театральную жизнь Чарли не сталкивалась со столь внимательной

аудиторией. Один раз Иосиф что-то скомандовал тихим голосом, и кто-то быстро выключил все лампы в доме, — несколько минут они сидели, затаясь, в крошечной тьме, словно в бомбоубежище во время бомбежки, пока Иосиф не дал сигнал отбоя. Была на то реальная причина или это была просто инсценировка, но Чарли в эти напряженные мгновения почувствовала себя их соучастницей, а не жертвой похищения.

Курц спросил с нежностью в голосе: “Что ты можешь сказать, подводя итоги этого периода своей жизни, до крушения, так сказать...”

“Поры невинности”, — подсказала Чарли.

“Отлично. Как ты охарактеризуешь для себя пору невинности, Чарли?”

“Это был настоящий ад!”

“Но почему?”

“Неужели не понятно, Марти? — ну как ему объяснить? Она безнадежно махнула рукой. — Я жила в богатом пригороде, разве недостаточно? Нет, вам, евреям, этого не понять: вы всегда знали себе цену, вы всегда знали, кто вы и зачем, даже в беде. А у нас, богатых английских деток из Ниоткуда, не осталось ничего, ни традиции, ни веры, ни самосознания. Если вера уходит, она оставляет после себя пустоту. Моя мамочка всегда всего боялась — смерти, жизни, соседей”.

“А ты чего-нибудь боялась?”

“Только одного — стать похожей на мою мамочку!”

“И потому ты, как только смогла, удрала из дому и нашла себе убежище в театре и в радикальной политике? Я читал одно из твоих интервью, там ты утверждаешь, что сцена — твоя политическая ссылка. Это верно?”

“Это уже после. А сначала у меня были другие способы вырваться”.

“Какие?”

“Ну, секс, например, — сказала Чарли вызывающе. — Мы ведь еще не коснулись вопроса о сексе как оружии революции. Или о наркотиках”.

“Мы вообще еще не касались революции”.

“Что ж, я могу коснуться, Марти...”

И тут случилось нечто странное, как доказательство того влияния, какое хорошая аудитория имеет на исполнителя, заставляя его открыть в себе все лучшее. Она хотела открыть им глаза и по-

ведать о том, как подавляющая терпимость буржуазных гостиных закладывает основы для грядущих мятежей. А вместо этого услышала собственный голос, перечисляющий Курцу — а может, вовсе не Курцу, а Иосифу? — всех своих предыдущих любовников, длинные ряды любовников и бесчисленные дурацкие причины, приводившие ее к необходимости ложиться с ними в постель. “Я сама не понимаю, Марти, зачем я это делала”, — она беспомощно развела руками и поспешно опустила их, так как подумала, что переигрывает. “Я их не хотела, они мне не нравились, но я им это позволяла”. Мужчины, мужчины, без числа, без счета, только бы вырваться из скуки богатого пригорода, позлить чопорную старшую сестру и глупую буржуазную мамочку. С одними она ложилась в постель из вежливости, с другими из любопытства, с третьими, чтобы снять напряжение, с четвертыми, чтобы выслушать их радикальное политическое кредо, с пятыми, чтобы убежать от одиночества, которое после этого становилось еще более полным. И каждый раз это был провал, неудача, но они освобождали ее. “Я распорядилась своим телом в собственных интересах. Даже если я неправильно понимала свои интересы, я решала за себя! Это был мой спектакль!”

Курц кивал, Литвак поспешно записывал, а она мысленным взором представляла, как Иосиф за ее спиной прерывает чтение и, опершись смуглой щекой на сильную длинную кисть, принимает в подарок ее неожиданную откровенность. Возьми меня, — взывала она к нему, — и дай мне то, что другие не смогли мне дать!

Она замолчала и ужаснулась в наступившей тишине — чего ради она разоткровенничалась? Никогда в жизни она не играла такую роль, даже наедине с собой. Это просто наваждение, результат бессонной ночи — так болтают с незнакомцами в поезде, зная, что больше никогда их не встретят. Что ж, она хорошо поработала, теперь они должны решать, дать ей роль или отпустить домой. Или и то, и другое.

Но Курц не сделал ни того, ни другого. Напротив, он объявил короткий перерыв и, захватив часы со стола, вышел из комнаты вместе с Литваком. Она ожидала услышать шаги уходящего Иосифа, но за ее спиной было тихо. Она, не решаясь обернуться, пила чай без молока с глазированным печеньем, которое поставила перед ней Роз. Рахель спросила:

“Ты хочешь в уборную?”

“Нет, спасибо. Я никогда не хожу в уборную во время спектакля”.

И, наконец, опершись о локоть, Чарли чуть-чуть повернула голову и мельком глянула назад. Иосиф исчез вместе со своими бумагами.

\* \* \*

Комната, в которую Курц увел Литвака, была тоже очень большая и пустая, там стояли две раскладных походных кровати и переносной телеграфный аппарат, которым оперировал юноша по имени Давид. Курц, сбросив рубашку, обливал себя холодной водой из-под крана над раковиной в углу.

“Подходящая дама, — сказал он, — такая, как нам нужна. Умная, изобретательная и недоиспользованная”.

Не отрываясь от своих бумаг, Литвак ответил: “Отменная врунья”.

“Ну и что? — отпарировал Курц, отфыркивая воду. — Сегодня она врет в своих интересах, завтра соврет в наших. Или нам нужна святая дева? Ложь — женское оружие. С помощью лжи она защищает свою добродетель”.

Телеграфный аппарат зачастил поспешно. Давид поднял руку, привлекая внимание Курца: “Телеграмма, вам лично, Марти”, и поднялся, уступая Курцу место. Курц подождал, пока на листке проступил полный текст, прочел его быстро, сорвал с диска и перечел снова: “Миша Гаврон требует, чтобы мы выдавали себя перед Чарли за американцев. Как это на него похоже: так же блестяще, как и своевременно. Обожаю стиль его руководства. Отбей ему ответ: да, повторяю, нет”. И швырнув листок телеграммы опешившему Давиду, он в сопровождении Литвака и Иосифа вышел из-за кулис на сцену.

## 7.

Для подведения итога своей беседы с Чарли Курц выбрал тон завершающе-благодарный, — ему хочется, сказал он, проверить кое-какие мелочи, прежде чем перейти к другим темам.

“Вернемся опять к твоим родителям”, — говорил он, пока

Литвак вытаскивал из портфеля какие-то бумаги, она не видела, какие.

Она закурила сигарету и смотрела, как Курц изучает какой-то документ, подсунутый Литваком. "Я бы хотел, чтобы ты вспомнила точную последовательность событий, связанных с трагедией отцовского краха. Ты была в это время в частной школе-интернате. Что случилось, когда там стало известно о суде над отцом?"

Она пожала плечами: "Меня вышвырнули из школы и отправили домой, где хозяйничал судебный исполнитель. Разве мы ужене говорили об этом?"

"Мы говорили, что тебя вызвала директриса. Что она сказала? Постарайся поточней, пожалуйста".

"Насколько я помню, она сказала, что велела завхозу упаковать мои вещи и попрощалась".

"Значит, ты помнишь ЭТО, — сказал Курц с ироническим спокойствием, еще раз просматривая какие-то документы. — А почему, собственно, с тобой поступили так сурово?"

"За меня не платили уже два семестра — разве этого недостаточно. У них ведь была не благотворительная школа", — сказала она устало. — "Может, кончим на этом, а? Я что-то вдруг захотела спать".

"Ничего, ты девушка крепкая. Значит, ты отправилась домой. По железной дороге?"

"Да, одна в поезде, с маленьким чемоданчиком", — она глянула через плечо, но Иосиф сидел, склонясь над своими бумагами.

"И что же ты застала дома? Точнее, пожалуйста".

"Мебель в фургоне, чужих людей в доме, мать в слезах".

"А где же была любимица отца Хейди? Неужто не примчалась по сигналу тревоги? Бросила мать в беде?"

"Наверно, была беременна, как обычно".

"Чарли, она не была беременна. Ее первая беременность случилась только через год. Почему же ее не было там, в разоренном доме?"

"Марти, это было десять лет назад, — откуда мне знать?"

"Может, она не могла перенести позора? Я имею в виду позор отцовского банкротства, ведь так?" Он опять стал перелистывать бумаги, следя за какими-то подробностями, на которые указывал длинный белый палец Литвака. "Итак, Хейди по неизвестным нам причинам сбросила в трудную минуту всю ответственность на

хрупкие плечи младшей сестры Чарли, которой было тогда всего шестнадцать лет. Как эта Чарли сама определила в одном из своих недавних заявлений прессе, ей пришлось познать на собственном печальном опыте сокрушительную уязвимость личности в капиталистическом обществе. Ей пришлось увидеть, как на ее глазах ее лишили всех привычных игрушек потребительского общества и оставили ни с чем. И ей пришлось стать единственной опорой и утешением потрясенных и обесчещенных родителей, единственным их утешением. Тяжелая доля, не так ли?"

Он замолк, ожидая ответа, но она молчала. Его черты заострились и приобрели жесткость, но она смотрела на него, не мигая: это был особый взгляд, с детства отрететированный перед зеркалом, он позволял скрыть поспешную суету мыслей, ищущих выход. И она победила: Курц первый прервал молчание, не дождавшись ее ответа.

"Чарли, мы понимаем, что тебе больно вспоминать, но нам нужно, чтобы ты вспомнила подробности. Итак, в фургон сгрузили всю мебель. Что еще?"

"Моего пони".

"В тот же фургон, что и мебель?"

"Может, был еще один, я не помню".

"То есть было два фургона — один для мебели, один для пони?"

"Что за дурацкие вопросы? Мы ведь уже говорили об этом!"

"А что делал все это время твой отец? Смотрел из окна, как увозят его имущество? Как он принял позор?"

"Он был в саду, ходил среди роз и повторял: "Если они заберут и розы, я покончу с собой".

"Ну, а мать что делала?"

"Мать была на кухне, она варила обед, чтобы чем-нибудь себя занять".

"На газовой плите?"

"Нет, на электрической".

"Прости, может я неправильно понял, но ты раньше сказала, что вам отключили электричество".

"Ну, наверно, обратно включили, я уже не помню".

"А почему они не конфисковали дом, а вас не вышвырнули на улицу?"

"Дом был записан на имя матери. Давно, Она настояла на этом".



“Мудрая женщина. А как твоя директриса узнала о банкротстве отца?”

На минуту она ослабела и потеряла нить, но потом вновь ожесточилась, и все они тут же предстали перед ней: мать, в малиновой косынке, склонившаяся над плитой, отец, изжелта бледный в домашнем голубом пиджаке среди розовых кустов, директриса, греющаяся твидовый зад над погасшим камином.

“В “Лондонской газете”, — ответила она без запинки. — Там, где всегда пишут о банкротствах”.

“А что, директриса подписывалась на эту газету?”

“По всей вероятности”.

Курц медленно кивнул и написал на листке блокнота крупно: “По всей вероятности”. Потом спросил: “Ты могла бы рассказать поточнее про суд?”

“Я ведь уже сказала: отец запретил нам появляться на суде. Когда ему предъявили доказательства обвинения, он понял, что ему не снести позора”.

“Какой срок он получил?”

“Восемнадцать месяцев. Разве мы не говорили об этом раньше?”

“Ты навещала его в тюрьме?”

“Он не разрешал. Не хотел, чтобы мы видели его в тюремной одежде”.

“Тебе и впрямь было это тяжело?”

“А вам бы нравилось больше, если бы мне было все равно?”

“Что ты, Чарли, конечно, нет. И ты покинула школу и поселилась дома, пока отец не вернулся из тюрьмы? Правильно?”

“Правильно”.

“И ни разу не попыталась повидать отца в тюрьме? Хоть издали?”

“Господи, -- прошептала она, — ну что за пытка!”

“Значит, ни разу? Даже вдали не прошла?”

“Не-е-е-т!”

Она сдержала слезы с усилием. Почему он продолжает так упорно беречь ее старые раны? Наступила тишина, по напряженности похожая на паузу между воплями. Ее нарушал только шорох пера Литвака, поспешно бегающего по странице.

“Услышал что-нибудь полезное, Майк?” — спросил его Курц, не поворачивая головы.

“Замечательно, — не останавливаясь, ответил Литвак, — полно материала, который мы можем использовать. Я думаю, может,

у нее есть какая-нибудь эффектная история из тюремных воспоминаний отца? Или еще лучше — из последних месяцев его жизни?”

“Чарли?” — спросил Курц, словно передавая ей просьбу Литвака.

Она притворилась, что ищет в памяти: “Может, эту историю про двери?” — сказала она неуверенно.

“Ну, расскажи про двери”, — поддержал ее Курц.

Она начала с небольшой пантомимы, — нежно защемила двумя пальцами переносицу, изображая легкую мигрень. Она рассказывала историю про двери часто, но никогда так хорошо, как сейчас. “Он пришел из тюрьмы на месяц раньше, без предупреждения, он выглядел тоньше, моложе, коротко остриженный. Я встретила его первая. Он был такой же, как раньше, кроме этого страха перед дверями. Он не мог открыть дверь. Он подходил к двери и стоял, опустив голову, ожидая, пока тюремщик ему откроет. Когда это случилось в первый раз, я не могла в это поверить, я заорала на него: “Открой эту проклятую дверь!” Но он не мог, просто не мог”.

Литвак строчил, как сумасшедший, но Курц был не в таком восторге. Он опять полистал бумаги на столе: “Чарли, тут в одном интервью... “Ипсвичской газете”... ты рассказываешь трогательную историю, как ты и твоя мать взбирались часто на холм под окнами тюрьмы, чтобы отец мог увидеть вас из окна. А ведь ты только что сказала, что никогда не подходила к тюрьме, даже издали”.

Чарли умудрилась рассмеяться, почти натурально: “Так ведь это же интервью, Марти! В интервью требуется слегка приукрасить прошлое, чтобы сделать его более интересным!”

“Твой агент нед Квили недавно рассказывал одному нашему другу, что твой отец умер в тюрьме. Это тоже приукрашивание?”

“Это ведь не я рассказывала, а Квили”.

“Что ж, ты права”, — и он закрыл папку с бумагами, явно убежденный. Она могла удержаться: обернувшись назад, она спросила Иосифа:

“Ну, как у меня получается, Жозе? Не хуже, чем “Жанна д’Арк”?”

“У тебя текст сейчас гораздо лучше, Чарли”.

Да ведь он утешает меня, ужаснулась она. Почему он так суров с ней — ведь это он завлек ее сюда?

Южноафриканская Роз внесла блюдо с бутербродами, за ней следовала Рахель с печеньем и термосом кофе.

“Тут кто-нибудь спит по ночам?” — пожаловалась Чарли, откусывая бутерброд. Но на ее вопрос никто не ответил.

\* \* \*

Приятная часть собеседования была завершена, теперь предстояло самое трудное — перенос политических взглядов Чарли из подувала, где они слабо тлели, в раскаленную топку. Снова, как и раньше, все обстоятельства ее биографии были четко хронометрированы. Дату, место и имена, — пожалуйста, Чарли, — назови пять своих основных политических принципов, назови десять самых важных встреч, определивших твои взгляды. Но Чарли уже не была склонна к сотрудничеству. Они ей надоели, она устала подчиняться их настойчивым требованиям, устала следовать за ними, неизвестно куда, неизвестно зачем. Она готовилась к мятежу.

“Чарли, голубушка, это только для нашего архива, — уговаривал ее Курц, — чтобы мы могли направлять тебя без оплошностей”. И он продолжал извлекать из нее отчет обо всех маршах, демонстрациях и сидячих забастовках, требуя каждый раз от нее подробного обоснования ее действий.

Она вопила раздраженно: “Чего ты добиваешься? Да, мы нелогичны и непоследовательны, мы плохо информированы и неорганизованы, так что?”

Она ненавидела сама себя, когда впадала в такие истерики, ненавидела ярость, которая просыпалась в ней, когда ее загоняли в угол, ненавидела собственный голос, визгливо выкрикивающий дурацкие лозунги, но, ненавидя, наслаждалась горячими вспышками гнева, сотрясавшими ее тело, звоном разбитого стекла и блаженным чувством свободы.

“Почему мы обязаны во что-то верить, прежде чем отвергать?” — у кого подхватила она эту фразу, у Длинного Ала или у кого-то другого? “Может, отрицание и есть истинная наша вера? Вы думаете, что можете быть свободны, если кто-то другой в цепях? Вы можете быть сыты, если кто-то голодает? Нет, надо изменить всю систему!”

Когда-то она сама верила в эти идеи, она боролась за их осуществление, боролась против расовой дискриминации и капиталистической сытости. Но здесь, в этих стенах, под этими прони-

цательными взглядами, ей почему-то не хватало воздуха, чтобы расправить крылья. Она попробовала зайти с другой стороны: “Марти, может в том и состоит разница между вашим поколением и моим, что мы не готовы жертвовать жизнью во имя интернациональной банды, правящей миром. Мы их не избирали, мы с ними не знакомы, — почему они должны решать нашу судьбу? Мы против атомного оружия, против химической войны, против империализма и колониализма, против подкупа рабочего класса...”, — она запнулась, вдруг позабыв все остальные клише, которые на миг выскочили из ее головы. “Мое отрицание всего этого и есть положительная программа. Не хотите же вы, чтобы я всю ночь напролет цитировала вам Че Гевару?”

“Секундочку! — восхищенно воскликнул Литвак, и перо его еще лихорадочней забегало по бумаге. — Это потрясающе, дай мне записать это!”

“Чего вы не можете купить магнитофон? — возмутилась она. — Или украсть, если это ваш стиль?”

“Потому что у нас нет лишней ночи на расшифровку магнитофонной ленты”, — серьезно объяснил ей Курц. И спросил с интересом: “А ты и впрямь могла бы всю ночь цитировать Че Гевару?”

“Черт побери, конечно нет, за кого вы меня принимаете?”

И откуда-то издали безликий голос Иосифа внес поправку:

“Конечно, могла бы, если бы понадобилось выучить его наизусть. У нее потрясающая память”.

Чего он вмешался? Испугался, что они ее отвергнут? Хотел поправить ее дела? Пока она пыталась оценить это, Курц и Литвак совещались о чем-то на иврите.

“Может, вы будете говорить по-английски?” — потребовала она. Курц ответил: “Прости, пожалуйста”, — и продолжал говорить на иврите. Потом он опять перешел на английский, чтобы вновь и вновь протаскивать ее по труднопроходимым лабиринтам ее нестойких убеждений. Порой она видела себя со стороны: вот она повторяет чьи-то чужие слова, вдруг потерявшие для нее всякий смысл, вот она взмахивает рукой, зная, что ее жест не соответствует ее словам, а ее голос не принадлежит ей. Из полузабытых бесед со случайными любовниками она выхватывала то фразу из Маркузе, то строчку из Руссо.

Наконец, она заметила, что Курц положил ручку и прикрыл глаза, — похоже, она справилась с этой ролью не так уж плохо,

мелькнула у нее надежда, если учесть тупость ее текста и пронизательность слушателей. Похоже было, что Курц тоже так считает. Она почувствовала себя более уверенно.

“Что ж, поздравляю тебя, Чарли, ты отлично сформулировала свои убеждения. Не возражаешь, если я просуммирую?”

“И еще как возражаю... Потому что мы — это альтернатива, а не партия, не манифест. Мы не поддаемся вашему проклятому суммированию”. Ей самой стало противно злоупотребление эпитетом “проклятый”, в их присутствии он звучал совершенно по-дурацки.

Но Курц и не подумал принять во внимание ее возражения.

“С одной стороны, Чарли, перед нами классический случай анархизма, основанного на убеждении, что любое правительство есть зло и любое государство есть зло, так как они противостоят свободе личности. К этой классике вы добавляете кое-какие современные детали: отвращение к собственности, к скуке буржуазной жизни, к тому, что принято называть кондиционированным убожеством Запада на фоне страданий трех четвертей человечества. Ты согласна?”

Чарли предпочла промолчать, рассматривая свои ногти и думая: какой смысл сегодня во всех этих теориях?

“Что ж, — продолжал Курц, — на сегодня такая точка зрения имеет больше оснований, чем когда бы то ни было, ибо государства стали сильнее, чем раньше, так же как и монополии, а с ними и принуждение. Вы против безумного развития техники, вы хотите, чтобы в основе мировой политики лежали благородные, человеческие побуждения. Но чтобы добиться этого, надо разрушить существующий порядок вещей. Как же это сделать?”

Он на миг остановился, паузы в его речи пугающе учащались.

“Тут-то мы и наблюдаем переход от анархизма критического к анархизму практическому. Что ты скажешь на это, Майк?”

Литвак произнес на одном дыхании: “Существующий порядок исчерпывается одним словом — собственность, ибо через собственность эксплуататор поработывает рабочего и держит его на крючке”.

“Отлично! — согласился Курц. — Значит, собственность есть зло и всякий, кто охраняет собственность, есть зло, а следовательно всякий, кто отрицает зло, должен быть врагом демократии, он должен уничтожить собственность и убить богачей. Ты принимаешь это, Чарли?”

“Но это же полный идиотизм!”

Курц был разочарован: “Как, ты не хочешь покончить с существующим строем? Почему вдруг такая перемена? Может, ты знаешь, Майк?”

Литвак не заставил просить себя дважды: “Чарли всегда говорила: государство — это тирания, это насилие, это террор, это диктатура”.

“Но это не значит, что я завтра с ружьем в руках пойду убивать и грабить!” — завопила Чарли.

“Но ведь ты всюду заявляла, что законы придуманы, чтобы закрепощать, а суды — чтобы торжествовала несправедливость. Так почему бы не взорвать это все к чертям? И не застрелить всех полицейских и других защитников этого безобразия?”

“Но я не хочу никого взрывать и ни в кого стрелять! Я хочу мира и свободы для всех!” — настаивала она, пытаясь спрятаться за зияющей пустотой этих слов.

Но Курц вроде и не слышал: “Ты разочаровала меня, Чарли. Только что ты сформулировала основные принципы, в которых показала себя достаточно проницательной, чтобы распознать признаки болезни, невидимые простым глазом, а теперь тебе не хватает смелости совершить поступок — убийство, кражу, взрыв чего-нибудь, — например, полицейского участка, — ради освобождения закрепощенного и оболваненного большинства? Давай, Чарли, покажи нам свои дела — мы сыты по горло твоей декламацией”.

Глаза Курца сузились до щелок, скрытых в складках его задубелой кожи, слова его хлестали ее, но и она была не последняя из бойцов: ее слова тоже могли хлестать и жечь:

“Что ж, Марти, может я недостаточно последовательна! Чему меня могли научить — я ведь кончила дорогую частную школу для безграмотных! Если бы меня воспитала семья — но увы! мой отец не утруждал себя тяжким трудом, он предпочел воровать скудные сбережения пенсионеров! А главное, — мне осточертело выслушивать ваши дурацкие поучения, я хочу спать!”

“То есть ты готова отречься от своих позиций?”

“Какие к черту позиции!”

“Ты настаиваешь, что не принадлежишь к воинствующим анархистам?”

Курц расстегнул нагрудный карман своей военной куртки и извлек оттуда тщательно сложенную газетную вырезку, кото-

рая, судя по всему, имела для него особое значение, иначе он не держал бы ее отдельно от других документов.

“Чарли, ты упомянула вскользь, что вы с Алом как-то приняли участие в одном семинаре в Дорсете, — при этом он аккуратно расправлял листок, — это был, по твоим словам, воскресный курс для радикально мыслящих. Может, мы вместе более подробно выясним, чем вы там занимались?”

Он старательно прочел газетный текст, словно хотел освежить его в памяти. “Ну и ну, — сказал он, покачивая головой, — прицельная стрельба по подвижным мишеням, практическое изучение техники саботажа, не с настоящей взрывчаткой, а с имитацией, лекции по идеологии партизанской борьбы”. Он глянул на нее поверх газетной странички: “Это верно или это обычное сионистско-империалистическое преувеличение?”

\* \* \*

Она уже больше не верила в его добрую волю, да он и не пытался скрыть, что ведет к тому, чтобы она ужаснулась экстремизму своей позиции и, ужаснувшись, пошла на попятный. Кое-какие вопросы были направлены на выяснение правды, кое-какие — на выяснение лжи.

“Ты хочешь нарисовать нам более правдивую картину этого семинара?”

“Это были друзья Ала, а не мои”, — пробормотала она, делая первый шаг к отступлению.

“Но и ты была там вместе с ним”.

“Просто это был способ недорого провести воскресенье за городом, когда мы были на мели. Кроме нас там было еще человек двадцать из актерской школы, они сняли автобус и взяли с собой гитару и гашиш, — что в этом плохого?”

Она уже не владела собой, ее несло по течению — то ли она устала сопротивляться, то ли подсознательно хотела, чтобы ее несло?

“Как часто ты позволяла себе такие удовольствия, Чарли? Революционные собрания, гашиш, групповой секс в сочетании с кратким курсом террора?”

“Совсем не часто”.

“Сколько раз?”

“Пару раз, не больше. Потом мне стало противно”.

Она катилась по наклонной плоскости со все возрастающей

скоростью, воздух свистел в ушах. Иосиф, выручи меня, молила она, забывая, что это Иосиф привел ее сюда. Курц посмотрел ей прямо в глаза, напрасно пыталась она испепелить его ответным взглядом. “Значит, пару раз, не больше”, – повторил он за ней и взял из рук Литвака услужливо протянутую ему папку. “А с чего вдруг стало противно?” – спросил он, перелистывая бумаги в папке.

“То, что они делали, было отвратительно”, – сказала она шепотом для вящего эффекта. “Я имею в виду не политику, а секс. Даже для меня”.

Курц поспешил палец и перевернул страницу, опять поспешил, опять перевернул и тихо сказал что-то Литваку, который быстро ответил, явственно не по-английски. “Значит, пару раз, а потом тебе стало противно. Стоит проанализировать это заявление, как ты думаешь?”

“С какой стати?”

“Ну, например, что значит – пару раз? Два – или как?”

То ли лампа над ней закачалась, то ли у нее закружилась голова? Она демонстративно обернулась – Иосиф сидел, склоняясь над своими бумагами, не поднимая глаз. Она глянула на Курца – тот все еще ждал.

“Ну, два или три, – сказала она. – Какого черта?”

“А может, четыре? Это еще пара или уже нет? Все зависит от того, как условиться – пять, например, это еще пара или уже почти полдюжины. Может, лучше сказать полдюжины, а, Чарли?”

“Когда я сказала пару, я имела в виду пару”.

“То есть, два?”

“Ага, значит два. Я посетила этот семинар два раза. Пока другие развлекались стрельбой и взрывчаткой, я ограничила себя групповым сексом и приятной беседой. Подпись – Чарли”.

“Можешь назвать даты этих двух раз?”

Она назвала одну дату, примерно год назад.

“А вторая?”

“Я не помню точно. А какая разница?”

“Она не помнит точно”, – он сказал это совсем тихо, но голос его имел над ней все ту же власть. “Это было сразу после первого семинара или с большим перерывом?”

“Не помню”.

“Первый семинар был для новообращенных. Чему вас там учили?”



“Я же сказала — групповому сексу”.

“Ну, а лекции какие-нибудь вам читали?”

“Основной курс радикализма”.

“Кто его читал?”

“Какая-то прыщавая лесбиянка из Женского Освободительного Движения и шотландец, от которого Ал был в восторге”.

“Ну, а на втором семинаре, на том, последнем, — какая была тема? Кто читал лекции?”

“Я забыла”.

“Подумать только, первый ты запомнила во всех деталях, а второй начисто забыла! Что за чудеса!”

“Еще бы, целую ночь не спать и отвечать на дурацкие вопросы, тут имя свое забыть можно!”

“Куда ты идешь, Чарли? — спросил Курц. — В уборную? Равель, Роз, отведите ее в уборную!”

Она остановилась, прислушиваясь к шороху шагов за спиной: “Я решила воспользоваться правом выбора — я ухожу!”

“Ты воспользуешься всеми своими правами, когда мы предложим тебе такую возможность, и не раньше. А пока ты стараешься вспомнить, какую тему вам предложили на втором семинаре”.

Чувствуя себя почему-то совсем маленькой, она обернулась к Иосифу, чтобы увидеть его голову, склоненную над бумагами. Но куда бы она ни смотрела, голос Курца наполнял ее и не было вокруг ни души, к которой она могла бы обратиться за помощью и советом. Она поспешно спрятала руки за спину, чтобы они ее не выдали, — руки часто рассказывают больше, чем глаза. Ее руки за спиной утешали одна другую, как испуганные дети, а Курц тем временем спрашивал ее, подписала ли она резолюцию по окончании семинара.

“Я не знаю”.

“Но, Чарли, в конце каждого семинара все участники подписывают резолюцию. Ты ведь не хочешь убедить меня, что резолюцию ты не читала, подписывая, или что ты ее не подписывала. Может, ты демонстративно отказалась ее подписать?”

“Нет”.

“Ну хоть немного здравого смысла, Чарли. Как ты, со своей исключительной памятью могла забыть резолюцию, которую обсуждали и переделывали в течение всех трех дней семинара?”

Ей было наплевать. Ей было настолько наплевать, что она не

могла заставить себя сказать ему, как ей наплевать. Она устала до смерти, она хотела писать, она хотела спать, она хотела лечь, она хотела сесть, но как-то само собой получилось, что она была вынуждена гордо стоять перед ним, — этого требовали все каноны актерского искусства.

Где-то там Курц вытащил из своего портфеля новый листок, который его озадачил настолько, что он спросил Литвака:

“Она ведь сказала — два раза, правда?”

“Максимум два, хоть ты предлагал ей любое число на выбор”.

“А сколько раз насчитали мы?”

“Пять”.

“Так как же у нее получилось два?”

“Она преуменьшила, — пояснил Литвак разочарованно, — на двести пятьдесят процентов”.

“То есть она лжет?” — Курц никак не мог поверить.

“Конечно, лжет”, — ответил Литвак.

“Я не врала! Я просто забыла — ведь это были игры Ала, не мои!”

Из того же бездонного нагрудного кармана Курц извлек носовой платок и начал вытирать пот со лба. “Ты хочешь сесть?” — спросил он.

“Нет!”

Ее отказ огорчил его еще больше: “Чарли, я не понимаю тебя. Моя уверенность в тебе начинает колебаться”.

“К чертовой матери вашу уверенность! Поищите себе другую дуру! Чего ради я должна всю ночь играть в вопросы и ответы с израильскими бандитами? Вам что, мало бросать бомбы в арабских детей? Катитесь все знаете куда? Видеть вас не хочу!”

Выкрикивая это все, Чарли с удивлением подметила, что они не столько вслушиваются в смысл ее слов, сколько оценивают ее актерское мастерство. Если бы кто-нибудь сейчас остановил ее и сказал: “А ну-ка, повтори эту строчку, может, чуть-чуть медленней”, — она бы не удивилась. А Курц тем временем собирался сообщить нечто, и никакие силы на земле и на небе не могли бы его остановить.

“Чарли, я не понимаю, зачем ты хочешь от нас скрыть свои действия. Пятнадцатого июля прошлого года ты посетила первый семинар по революции и колониализму, действительно с группой актеров, включающей Алистера. Второй семинар состоялся через месяц, ты была там вместе с Алистером, — там перед вами вы-

ступал известный вождь беженцев из Боливии и некто без имени, назвавшийся представителем боевого крыла Ирландской Революционной Армии. Ты щедро одарила обе эти организации, подписав два чека по пять фунтов стерлингов каждый. Хочешь посмотреть на фотокопии этих чеков?"

"Это я за Ала, у него тогда не было ни гроша!"

"Еще через месяц вы оба приняли участие в следующем семинаре, посвященном американскому мыслителю Торо, результатом которого была резолюция, упрекающая Торо в идеализме и недостаточной воинственности. Ты не только подписала эту резолюцию, но была инициатором поправки к ней, требующей от товарищей по борьбе более радикальных действий".

"Я сделала это только для того, чтобы доставить удовольствие Алу! Я забыла обо всем этом назавтра".

"В октябре вы с Алом были там в четвертый раз, обсуждая проблемы фашизации буржуазной культуры Запада. Там ты сама была лектором, развлекая участников легендами о своем преступном отце, о своей ограниченной буржуазными условностями матери и об отрицательном влиянии собственности на свободу личности".

Тут она перестала возражать и замолчала окончательно, прикусывая зубами внутреннюю сторону щеки в наказание себе. А голос Марти все хлестал ее:

"Последний, пятый, семинар имел место в феврале этого года — тема этого семинара была старательно вытеснена тобой из собственного сознания, она прорвалась только один раз несколько минут назад, когда ты проклинала Израиль. Обсуждалась губительная для человечества роль мирового сионизма и американского империализма. Главным героем дня был джентльмен, назвавший себя представителем палестинской революции, лицо которого было скрыто от слушателей шерстяной лыжной шапкой-маской с прорезями для глаз. Он рассказывал о себе — о великом борце, убийце евреев. Он заявил с гордостью: "Мой пистолет — это мой паспорт, моя родина — революция!" Кое-кто испугался его агрессивности, но ведь не ты, правда?"

Он немного подождал ее ответа, но напрасно.

"Почему ты не рассказываешь нам правду, Чарли? Зачем эта ложь? Ведь мы сказали тебе, что нам надо знать твое прошлое? Что нам нравится твое прошлое".

Он снова машинально передвинул часы, глядя на нее в упор. Она молчала, не поднимая головы.

“Мы знаем, что твой отец никогда не был в тюрьме. Никто никогда не описывал вашу мебель и не увозил в фургоне твоего пони. Твой отец пережил небольшое, вполне почтенное банкротство, от которого слегка пострадали только два местных банка, и ушел в отставку задолго до смерти. Твой отец был абсолютно непричастен к твоему исключению из школы, причиной исключения было твое слишком легкомысленное поведение с окрестными мальчиками, слухи о котором поползли по школьному городку. По прошествии нескольких лет ты сплела увлекательную историю крушения своей семьи и рассказывала ее так долго и цветисто, что сама в нее поверила. Мы — твои друзья, Чарли. Неужели ты думаешь, что мы будем обвинять тебя во лжи? Что мы не понимаем, как вся окружающая жизнь заставляет тебя примыкать к крайним радикалам и экстремистам? Мы не буржуазные конформисты, не скучные обыватели, — мы понимаем тебя, мы верим в тебя, мы хотим, чтобы ты сделала нечто важное для людей. Зачем же ты сидишь тут и врешь всю ночь напролет, вместо того, чтобы рассказать нам всю правду?”

Волна гнева поднялась в ней, захлестнула ее с головой и вынесла ее на сцену, откуда она сама краем глаза наблюдала за собой, проверяя свои действия по самым суровым канонам актерского мастерства. Гнев этот пригасил пронзительную боль ее позора, он прояснил ее мозг и дал ей силу ясновидения. Шагнув вперед, она занесла было кулак, чтобы ударить Курца, но не смогла: он был слишком старый и слишком значительный, а кроме того за ее спиной сидел другой, с которым она еще не рассчиталась.

Потому что не Курц, а Иосиф завлек ее сюда, на позор, и его молчание сделало ее унижение особенно невыносимым. Она обернулась и в два прыжка оказалась рядом с ним, надеясь, что кто-нибудь ее остановит, но никто не шевельнулся. Она пнула ногой его складной столик, столик упал, увлекая за собой настольную лампу. Она замахнулась, ожидая, что он перехватит ее руку, но он и не подумал это сделать, и она обрушила кулак на его лицо со всей силой, на какую была способна. При этом она выкрикивала все грязные эпитеты, которым научилась от Ала, страстно желая, чтобы он дал ей сдачи или хотя бы заслонился. Она ударила его опять другой рукой, но он сидел, не шеве-

лясь, и его знакомые карие глаза неотрывно следили за ней, не мигая, словно береговые огни в штормовую ночь. Она ударила его опять, так что косточки пальцев заломило, и увидев, как по его подбородку потекли струйки крови, завопила сама себя не помня: “Фашистский подонок!”. Она повторяла эту дурацкую фразу без конца, чувствуя, как с каждым разом из нее выходит смелость и воля. Она страстно желала бы натворить сейчас что-нибудь такое, чтобы всем им стало ее жалко, — пусть бы они считали ее хоть сумасшедшей, хоть припадочной, но только не глупой актриской, оболгавшей собственных родителей, чтобы выслужиться перед проповедниками сомнительных идей, защитить которые у нее не хватило ни ума, ни смелости. Она услышала, как Курц приказал всем сохранять спокойствие, и увидела, как Иосиф вытащил носовой платок и утер разбитую губу, даже не глянув на нее, как на нашалившего ребенка. Тут она снова завизжала: “Подонок!” — и ударила его по голове так сильно, что рука у нее онемела, — единственное, чего она сейчас хотела, это чтобы Иосиф наконец ударил ее в ответ.

“Давай, не стесняйся, Чарли, — ласково сказал Курц, — ведь ты знаешь, что насилие — это очищающая и освобождающая сила. Оно подавляет комплекс неполноценности и восстанавливает самоуважение”.

Теперь у нее оставался только один пристойный выход: уронив беспомощно лицо в ладони, она безутешно зарыдала. Она рыдала долго, пока, наконец, Курц не дал знак Рахели подойти к ней и обнять ее за плечи. После слабого сопротивления Чарли с этим смирилась и пошла к дверям, подчиняясь руке Рахели. “Я даю ей не больше трех минут, — крикнул им вслед Курц. — Никаких попыток сменить одежду или наложить свежий грим. Она должна вернуться в том же виде, в каком ушла. Чарли, остановись на минутку! Подожди. Я сказал, — Чарли, остановись!”

Чарли остановилась, но не обернулась. Она стояла неподвижно, мучительно пытаясь представить себе разбитое лицо Иосифа за ее спиной.

“Ты отлично справилась с задачей, — сказал Курц, — поздравляю. Ты солгала, а когда это вышло наружу, ты обвинила в своих бедах весь мир. Мы тобой довольны. Доверься нам и мы придумаем тебе историю куда лучше. А пока поторопись — времени совсем не осталось”.

За окном занимался рассвет, а она все еще сидела с ними, об-суждая лучшую в ее жизни роль, которую ей поручали. Кое-что они ей рассказали, бегло осветив основные пункты предстоящего спектакля, выхватив из тьмы главные его моменты и познако-мив с будущим идеальным возлюбленным, которого она никогда не встречала.

На все это ей было наплевать. Главное — они ее не отвергли, несмотря на то, что она наговорила и наделала. Она была им нужна, и они предлагали ей надежное, благородное дело после всех ее смятенных поисков, не ведущих никуда. Она чувствовала, что в содружестве с ними она, наконец, избавится от зияющей пустоты, которая томила ее с тех пор, как она себя помнила. Слава Богу, думала она, я нашла свой дом, свое место под солнцем.

“Ты должна играть себя, такую, как ты есть, со всеми твоими причудами, со всей твоей ложью”. А кого же мне играть, если не себя? — думала она.

Иосиф сидел во главе стола, а Курц и Литвак — по обе его стороны, как две луны на солнечной орбите. Лицо Иосифа рас-пухло в тех местах, где она его ударила, вдоль левой скулы тя-нулась цепочка мелких синяков.

“Мое решение уже принято?” — спросила она его.

Он отрицательно покачал головой, в пробивающихся сквозь ставни солнечных лучах стали заметны тонкие линии в углах его глаз.

“Ты тоже считаешь, что я должна это сделать?” — спросила она.

Его ответ прозвучал преднамеренно сухо: “Зачем бы я был здесь, если бы думал иначе? Для любого из нас такая роль была бы служением, но ведь и для тебя это то же самое”.

“А ты где будешь?”

“Я буду рядом с тобой. Это — мое задание”.

Значит — не более, чем задание, даже Чарли не могла бы истол-ковать его слова иначе.

“Иосиф всегда будет возле тебя, Чарли”, — мягко разъяснил Курц.

И она согласилась, она должна была согласиться. Она услышала легкий вздох облегчения, но не более того, а ей казалось, что ее согласие должно бы вызвать у них бурю восторга. Она даже пред-

ставила себе, как Литвак должен был разрыдаться, опустив голову на длинные белые пальцы.

Марти должен был бы поцеловать ее в щечку, а Иосиф — бурно прижать к груди. Но в реальной жизни, в отличие от сцены, похоже, никто так не поступал. Все были заняты своим делом: Курц и Литвак собирали бумаги в портфель, Иосиф о чем-то беседовал с Дмитрием и Роз, Рауль наводил порядок в замусоренной за ночь комнате. Одна только Рахель, казалось, не забыла о Чарли: легонько тронув ее за плечо, она повела ее к лестнице, обещая хороший сон до полудня. Прежде чем дверь закрылась за ними, она услышала голос Иосифа: он тихо позвал ее. Она обернулась, глаза их встретились.

“До скорой встречи, Чарли”, — сказал он.

“До скорой встречи”, — эхом откликнулась она со слабой улыбкой, знаменующей падение занавеса. Но это был еще не конец: когда она вышла в коридор, она услышала знакомый с детства стрекот телеграфного аппарата, сообщавшего отцу цены биржевых акций. Но Рахель поспешно увела ее оттуда, прежде чем она успела разобраться, что к чему.

\* \* \*

Курц, Литвак и Бекер вернулись в телеграфную комнату, куда их вызвал Давид: на ползущем из аппарата листке возникал новый текст срочной шифрованной депеши. Поджидая завершения сообщения, Курц сказал, склонившись над аппаратом: “Ты никогда не работал лучше, Гиди. Ты проявил все те качества, которые девушка в смятении хочет найти в своем спасителе. Многие в Иерусалиме, в частности Гаврон, спрашивали меня, почему именно ты. Я им объяснил, что нет никого лучше тебя для этого дела”.

Тут аппарат выплюнул последнюю порцию слов и умолк, предоставив Курцу готовый текст на прочтение. “Что там?” — крикнул обычно терпеливый Литвак, не в силах вынести напряжения.

“Это новый приказ, еще более суровый и предусмотрительный, чем первый, полученный нами вначале. Наш уважаемый шеф приказывает нам немедленно прервать все контакты с доктором Алексисом: психологи Гаврона считают его клиническим сумасшедшим”.

Литвак попытался протестовать, но Курц остановил его с

мягкой улыбкой: "Наш дорогой начальник — просто неплохой политикан, вот и все. Если Алексис накличет беду на нежные отношения между нашими дружественными странами, теперь вся ответственность ляжет на Марти Курца. Если же Алексис окажется надежным союзником, вся слава достанется Мише Гаврону. Вы же знаете, как Миша обращается со мной: я — его еврей".

Произнеся этот небольшой монолог, Курц отправил Литвака укладывать в чемодан зубную щетку, а сам принялся перелистывать приготовленный для него французский паспорт, запоминая необходимые детали своей новой биографии. Не отрывая глаз от паспорта, он сказал:

"Ребята рассказывают, что там, в Акрополе, вы выглядели как влюбленная пара из романтического фильма".

"Скажи им от моего имени спасибо за комплимент".

Вооружась выдавшей виды головной щеткой, Курц начал старательно причесываться перед зеркалом:

"В случае, подобном этому, я оставляю вопрос о степени близости с подотчетной девушкой на усмотрение ответственного исполнителя. Иногда стоит сохранять дистанцию, а иногда..." — он бросил щетку в открытый чемодан.

"В этом случае предпочтительна дистанция", — сказал Бекер.

Дверь распахнулась, пропустив одетого и готового к отъезду Литвака. "Мы опаздываем", — сказал он, бросив на Бекера прощальный ревнивый взгляд.

\* \* \*

Не так-то легко было Курцу добиться согласия своего начальства на проведение в жизнь его плана относительно Чарли. На ранней стадии подготовки операции всезнающие психологи Гаврона, прочитавши внимательно ее досье, предлагали самые невероятные проекты ее усмирения, не исключая предварительного бурного романа с менее щепетильным героем-любовником, чем Гиди Бекер, и последующим ее порабощением. Только мудрость Курца смогла противостоять этой армии экспертов, — если вы предлагаете девушке руку и сердце, настаивал он, не следует насиловать ее накануне свадьбы.

Многие, в том числе и Литвак, предпочли бы, чтобы эту роль предложили израильтянке с биографией, сходной с биографией



Чарли, но Курц был уверен, что оригинал всегда лучше самой искусной подделки.

Почти все молодые члены группы, — а там параллельно с естественной тиранией Курца царила подлинная демократия, — настаивали на более продолжительном и нежном романе между Чарли и Гиди, который следовало завершить официальным предложением совместной работы. Но Курц подавил это предложение в зародыше: темперамент Чарли не позволял ей принимать серьезные решения как результат трезвого взвешивания всех “за” и “против”. Лучшая тактика с ней — стремительный натиск, заранее продуманный и отрепетированный, с этим согласился по зрелом размышлении и Бекер.

О Господи! — завопили все от мала до велика, — а вдруг она скажет “нет”? И все труды пойдут насмарку?

Начальство Курц утешал рассуждением, что в этом случае потери будут не так уж велики, но в кругу друзей, состоявшем из жены и Бекера, он признавался, что они идут на чудовищный риск. Хоть в глубине души он заранее был уверен в успехе: он положил глаз на Чарли уже давно, с первого семинара по радикализму, который она посетила. Он выделил ее среди других и тщательно изучил все доступные детали ее жизни, — чутье подсказывало ему, что она может сгодиться для осуществления какого-нибудь головокружительного замысла, он сам еще не знал, какого. Он считал, что спектакль подбирают по труппе, а не наоборот.

А зачем тащить ее в Грецию, да еще не одну, а со всей семейкой? Мы что, благотворительная организация?

Но мелочные соображения не могли смутить Курца: раз “Одиссея” Чарли должна была начинаться в Греции, самое разумное — отправить ее туда заранее, в расчете на магию места и отдаленности. Пусть южное солнце размягчит ее, и Алистер пусть едет с нею: он ведь все равно не отпустит ее одну. Тем больше она будет выбита из привычной колеи его неожиданным отъездом. Отъезд его, как и вся греческая идиллия, был результатом художественного замысла, а вернее художественного вымысла, из сети которого не так легко выпутаться тому, кто в нее попал.

\* \* \*

Что касается удаления Ала, то дело это приняло неожиданный оборот, пока Чарли мирно спала в греческой вилле, а Нед Квили

подбадривал себя внеочередной рюмочкой перед обедом. Его рука с рюмкой застыла на полдороге, когда он услышал отзвуки оглушительной кельтской брани, доносившейся из комнаты мисс Лонгмор этажом ниже и завершившейся приказом "вызвать этого старого козла сюда, пока я сам не выволок его из его вонючего стойла". Пытаясь понять, у кого из его клиентов нервный "срыв по-шотландски", Нед на цыпочках подкрался к двери и прижался ухом к замочной скважине. Он услышал громкий топот по ступеням, и через секунду в кабинет к нему ворвался Длинный Ал, которого он иногда встречал в обществе Чарли, — грязный, оборванный, с трехдневной щетиной на подбородке и пьяный в стельку. Нед молча смотрел на бушующего Ала, по опыту зная, что в подобных случаях самое умное — молчать.

"Ты, старый вонючий гомик, — начал Ал любезно, тыча грязный палец Неду в нос, — сейчас я сломаю твою дурацкую шею".

"За что, друг мой?" — кротко спросил Нед.

"Я звоню в полицию!" — завизжала снизу мисс Лонгмор.

"Или вы сядете и спокойно объясните, в чем дело, или мисс Лонгмор действительно вызовет полицию", — твердо сказал Нед. Ал подумал секунду и сел. "А теперь, — голос Неда постепенно набирал силу, — может, вы изложите мне за чашечкой кофе, чем я вас обидел?"

Ал принялся перечислять преступления Квили: он изобрел несуществующую кинофирму, убедил агента Ала вызвать его — Ала — телеграммой из Миконоса, заплатил за его — Ала — билет, и все это для того, чтобы опозорить его — Ала — перед семейкой и убрать его — Ала — псдальше от Чарли. Слово за слово, Нед вытянул из него все подробности. Глава голливудской кинофирмы "Пан Талант Целестиал" сообщил по телефону агенту Ала, что их главный актер неожиданно заболел и они хотели бы пригласить Ала на срочные кинопробы в Лондоне. Услышав, что Ал в Греции, глава фирмы немедленно выслал чек на тысячу долларов, покрывающий с лихвой расходы по срочному возвращению Ала. Восемь дней просидел Ал в Лондоне у телефона, ожидая вызова на пробы, пока, наконец, на девятый день не был приглашен на киностудию Шепертон, где он должен был обратиться в павильон Д к некому мистеру Вышинскому.

На студии Шепертон никто никогда не слышал ни о каком Вышинском.

Агент Ала попытался позвонить в Голливуд, но телефонный

оператор сообщил ему, что фирма “Пан Талант Целестиал” ликвидирована. Тогда агент Ала навел справки у своих голливудских коллег — никто из них никогда об этой фирме не слышал. После двухдневного тяжкого запоя на остатки злополучной тысячи долларов Ал пришел к единственно разумному выводу, что только Нед Квили был способен сыграть с ним — Алом — такую мерзкую шутку, ибо Нед Квили никогда не скрывал своей неприязни к нему — Алу — из-за его — Ала — безобразного, по мнению Квили, влияния на любимицу Квили — Чарли. И потому он — Ал — явился сюда, чтобы вытряхнуть из Квили остатки его мерзкой душонки. Однако после трех чашек крепкого кофе он перешел от ненависти к горячей любви к Неду, так что Нед попросил мисс Лонгмор вызвать для своего гостя такси.

Вечером за ужином он рассказал все это Марджи, которая предположила, что Чарли завела себе богатого любовника, готового на все, лишь бы избавиться от настырного Ала. Но Нед посмотрел на нее глазами, полными отчаяния, и сказал: “Все обстоит гораздо хуже. Они украли у меня все ее письма”.

Да, да — признал он — все ее письма, все ее дурацкие шуточные открытки, все наброски, сделанные ею от скуки — карикатуры на режиссеров и собратьев по сцене, все исчезло вместе с теми двумя непьющими американцами, Карманом и другим, как-его-там. У мисс Лонгмор тогда была истерика.

Нед Квили налил себе еще одну рюмку крепкого и включил телевизор, как раз вовремя, чтобы успеть увидеть на экране очередной теракт со всеми необходимыми аксессуарами: воющими полицейскими машинами и каретами скорой помощи, на которые грузили носилки с ранеными и убитыми. Но Неду сегодня было не до этих забав: он все еще убивался по поводу похищенных у него писем. Кража писем клиентки из его конторы! Как он мог пережить такой позор!

## 8.

Когда она проснулась, ей на мгновение показалось, что она еще спит и ей снится сон: стакан апельсинового сока на тумбочке у кровати и Иосиф, деловито наводящий порядок в комнате. Приотворяясь спящей, Чарли следила сквозь полусмеженные веки, как в свете яркого дня отливает серебром первая изморозь на

его висках, как поблескивают крупные золотые запонки на манжетах его шелковой рубашки.

“Который час?” — спросила она.

“Три часа дня”, — ответил он, — “хватит спать. Пора в путь”.

И золотая цепочка на шее, отметила она, с золотым медальоном.

“Как губа? — спросила она. — Болит?”

“Боюсь, что певцом мне уже не быть”, — он подошел к стенному шкафу и извлек оттуда голубое льняное платье. Синяков на его лице не было заметно, только темные круги под глазами выдавали усталость: небось, все это время читал свои бумаги.

“Ты помнишь наш ночной разговор, Чарли? Когда ты встанешь, будь любезна, надень это платье, белье ты найдешь в коробке на тумбочке. И причеши волосы гладко, без всяких завитушек. Это платье — мой тебе подарок, потому что наряжать тебя — одно из моих удовольствий. А теперь сядь и внимательно огляди комнату”.

Плотно завернувшись в простыню, она подняла голову с подушки и села. Неделю назад на пляже он мог бы рассматривать ее голое тело, сколько хотел, но то было неделю назад.

“Запомни все, что видишь. Мы с тобой — тайные любовники, мы провели здесь ночь любви. Мы встретились в Афинах и приехали в этот дом. Тут не было никого, кроме нас, ни Марти, ни Майка, никого”.

“Ну, а кто же ты?”

“Мы припарковали машину у входа, над подъездом горел фонарь. Я отпер дверь, и мы рука в руке взбежали по широкой лестнице”.

“А как же багаж?”

“Я нес свой саквояж и твою сумку”.

“Как же ты умудрялся при этом держать меня за руку?”

Она думала подразнить его, но ему нравилась ее придирчивость.

“Твою сумку с порванным ремнем я нес подмышкой справа, и в той же руке нес свой саквояж, а твою правую руку держал в своей левой руке. Комната была прибрана, как сейчас, и мы немедленно бросились в объятия друг друга, не в силах сдерживать страсть”.

Он шагнул к кровати, поднял с пола ее блузку и показал ей: все петли на блузке были порваны и двух пуговиц не хватало.

Он отшвырнул блузку и позволил себе быструю улыбку: "Кофе хочешь?"

"Кофе был бы очень кстати".

Когда он был уже у двери, она окликнула его: "Прости, что я бросилась на тебя, Жозе. Тебе бы следовало в ответ обрушить на меня всю израильскую военную мощь".

Дверь закрылась за ним, его шаги замолкли в глубине коридора. Она не была уверена, что он вернется. Чувствуя полную нереальность происходящего, она выбралась из постели. Всюду были разбросаны свидетельства воображаемой безумной ночи: бутылка водки, полупустая, плавала в ведерке с растаявшим льдом, рядом валялись два бокала, две тарелки с яблочной кожурой и виноградными косточками стояли рядом с вазой, полной фруктов. На полу стоял щегольский саквояж черной кожи с боковыми карманами, со стула свисало черное шелковое кимоно. В ванной ее скромная пластиковая сумка-косметичка прижималась щекой к его роскошному кожаному несессеру.

Голубое платье оказалось весьма красивым, с высоким воротом и фирменным ярлыком: "Зелида, Рим и Лондон". Белье было черное, ее размера, роскошное, — такое должны были носить бляди высшего класса. На полу — шикарная кожаная сумочка и пара нарядных босоножек без каблучков. Она примерила босоножки, они были в самый раз. Она уже оделась и причесывалась перед зеркалом, когда Иосиф внес поднос с кофе, на этот раз она не слышала его шагов — можно было подумать, что продюсеры этого спектакля потеряли звуковую пленку.

"Ты выглядишь замечательно, — сказал он, опуская поднос на стол. — Ты уже видела орхидеи?"

Она не видела их раньше, но увидела сейчас и что-то в желудке у нее оборвалось, как тогда, в Акрополе: среди золотого и малинового белел маленький квадратик конверта. Намеренно медленно завершив прическу, она взяла конверт и опустила в шезлонг, раскинутый у окна. Открыв конверт, она вынула из него простую карточку, на которой напряженным, неанглийским почерком было написано: "Я люблю тебя. М." Подпись эта была ей знакома.

"Что это напоминает тебе?"

"Ты прекрасно знаешь, что", — огрызнулась она.

"Скажи мне — что".

"Ноттингам, театр "Барри", Йорк, театр "Феникс", Стратфорд, театр "Кокпит". И тебя, в первом ряду, плящего на меня глаза".

“Тот же почерк?”

“Тот же почерк, те же слова, те же цветы”.

“Ты знаешь, что я — Мишель. “М” — это Мишель”. Он начал быстро складывать свои вещи в саквояж. “Я — твой возлюбленный, твой идеал. Чтобы хорошо сыграть свою роль, ты должна не просто помнить об этом, ты должна это чувствовать. Сейчас мы с тобой создаем новую реальность”.

Она отложила карточку и налила себе кофе.

“Ты провела отпуск вместе с Алистером, но все это время ты страстно ждала встречи со мной. Не с Иосифом, а с Мишелем. Сразу после Миконоса ты помчалась в Афины, где тебя ждал Мишель. Не Иосиф, а Мишель”. Он бросил несесер в саквояж. “Ты взяла такси в порту и приехала в ресторан, где у тебя было назначено свидание. С Мишелем — в шелковой рубашке, с золотыми часами. Мы ели лобстера, а потом я повел тебя в Акрополь, в неурочное время...”

“Для этого ты повел меня в Акрополь?”

“Это не я повел тебя, а Мишель. Он любит романтические прогулки и красивые жесты, а кроме того он, хоть и поверхностно, но живо интересуется археологией, как ты могла заметить”.

“А кто из вас поцеловал меня?”

Бережно свернув кимоно, он уложил его в саквояж. Это был первый мужчина в ее жизни, который умел паковать вещи.

“У него была и более практическая причина повести тебя в Акрополь — он должен был обеспечить незаметную доставку ему “Мерседеса”, на котором он по некоторым веским соображениям не хотел ездить по людным улицам. “Мерседес” не поразил тебя, ибо в моем присутствии ты всегда готова к чудесам. Побыстрой, пожалуйста, нам сегодня предстоит дальняя дорога”.

“А как насчет тебя? Ты тоже влюблен, или это только игра?”

Она буквально увидела, как Иосиф отступил в сторону, пропуская вперед Мишеля: “Ты любишь Мишеля и веришь в его любовь к тебе. Он говорит, что любит тебя и делает все, чтобы доказать свою любовь. Что еще можно требовать от мужчины?”

“Чей это дом?” — спросила она.

“Я никогда не отвечаю на такие вопросы, моя жизнь для тебя — тайна”. Он протянул ей карточку, присланную вместе с орхидеями: “Спрячь это в свою новую сумочку. Я хочу, чтобы ты бережно хранила все мои записки и подарки”. Он показал на полупустую бутылку водки: “Я пью больше, чем ты, но пить не люблю:

у меня болит голова от спиртного. Тебе я разрешаю маленькую рюмочку, ибо я человек современный, но в принципе я терпеть не могу пьющих женщин". Он показал ей крошки от пирожного на грязной тарелке: "Я — сластена, особенно я люблю пирожные и виноград, но он должен быть зеленый, такой, какой рос в моей родной деревне. Что ты ела прошлой ночью, Чарли?"

"Я не ем в минуты страсти. Я только курю потом, после".

"Боюсь, что я не одобряю курения в постели. Я могу позволить тебе сигарету в ресторане или даже в "Мерседесе", но никогда в постели". Он начал надевать блейзер.

"Он араб, да? — спросила она, наблюдая за ним. — Типичный арабский шовинист. Это его машину вы свистнули?"

Он застегнул чемодан и распрямившись стал задумчиво разглядывать ее, пожалуй неодобрительно — так ей, во всяком случае, показалось.

"О, он больше, чем просто араб или просто шовинист. Он — человек особенный, неординарный. Пожалуйста, подойди к кровати". Не отрывая от нее взгляд, он следил за каждым ее шагом. "Пошарь под подушкой, медленно, осторожно — я сплю с правой стороны. Нашла?"

Она осторожно сунула руку под подушку, представляя, что на ее ладони лежит спящая голова Иосифа. Да, Жозе, я нашла.

"Подними его бережно, курок взведен. Мишель стреляет без предупреждения. Этот пистолет — наше дитя, он делит с нами любое ложе. Мы так и зовем его — "наш ребенок". Даже в минуты страсти мы не забываем о нем. Теперь ты видишь, что я человек особенный?"

Она рассматривала пистолет — маленький, коричневый, благородных очертаний, он умещался в ее ладони.

"Тебе приходилось когда-нибудь стрелять из такого?" — спросил Иосиф.

"Часто".

"Когда? В кого?"

"На сцене. Каждый вечер".

Она протянула пистолет ему, и он сунул его в карман блейзера привычным движением, словно кошелек. Они спустились с лестницы, "Мерседес" ждал у входа. Она хотела уехать поскорей, пистолет испугал ее, поскорей оказаться на шоссе с Иосифом наедине. Но в последний миг она обернулась, чтобы бросить прощальный взгляд назад, и обнаружила там, на покинутой вилле, неземную

красоту. Жаль, что ей не придется жить в таком доме и идти из такого дома под венец: Чарли в белом, а не в голубом, ее идиоткамать в слезах, и прости-прощай, молодость!

“Ну, а мы с тобой все-таки существуем? Или только те двое?” — спросила она, когда они выехали на автостраду.

Прошло не меньше трех минут, прежде чем он ответил: “Конечно, мы существуем, — улыбнулся он, ради этой улыбки она готова была взойти на эшафот, — мы ведь берклианцы: разве они могли бы существовать без нас?”

Она бы хотела знать, кто такие берклианцы, но гордость помешала ей спросить его об этом.

\* \* \*

Иосиф долго молчал, но она чувствовала, что он не отдыхает, а готовится к дальнейшему наступлению. “Ну, Чарли, — спросил он, наконец, — ты готова?”

“Я готова, Жозе”.

“Итак двадцать шестого июля в пятницу ты играла Жанну д’Арк в Ноттингаме. У тебя был трудный день, долгая дорога, утомительная репетиция. За несколько минут до поднятия занавеса тебе принесли букет золотистых орхидей с запиской: “Я люблю тебя, Жанна”. Твой поклонник позвонил у служебного входа и вручил букет привратнику, мистеру Лемону, вместе с пятифунтовой бумажкой. Потрясенный столь высокими чаевыми, мистер Лемон доставил букет в твою гримерную без промедления. Что сделала ты, получивши цветы?”

Она задумалась: “Записка была подписана буквой М?”

“Это верно. Но ты что сделала?”

Она рассердилась: “А что я могла сделать? Мне оставалось десять секунд до выхода на сцену!”

Тяжелый грузовик мчался на них из-за поворота. Иосиф автоматически выбросил “Мерседес” на обочину в обход грузовика, ни на секунду не прерывая допроса: “Значит, ты выбросила букет орхидей ценой в тридцать фунтов и вышла на сцену?”

“Нет, я поставила их в воду”.

“А во что ты налила воду?”

Этот неожиданный вопрос обострил ее память: “В банку изпод краски. В помещении ноттингамского театра по утрам проходили уроки рисовальной школы”.



“Что ты чувствовала, наливая воду в банку? Ты была польщена? Счастлива?”

“Мне было любопытно, — хихикнула она, — кого я увижу в зале”.

“Ну, и кого ты увидела?”

“Никого, кто был бы мне знаком”.

“Что ты сделала после спектакля?”

“Вернулась в гримерную, разгримировалась и подождала немного. Потом мне надоело и отправилась в отель”.

“Отель “Астрал Коммершиал”, неподалеку от вокзала?”

Она давно уже перестала удивляться, она просто согласилась: “Да, Астрал Коммершиал, возле вокзала”.

“А что насчет орхидей?”

“Я взяла их с собой в отель”.

“И не попросила мистера Лемона описать того, кто их принес?”

“Я спросила назавтра. Он сказал: иностранный джентльмен, но приличный. Я спросила: какого возраста? Он ответил: подходящего. Я попыталась вспомнить какого-нибудь знакомого иностранца на “М”, но не смогла”.

На его губах мелькнула улыбка, предназначенная не ей.

“Итак, Чарли, день второй. Субботний утренний спектакль...”

“А в зале сидел ты, правда? В самом центре первого ряда партера, в своем роскошном красном блейзере, среди кашляющих и визжащих детей”.

Он на миг сосредоточился на встречных машинах, и опять вернулся к прошлому, не позволив ей нарушить свою учительскую серьезность:

“Я бы хотел, чтобы ты поточнее описала мне свои ощущения, Чарли. На улице еще совсем светло, так что темнота в зале неполная из-за плохо задернутых штор. Я сижу в первом ряду, очень заметный в толпе детей, и не отрываю от тебя глаз. У тебя не появилось подозрения, что именно я прислал тебе орхидеи и любовную записку за подписью “М”?”

“Конечно, я была уверена, что это ты”.

“Ты что, спросила Лемона?”

“И не подумала, я и так знала. А, это ты? — подумала я, — привет, кто б ты ни был. А потом, когда занавес упал, и ты остался сидеть, предъявивши билет на следующий сеанс...”

“Откуда ты узнала? Кто тебе сказал?”

“Это маленький театр, Жозе, и я не получаю в подарок орхидеи чаще, чем раз в десять лет. И ненамного чаще зрители остаются в зале, чтобы увидеть спектакль еще раз”. Тут она не удержалась и спросила: “Это было очень занудно? Или иногда ты все же получал удовольствие?”

“Это был самый скучный день в моей жизни”, — ответил он, не задумываясь. И тут его суровое лицо опять осветилось этой удивительной улыбкой, нежной и озорной: “Должен признать, что ты и впрямь замечательная актриса”.

Не пытаясь подвергнуть сомнению его вкус, она сказала: “Может, стоит именно здесь попасть в аварию и разбиться? Я не прочь умереть на этой реплике”. И прежде, чем он успел остановить ее, она схватила его руку и поцеловала в ладонь.

\* \* \*

Дорога была прямая, но ухабистая, кусты вдоль нее были покрыты цементной пылью. Они мчались по ней, изолированные от внешнего мира самой скоростью своего движения. Он был ей все ближе и ближе, она была солдатская девушка, обучающаяся на солдата.

“Скажи, ты получила что-нибудь еще в Ноттингаме, кроме орхидей?”

“Коробочку”, — сказала она быстро, даже не пытаясь притвориться, что вспоминает.

“Какую коробочку?”

“Дурацкая шутка: кто-то прислал мне коробочку по почте на адрес театра, заказной бандеролью. В субботу, в день утреннего спектакля”.

“А что было в коробочке?”

“Ничего не было. Пустая ювелирная коробочка, заказной бандеролью”.

“Очень странно. А как был надписан адрес?”

“Синей шариковой ручкой, печатными буквами, от какого-то Мардена и Хардена”.

“Где ты ее распаковывала?”

“В моей гримерной, в антракте”.

“И что ты предположила?”

“Что кто-то хочет мне отомстить за мои политические убеждения. Я — ведь получала анонимные письма, где меня обзывали грязными словами”.

“Но ты не предположила связи между коробочкой и орхидеями?”

“Ну что ты: ведь ты мне понравился, Жозе!”

Он резко остановил машину на обочине. На минуту ей показалось, что сейчас он пошлет к черту свою сдержанность и обнимет ее. Но нет, он просто открыл бардачок с ее стороны и вынул оттуда плотно запечатанный пакет, точную копию той заказной бандероли, с почтовым штемпелем Ноттингама, датированным двадцать пятым июня. Печатные буквы адреса были выведены синей шариковой ручкой.

“Сейчас мы будем создавать новую реальность, основанную на разрозненных деталях старой”, — объявил он, пока она разглядывала пакет. — “Это был трудный день, а сейчас антракт, небольшая передышка, и ты в своей гримерной разглядываешь прибывшую по почте заказную бандероль. Сколько минут осталось до твоего выхода на сцену?”

“Может десять, может меньше”.

“Отлично. Теперь распечатай пакет”.

Она надорвала край пакета и заглянула внутрь, там лежала знакомая коробочка из алого бархата, только гораздо тяжелей. Рядом был маленький белый конверт, в нем простая белая карточка: “Жанне, ласточке моей свободы. Ты — волшебница, я люблю тебя. Мишель”. Почерк знакомый. Она встряхнула коробочку, там что-то перекатывалось. “Открыть?” — спросила она.

“Ты сама должна решить, открывать или нет”.

Она подняла крышку. На атласной подушечке лежал тяжелый золотой браслет, усыпанный синими камнями.

“Жозе, — сказала она, резко захлопнув коробочку, — чем я это заслужила?”

“Отличная реакция, запомни ее и повторяй каждый раз, когда придется”.

Она опять открыла коробочку и положила браслет на ладонь, он был тяжелый. “Он из настоящего золота?” — спросила она.

“К сожалению, тебе не с кем посоветоваться. Решай сама”.

“Он старинный”, — объявила она, подумав.

“Значит, старинный, тяжелый, настоящий. Что ты будешь делать?”

Чарли стала разглядывать пробу, потом поковыряла ногтем узорную поверхность браслета, она была нежная и маслянистая.

“У тебя почти не осталось времени до выхода на сцену, Чарли. Ты что, оставишь браслет в примерной?”

“Ну, — она задумалась на миг, — я могу спрятать его в сортире, за бачком”.

“Могут заметить”.

“В мусорной корзине, под бумагой”.

“Кто-нибудь может затеять уборку и выбросить. Думай”.

“Слушай, катись ты... а, придумала: я спрячу его за тюбиками краски, там сто лет пыль не стирали”.

“Отлично. Ну, теперь спрятала и бегом на сцену. Что ты чувствуешь? По поводу браслета?”

“Я... знаешь, мне неприятно: я ведь не могу его принять, он слишком дорогой”.

“Но ты ведь его уже приняла. Ты расписалась на почтовой квитанции и спрятала браслет за тюбиками краски”.

“Но ведь я могу его вернуть, правда?”

“А что ты чувствуешь?”

“А что ты бы хотел, чтоб я чувствовала?”

“Он сидит в двух шагах от тебя, Чарли, и смотрит на тебя неотрывно. Он смотрит твой спектакль третий раз подряд, он прислал орхидеи и браслет, он написал, что любит тебя. И он хорош собой, он куда краше, чем я”.

Иосиф включил мотор, машина тронулась параллельно темнеющей на горизонте гряде холмов и начала взбираться вверх по извилистой узкой дороге.

“Ты помнишь, как я тебе аплодировал, — спросил Иосиф, — как вызывал тебя на сцену снова и снова?”

Да, Жозе, я помню, конечно помню, но она не решилась сказать это вслух.

“Отлично, теперь ты будешь помнить и про браслет”.

Ладно, ради неведомого красавца-поклонника она готова в воображении снова и снова выбежать с улыбкой к рампе, чтобы потом поспешить в примерную, вытащить браслет из тайника, переодеться и помчаться за ним.

В этом месте Чарли заупрямилась: “Стой, стой, почему я должна за ним бежать? Почему бы ему не прийти за кулисы? Ведь это он меня добивается!”

“А что ты собираешься ему сказать, Чарли?”

“Я собираюсь сказать — возьмите свой браслет, я не могу его принять”.

“А вдруг он уйдет и больше не появится? И ты останешься с дорогим подарком, который не можешь принять?”

Тут ей пришлось согласиться побежать за ним.

“Ну, и куда ты побежишь? Где будешь его искать?”

“Я выбегу через актерский вход, заверну за угол к парадному подъезду, чтобы перехватить его при выходе из фойе”.

Он обдумал ее слова: “Тогда тебе надо будет надеть плащ”.

Конечно, он был прав: она совсем забыла бесконечный ноттингамский дождь, так что ей пришлось надеть свой новый плащ — длинный, французский, с распродажи, — наспех завязать пояс и выбежать в дождь к парадному подъезду.

“А голову я повяжу желтым шарфом, который мне подарили на телевидении, когда я снималась в рекламе шарфов Джагера”.

“Итак в новом длинном французском плаще, с желтым шарфом на голове, ты подбегаешь к парадному подъезду и зовешь: “Мишель! Мишель!” Но напрасно, Мишеля там нет. Что ты будешь делать?”

“Вернусь в гримерную, да?”

“А почему бы не заглянуть в зал — вдруг он там?”

“Черт побери, действительно — вдруг он там?”

“Через какие двери ты войдешь?”

“Через партер. Где ты сидел”.

“Не я, Мишель. Итак ты толкаешь дверь партера, она еще не заперта, — иходишь в зал”.

“И вижу его”, — сказала она тихо.

“И видишь его — на том же месте, в первом ряду, пожирающего глазами занавес, словно он надеется снова увидеть свою Жанну, свою любовь, ласточку свободы”.

Я хочу домой, подумала она, — прийти в отель, вытянуться на кровати и заснуть. Сколько суженых полагается девушке в день?

“Ты колеблешься секунду, затем зовешь: Мишель! — единственное имя, тебе известное. Он оборачивается, но не встает. Он не улыбается, не идет тебе навстречу”.

“Господи, что же он делает, этот призрак?”

“Ничего. Просто смотрит на тебя своими прекрасными, страстными очами и молчит. Может, он гордец, может — романтик, но уж во всяком случае не заурядный обыватель, не застенчивый вздыхатель. Он пришел предъявить права на тебя. Он молод, щеголеват, прекрасно держится”. Он перешел на первое лицо: “Ты

идешь ко мне по узкому проходу между кресел, чувствуя, что тебе придется заговорить первой. Ты достаешь браслет из кармана плаща. Тебе к лицу дождевые капли на ресницах”.

Дорога вилась вверх по холму. Его голос властно увлекал ее в лабиринт сюжета: “Что ты ему скажешь?” Не дождавшись ее ответа, он сказал за нее: “Я с вами не знакома, Мишель, и не могу принять ваш подарок. Спасибо”.

Она его не слушала. Она стояла перед ним в пустом зале, протягивая ему коробочку с браслетом, и смотрела в его темные глаза. А Иосиф продолжал:

“Я продолжаю молчать — ты ведь знаешь, нет лучшего посредника, чем молчание. Если твой обожатель молчит, тебе придется поддерживать разговор. Что ты скажешь теперь?”

Ее охватило необъяснимое смущение: “Ну... я спрошу, кто он”.

“Меня зовут Мишель”.

“Это я знаю. А фамилия?”

“На это он не ответит. Дальше”.

“Ну, я скажу...”

“Ну, Чарли, он же ждет!”

“Слушайте, Мишель, мне очень приятно... но я не могу принять такой дорогой подарок. Простите...”

“Очень неубедительно, — упрекнул ее Иосиф. — Он ведь араб, ты, наверно, уже догадалась, и ты отвергаешь его подарок. Тут нужны доводы посильней”.

“Мишель, люди склонны ошибаться насчет актрис и актеров. Не стоит причинять себе страдания из-за... из-за иллюзии, — ведь то, что вы обо мне знаете — это не я, это мои роли. Я стараюсь очаровать зрителей, но это все игра, притворство, обман”.

“И это все? Ты не чувствуешь, что ты должна защитить этого юношу — такого красивого, швыряющего деньги на драгоценности и орхидеи?”

“Ну конечно, чувствую! Я стараюсь!”

“Этот браслет стоит сотни фунтов, может, я заложил свое наследство, чтобы его купить! Или убил кого-нибудь! Что ж ты, Чарли?”

Мысленным взором Чарли увидела, как она садится рядом с Мишелем, чтобы утешить его — как сестра милосердия, как мать, как друг.

“Мишель, я — обыкновенная девушка, у меня рваные колгот-

ки и долг в банке, и никакая я не Жанна д'Арк, можешь мне поверить. Я не девственница и не солдат, и с Богом я не разговаривала с тех пор, как меня выгнали из школы”.

“Отлично, Чарли, дальше”.

“Тебе нужно забыть эту блажь, Мишель. Так что возьми свой браслет и прощай. Прощай и прости”.

“Ну, и чем это кончится?”

“Я положу браслет на кресло рядом с ним и уйду. Если я не опоздаю на автобус, то еще успею съесть резинового цыпленка в отдельном ресторанчике”.

Иосиф был потрясен ее черствостью: “Неужели ты способна на это, Чарли? А вдруг я решусь на самоубийство? Я пушу себе пулю в лоб, пока ты будешь безмятежно спать в своем элегантном номере, где на тумбочке у кровати стоят мои орхидеи”.

“Ничего себе элегантный! Блошиная дыра!”

“Ты, с твоим отзывчивым сердцем! Ты не можешь отвергнуть юношу, покоренного твоей красотой, твоим талантом и твоим революционным духом! Ты ведь сразу поняла, что он не пошлый соблазнитель. Он очаровал тебя, ты поверила ему”.

Они въехали в маленькую деревню, впереди приветливо светились огни придорожной таверны.

“А главное, Мишель, наконец, заговорил, — с мягким, приятным акцентом, французским, что ли, — нисколько не смущенный, не огорченный твоим отказом. Ты для него — все, о чем он мечтал, он жаждет быть твоим возлюбленным, он хочет тебя сразу, немедленно, сегодня, он называет тебя Жанной, хоть ты сказала ему, что ты — Чарли. Если ты согласишься пообедать с ним, и после обеда не изменишь своего решения, он готов будет, возможно, взять обратно свой браслет. Ты просишь его забрать браслет сейчас же, у тебя уже есть возлюбленный, а кроме того, что за выдумки — где вы можете пообедать в Ноттингеме в полдинадцатого, в субботу вечером?”

“Безнадежно”, — подтвердила она, не оборачиваясь.

“Итак, это твоя первая уступка”.

“Какая уступка?”

“Твое возражение было чисто практическим. Это все равно, что отказаться спать с ним, потому что у вас нет кровати. Мишель немедленно отвергает твой практицизм: он знает прекрасное место, он заказал столик. Значит, ничто не мешает нам пообедать вместе, не так ли?”

Резко свернув, он притормозил у входа в таверну. Ошеломленная этим внезапным переходом от прошлого к настоящему, она испытала неожиданное радостное возбуждение от того, что Мишель не дал ей уйти. Не в силах встать, она повернулась к нему и увидела, что глаза его прикованы к ее рукам, сцепленным на коленях. Бесстрастным четким движением он схватил ее правую руку и отогнул рукав, так что открылся тяжелый золотой браслет, слабо мерцающий в темноте.

“Что ж, отлично, — сказал он спокойно, — сегодняшние английские девицы, я вижу, времени даром не теряют”.

Она сердито вырвала руку и огрызнулась: “В чем дело? Уж не ревнуешь ли ты меня?”

Но она была не в силах его уязвить: на лице его не оставалось следов. Кто же ты? — беспомощно гадала она, входя за ним в таверну. — Мишель? Жозе? Или кто-то третий?

## 9.

Задолго до того, как Чарли в обществе своего вновь обретенного любовника покинула афинскую виллу, — точнее, пока она, по сюжету, сладко спала в его нежных объятиях — Курц и Литвак сидели в разных рядах кресел самолета, направляющегося в Мюнхен. По выходе Курц предъявил французский паспорт и отбыл на такси в Олимпийскую деревню, где его поджидали так называемые аргентинские фотографы. А Литвак, вступивши на германскую землю под защитой канадского паспорта, отправился в отель “Байришер Хоф” на свидание с экспертом по оружию по имени Якоб. Под видом дорожного инспектора Якоб провел последние три дня на шоссе Мюнхен—Зальцбург, изучая его на предмет предполагаемого большого взрыва, планируемого на предрассветный час одного из ближайших будней. Обсудив за крепким кофе некоторые предложения Якоба, оба они отправились в съемной машине в Зальцбург, чтобы еще раз обследовать все сто сорок четыре километра шоссе, раздражая окружающих водителей неожиданными остановками в неположенных местах.

Из Зальцбурга Литвак проследовал в Вену, где встретился с новой группой помощников. Тщательно изучив последние отчеты из Мюнхена, он повез свой отряд к югославской границе, где после быстрой разведывательной операции расселил своих людей в скромных пансионах в окрестностях Виллаха.



К моменту появления Курца допрос Януки продолжался уже четыре дня.

Эта работа была ему по сердцу. Если бы он мог одновременно быть в трех местах, он делал бы ее сам, но раз это было невозможно, он выбрал для допросов двух тяжеловесов, известных в своей среде мягкостью нрава и непревзойденным актерским мастерством. Когда Курц первый раз пригласил их в дом на улице Дизраэли, он только туманно намекнул им на суть предполагаемой операции и велел тщательно изучить досье Януки. Когда они явились с выученным уроком — слишком быстро, по его мнению, — он устроил им самим настоящий допрос с пристрастием, но придаться ему было не к чему: они знали жизнь Януки наизусть. Тогда Курц экстренно созвал Литературный комитет, состоящий из отлично сработавшихся к тому времени мисс Бах, Леона и старого Швили. Краткий доклад Курца о работе комитета являл собой классический образец недосказанности, тем более что после тридцати пяти лет жизни в Израиле он был известен своим безобразным ивритом:

“Мисс Бах расшифровывает магнитофонные записи допросов и составляет отчеты, необходимые для работы оперативных групп, а также для Леона. Леон сочиняет то, что надо, на основе этих отчетов, и после того, как мисс Бах проверит все детали его сочинений, они все втроем решают, какую выбрать бумагу, какие чернила, какое настроение было у предполагаемых авторов писем — у него и у нее, — и только когда все выверено и обдумано, мистер Швили приступает к подделке почерка. Завершив свою работу, мистер Швили возвращает ее мисс Бах — для дальнейшей проверки, для нанесения отпечатков пальцев, для хранения. Ясно?” Все-таки кое-что следователям удалось ухватить, но вопросов у них не было.

Самым трудным делом было решить, как заставить Януку расколоться в столь короткий срок. Миша Гаврон, конечно, прислал своих возлюбленных психологов, но Курц выставил их за дверь. Однако он с интересом выслушал информацию о новых средствах, вызывающих галлюцинации и расслабляющих волю.

Первыми отбыли в Мюнхен следователи, а следом за ними вылетел Литературный комитет и занял квартиру этажом ниже под вывеской торговцев редкими марками, ведущих подготовку к

международному аукциону. Их сопровождал стройный юноша по имени Самуэль-пианист, в обязанности которого входило управление маленьким телепринтером, подсоединенным к командному пульту Курца.

Тот, ради кого совершались все эти бесчисленные приготовления, прибыл в точно назначенный срок, самолетом из Греции. Его сопровождала медсестра и личный врач, который действительно был врачом, хоть и с фальшивым паспортом. Янука, судя по внушительной папке с документами, был представлен как английский бизнесмен, доставленный в Германию для срочной операции на открытом сердце. Машина скорой помощи помчала всех троих в направлении городской больницы, но в одной из боковых улочек вдруг свернула во двор под вывеской похоронных дел мастера, словно с пациентом уже случилось самое худшее. Через некоторое время жильцы дома в Олимпийской деревне видели, как аргентинские фотографы вносили к себе плетеную корзину с надписью: "Осторожно, стекло". У себя наверху они распаковали содержимое корзины, и доктор убедился, что с его пациентом все в порядке. Через несколько минут пациента уложили на пол в комнате, обитой звукопроницаемым покрытием, — предполагалось, что через полчаса он придет в себя, -- и доктор удалился: он просил Курца не вовлекать его в действия, нарушающие медицинскую этику.

Примерно через сорок минут они увидели, как Янука начал дергать свои цепи, сперва ручные, потом ножные, осознавая постепенно, что он скован и лежит вниз лицом. Он тихо застонал и затих на секунду. Затем без всякого предупреждения он начал рычать, выть и биться об пол и стены с такой силой, что только цепи помешали ему раскроить себе голову. Охранники не мешали ему буйствовать: им было приказано соблюдать дистанцию и воздерживаться от насилия, что порой стоило им усилий, особенно Одеду.

Наконец, обессиленный, Янука утих и, по всей видимости, опять задремал. Тогда следователи решили, что пора начинать: они включили искусственный яркий свет и принесли Януке поднос с завтраком, громко приказывая охранникам освободить его от цепей, чтобы он мог поесть, как человек. И лично сняли колпак с его головы, чтобы он сразу увидел их добрые нееврейские лица, склоненные над ним.

"И никогда больше не надевать", — сказал один из них гневно,

демонстративно швыряя колпак и цепи в дальний угол комнаты. Охранники неохотно удалились, и тогда Янука согласился выпить немного кофе под взглядами своих новых друзей. Они знали, что его мучает жажда, они сами попросили врача перед уходом позаботиться об этом, а кроме того, они знали, что его сознание замутнено наркотиками, и потому он готов охотно принять любое участие и заботу. Они решили, что пришло время представиться и обратились к Януке по-английски: они назвали себя представителями Красного Креста в этой тюрьме, швейцарцами по национальности. Они не были готовы открыть ему, что это за тюрьма и в какой стране она находится, но намекнули, что, возможно, в Израиле. Предъявив ему свои отлично сфабрикованные удостоверения, они объяснили, что их задача — следить, чтобы израильские в этой тюрьме соблюдали Женевскую конвенцию по отношению к заключенным. Они добавили, что стараются изо всех сил добиться перевода Януки в арабское отделение тюрьмы, но, похоже, до завершения “строгого допроса”, который должен вот-вот начаться, им это не удастся. Слово “допрос” они произнесли с отвращением, и в этот момент, как было условлено заранее, вошел Овед, притворяясь, что занят уборкой комнаты. Следователи замолчали и не сказали при нем ни слова.

Когда он вышел, они попросили Януку заполнить большую анкету, — собственноручно, такие правила, ничего не поделаешь: год и место рождения, ближайшие родственники, религия, профессия — студент, не правда ли? Хотя и неохотно, Янука выполнил их требование, и они удалились, оставив ему на прощание брошюру по-английски с перечнем его прав и две плитки швейцарского шоколада. И назвали его по имени — Салим. Затем в течение часа они следили сквозь инфракрасную наблюдательную трубу, как он плачет в темноте. Затем опять зажгли свет в его комнате и ворвались с криком: “Просыпайся, Салим, уже утро, и посмотри, что мы тебе принесли!” И протянули ему письмо с бейрутским штемпелем, с пометкой: “просмотрено тюремной цензурой”, адресованное ему через Красный Крест. Письмо от его любимой сестры Фатме, подарившей ему защитный золотой амулет, который он никогда не снимал. Руководствуясь письмами Фатме, перехваченными в Мюнхене в период наблюдения, Леон вместе с мисс Бах сочинил это письмо, а Швили подделал почерк.

Фатме писала, что будет молиться за своего возлюбленного

героя-брата в час тяжелого испытания, которое его ждет: под испытанием, похоже, она подразумевала предстоящий допрос. Янука принял письмо с притворным равнодушием, но, когда следователи оставили его наедине с собой, он впал в религиозный транс, распростершись на полу и прижимая письмо к щеке.

“Я требую бумаги!” — заявил он через час охраннику, вошедшему проверить, как работает вентиляция. Охранник, а это был Овед, и ухом не повел.

“Я требую бумаги! — завопил Янука. — И представителя Красного Креста! Согласно Женевской конвенции!”

Литературный комитет этажом ниже был счастлив услышать это требование — оно подтверждало готовность Януки принять участие в их игре. Охранник вышел и вскоре вернулся с пачкой бумаги, проштемпелеванной Красным Крестом. Кроме того он вручил Януке печатную инструкцию, разрешающую заключенным письма только по-английски, но ручки не принес. Янука потребовал ручку, он умолял, он грозил, он кричал, но напрасно: в Женевской конвенции не было ни слова о ручке. Через пару часов примчались обеспокоенные следователи и дали Януке собственную ручку.

В течение всего дня Янука боролся с соблазном принять протянутую ему дружескую руку. Его письмо Фатме, полное шаблонных лозунгов и отчаянной жалости к себе, дало Леону отличную модель стиля автора в состоянии эмоционального стресса, а Швили — образец его почерка по-английски. На протяжении следующих дней Янука обменялся с Фатме несколькими письмами, в которых он отвечал на ее вопросы и рассказывал о себе.

\* \* \*

Представители Красного Креста не оставляли Януку наедине с его отчаянием: они заботливо навещали его, стараясь укрепить его дух перед предстоящим грозным допросом. Они охотно болтали с ним на любые темы, объясняя ему, что их интересует человек, личность, а не идеи и принципы, а один из них даже процитировал Роберта Бернса, который случайно оказался любимым поэтом Януки. Они расспрашивали о его отношении к Западному миру и живо интересовались его наблюдениями над представителями разных наций.

А что он думает об Англии? — любопытствовали они.

Англия — хуже всех! — отвечал он решительно. Там все прогнило, там царит банкротство идейное и фактическое, там служат американскому империализму и сионизму. Они выслушали его любезно, не выказывая никакого специфического интереса к его посещениям Англии, и перешли к его детству, отметив про себя, что он ни при каких обстоятельствах даже не упоминает своего старшего брата, словно брат этот вовсе не существует.

Они хотели знать все о его детстве в Сидоне, особенно о его успешном участии в юношеской футбольной команде. “Расскажи нам про твой самый удачный матч”, — просили они. “Как ты выиграл кубок, и сам великий Абу Аммар вручил его тебе”. Смущаясь Янука вспоминал полузабытые подробности, и мисс Бах внизу меняла на магнитофоне кассету за кассетой. Леон был в трансе: он погружался в выразительный разговорный английский Януки, он поглощал его импульсивный стиль, он вживался в образ, проникаясь его манерой менять тему на полуфразе.

Пора было приступать к обсуждению дневника Януки, но следователи все откладывали и откладывали это обсуждение, опасаясь расколоть неосторожным словом хрупкую скорлупу доверия юноши к ним. Дневник этот был обнаружен на следующий день после похищения, когда трое в канареечных комбинезонах подкатили в канареечном фургоне с яркой надписью “Чистка и уборка” на боковых стенках к дому Януки и предъявили консьержке оплаченный вперед и подписанный клиентом бланк вызова. Внеся в квартиру стремянки, щетки и пылесосы, они задернули шторы и в течение восьми часов перевернули все вверх дном. Среди их находок был глянцеви́тый плотный конверт, полный расписок и квитанций, хранимых, по всей видимости, для предстоящего оправдания расходов, и карманный дневник, переплетенный в коричневую кожу. В дневнике были записи по-арабски, по-английски и по-французски, некоторые совершенно неразборчивые, похожие на шифровку. Для прочтения дневника требовалось соучастие самого Януки. Как следовало добиваться этого соучастия?

Отвергнув применение насильственных методов и отказавшись от увеличения дозы наркотиков, следователи решили разрабатывать тему предстоящего “сурового допроса”, который так ужасал Януку. Ему доставили краткое письмо от Фатме: “Час испытания близок. Будь тверд, я молюсь за тебя”. После этого свет в камере погасили, и Янука надолго остался один. За сте-

ной магнитофон наполнил коридор топотом, стонами, звуком падения тяжелого тела в цепях. Потом охранники вошли в комнату Януки, опять заковали его руки и ноги в цепи, погасили свет и ушли. Янука лежал тихо, лишь изредка бормоча: "Нет! Нет! О, нет!"

Тогда к нему отправили Самуэля-пианиста, одетого в белый халат, чтобы тот с помощью стетоскопа прослушал ритм его сердца, бьющегося отчаянно и гулко в темноте, а затем сквозь инфракрасную трубу следили, как он пытается разбить себе голову о стену, но ему мешают цепи. Потом ему снова сыграли топот и отдаленные вопли, потом погрузили все в полную тишину, в разгар которой произвели один близкий и оглушительный пистолетный выстрел. После выстрела опять стало тихо, и Янука заснул и завизжал беспомощно, как щенок.

Тут следователи решили, что пробил их час.

Сначала в его камеру вошли два охранника, которые подняли его на ноги и повели, дрожащего, к дверям. На пороге их перехватили запыхавшиеся швейцарцы, которые преградили им дорогу, — их добрые арийские лица выражали тревогу. Между швейцарцами и охранниками началась долгая перебранка на иврите, и потому понятная Януке лишь частично: по утверждению швейцарцев, для начала допроса, согласно параграфу Женевской конвенции, требовалась резолюция коменданта тюрьмы. На что охранники возразили, что им на параграфы конвенции плевать, она у них вот где сидит, и пальцами показали — где именно. Дело чуть не дошло до потасовки, но в конце концов благодаря сдержанности швейцарцев все обошлось мирно и было решено, что все четверо вместе отправятся к коменданту для выяснения вопроса. Янука, оставшись один в темноте, начал молиться, хотя не мог определить, где находится Восток.

Через некоторое время швейцарцы вернулись одни, но вид у них был встревоженный, а в руках был дневник Януки. Кроме дневника они принесли два паспорта — французский и кипрский, — найденные в квартире Януки под половицей, и его ливанский паспорт, с которым он путешествовал в день похищения. Они не старались скрыть от него грозящую ему опасность: по просьбе израильских властей западногерманская полиция обыскала его квартиру в Мюнхене, и найденных материалов с лихвой хватает, чтобы подтвердить всевозможные обвинения. Так что "сурового допроса" ему вряд ли миновать. Пока что им удалось этот допрос

оттянуть, пообещав коменданту, что они попытаются сами, своими методами, получить от Януки необходимую информацию, касающуюся всех его перемещений, встреч, дат, мест ночлега, и прочее и прочее за последние полгода, свои показания он должен написать собственноручно, — сказали они, — таково условие губернатора, и кроме того по-дружески посоветовали ему быть точным и не ошибаться. Если он хочет что-то утаить, пусть промолчит, но не дай Бог соврать, — ведь это их репутация поставлена на карту. Как-то само собой получилось, что на жизни Януки они уже поставили крест.

Они сильно рисковали, они это знали. На миг им показалось, что все потеряно, когда Янука долго всматривался в их лица, не произнося ни слова. Но потом глаза его опять затуманились, и он принял протянутую ему ручку, так что им стало ясно, что они должны и дальше продолжать свою игру.

\* \* \*

Курц прибыл на следующий день из Афин, чтобы лично проверить результаты работы Швили — паспорта, расписки и дневник, — прежде чем вернуть их обратно в мюнхенскую квартиру Януки.

В комнате мисс Бах в нижней квартире он выслушал все доклады, а потом, как зачарованный, следил, как на телеэкране компьютера мисс Бах выстраиваются подлинные подробности жизни Януки за последние шесть месяцев, а вслед за ними новые, соответствующие сюжету: “написал Чарли из аэропорта Шарль де Голль..., встретился с Чарли в отеле “Эксельсиор” Хитроу..., звонил Чарли с вокзала в Мюнхене...”. И с каждой новой деталью ему предъявляли соответствующие квитанции, и расписки, и соответствующие записи в дневнике, оправдывающие расходы или создающие намеренные неясности и провалы во времени чтобы замести следы.

К вечеру, завершив эту часть работы, Курц нарядился в строгую форму израильского офицера, украшенную погонами полковника и орденскими планками, и поднявшись на верхний этаж на цыпочках подошел к смотровому окошку, чтобы несколько минут понаблюдать за Янукой. Затем вошел в камеру, отослал Одеда и остался с Янукой наедине. Тусклым официальным голосом начал он задавать вопросы по-арабски: какой бикфордов шнур Янука использовал в одном случае, где именно он встретился с

девушкой в другом, какой марки машину вел в третьем. Обширность информации, которой владел Курц, потрясла Януку. Курц пожал плечами:

“Какие секреты могли у тебя остаться, после того, как раскололся твой великий брат?”

Курц сказал это просто, словно констатируя всем известный факт. И чтобы окончательно убедить ошеломленного Януку, рассказал тому кое-что, чего не мог знать никто, кроме великого брата. На деле же Курцу многое было известно в результате длительного наблюдения за Янукой, подслушивания его телефонных разговоров и перлюстрации его писем. К сожалению, вся система коммуникации Януки была построена так хитро, что ни при каких обстоятельствах не могла вывести на след неуловимого старшего брата.

“Где он? — завопил Янука. — Что вы с ним сделали? Мой брат не мог расколоться! Как вам удалось схватить его?”

Теперь с Янукой было кончено: за три часа Курц начисто смел последние остатки его защитной реакции. Я — комендант тюрьмы, сказал он, мои функции — чисто административные. Твой брат здесь, в тюрьме, точнее в тюремной больнице, — он немного устал, но есть надежда, что он останется жив. Однако ходить он сможет не раньше, чем через несколько месяцев. Если ты ответишь на мои вопросы, я могу разрешить тебе поселиться в его камере и ухаживать за ним. Если нет — что ж, твоя воля, ты останешься здесь. Чтобы развеять последние сомнения Януки, Курц показал ему фотографию, где в полумраке вырисовывалось трудно различимое изуродованное лицо над покрытым кровавыми пятнами тюремным одеялом.

Склонившиеся над магнитофоном слушатели на нижнем этаже не уставали восхищаться изобретательностью Курца. Как только Янука заговорил, сердце Курца открылось ему навстречу: он хотел понять характер отношений между братьями, он хотел знать, что великий старший брат говорил своему любимому помощнику. К сожалению, ничего из рассказанного Янукой не могло им помочь обнаружить местопребывание великого брата. Зато неудержимый поток откровенностей Януки дал Курцу возможность лишний раз подчеркнуть, что физическое насилие — не лучшая форма допроса: насилие психологическое — вот что приносит плоды.

И с этими словами, закрыв для себя вопрос о Януке, поскольку



ку Янука для него был исчерпан, Курц отправился на север, на свидание с доктором Алексисом, нисколько не смущаясь суровым запретом Миши Гаврона вести с Алексисом дела.

*Сокращенный перевод с английского Нины Воронель.*

*(продолжение следует)*

**Всеизраильский фонд поощрения русскоязычной культуры  
присудил  
премию имени Арье Рафазли за 1984 год  
Александрю Воронелю  
за книгу  
"Трепет иудейских забот"**

Судьба еврейского интеллигента определяется двумя темами: Россия и еврейство, и разговор о их взаимосвязи и противостоянии составляет содержание и главный интерес этого оригинального произведения.

Широко расходявшаяся в Еврейском Самиздате, частично опубликованная в самиздатском журнале "Евреи в СССР", в неполном виде изданная несколько лет назад, ставшая библиографической редкостью, эта книга теперь впервые приходит к читателю в своем полном и завершенном виде.

**Цена книги — по заказу — 4 доллара (за рубежом 8 долларов). Чеки и заказы принимаются по адресу: "Foundation Moscow—Jerusalem P. O. B. 7045, Ramat—Gan, Israel.**

**КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"**

**АЛЕКСАНДРИ ЛЕВ ШАРГОРОДСКИЕ,  
ФАКУЛЬТЕТ ФАРШИРОВАННОЙ РЫБЫ  
(юмористические рассказы и повести)**

240 стр

10 долл.

"Шаргородские — это два Вуди Аллена, прибывшие к нам из России", — пишет "Журналь де Женев" "Шаргородские — блестящие наследники традиций Зошенко и Бабеля", — добавляет парижская "Нота бене". А сами авторы скромно говорят о себе "Мы — это Зошенко, Бабель, два Вуди Аллена, братя Гонкур и сестры Федоровы, вместе взятые".

Новый сборник произведений известных авторов заставляет плакать и смеяться, вспоминать и грустить. Эта книга так же обязательна в вашей библиотеке, как "Дацзыбао" Игоря Гарика. Даже в двух экземплярах. Потому что один у вас немедленно "уведут" друзья.

**Предварительные заказы и чеки направляйте по адресу "Moscow—Jerusalem" P.O.B. 7045, Ramat - Gan, Israel**

## ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Марк Азбель

*Памяти Ильи Привороцкого, доктора физико-математических наук, приехавшего в Израиль в 1974 году и покончившего с собой во Флориде в 1980 году.*

### ПИСЬМА ИЗ ИЗРАИЛЯ

Письмо первое:  
наука по-еврейски  
и  
наука по-американски

*“Не учитесь у Эйнштейна!”  
(Американские профессора —  
американским студентам)*

Недавно мои израильские коллеги с изумлением рассказали мне, что один из известнейших советских физиков, подавший заявление на выезд в Израиль, сообщил: по приезде в Израиль он готов возглавить здешние исследования по физике плазмы. Рассказывалось об этом как, скажем, о согласии стать президентом Израиля.

После семи израильских лет реакция израильтян меня уже не удивляет. Понятна мне и та скромная гордость, с которой советский ученый с мировым именем соглашается возглавить израильскую физику плазмы. Он ведь и в самом деле — один из крупнейших ученых мира в этой области, автор книги, переведенной на многие языки, лауреат советской Государственной премии. Несомненно, израильтяне с удовольствием и удовлетворением примут его предложение. Не случайно же крупных советских ученых приглашали на работу сразу же после подачи заявлений на выезд, избирали почетными докторами, членами научных обществ Израиля. Когда в 1972—1974 годах телефон-

---

В отличие от обычной практики любые перепечатки этой статьи приветствуются и одобряются. Эти письма — для тех, кто в беде.

ная связь с Израилем работала почти безукоризненно, несколько физиков-отказников даже читали по телефону лекции израильским студентам и консультировали израильских коллег. Это было дорогое удовольствие: на четыре часа телефонных лекций тратилась месячная зарплата профессора. Но не зря ведь советские физики и математики столь высоко котируются во всем мире! Не зря ведь их приглашают делать доклады на крупнейших международных конференциях! Такие приглашения получали и ученые-отказники. На их московском семинаре побывало за время его существования больше зарубежных Нобелевских лауреатов, чем на всех заседаниях советской Академии наук, вместе взятых. Семинар этот завоевал признание и поддержку известнейших ученых мира.

Все это казалось понятным и естественным — до той поры, пока советские ученые не начали эмигрировать в Израиль и Америку. А тогда стали обнаруживаться кое-какие странные факты. Дорогостоящие лекции и консультации по телефону никому негодились. Статьи ученых-эмигрантов с удивительным единодушием отвергались научными журналами. Раньше можно было списать это на трудности переписки с журналами и рецензентами, когда находишься в состоянии “глубокого отказа”. Но вот, приехав в Израиль и будучи переполнен научными идеями, я в первый же год отправил в печать 12 статей. Отвергнуты из них были — 12? И отвергнуты по причинам, для меня не просто непостижимым, но звучавшим слабо прикрытым издевательством. Рецензии не содержали ни слова научной критики, научное содержание и ценность статьи даже не обсуждались — их заменяли смехотворные рассуждения о том, что статья написана непонятно и читателю будет недоступна. Слово это не читателя дело разобраться в статье?! А некоторые рецензии просто изумляли своей наглостью — рецензент откровенно признавался, что он статью не понял, а потому — печатать ее не следует. Пришлось переписать статьи, сделав их понятными хотя бы для рецензентов, — и тогда все они были безоговорочно приняты.

Аналогичная судьба постигла мои первые доклады на конференциях, семинарах, коллоквиумах. Во время каждого очередного выступления и после него в зале царил гробовое молчание. И это означало — лекция или доклад пропали зря, это означало — никто ничего не воспринял. Все вежливо улыбались, вежливо расхо-

дились, а в моей душе оставались глубокая обида и тягостная пустота.

Через несколько лет после эмиграции кое-кто из советских ученых начинал преуспевать. Любопытно, однако, что успех далеко не всегда совпадал с оценкой данного ученого в Советском Союзе. Нередко преуспевали "не те": ученик, например, обгонял своего — более талантливого! — учителя. Видимо, на Западе дело было не только в таланте. В среде бывших советских ученых росли и множились глубокие обиды, тем более глубокие, что причины успехов и неудач оставались не понятыми, не разгаданными, не постигнутыми. Человек упорно работал, добивался результатов, писал статьи, даже публиковал их, — а университет почему-то упорно не желал оформлять его на постоянную ставку\*.

...Я посвятил эту статью Илье Привороцкому — талантливому физику, которого я знал с его студенческих лет в Харькове, еврею, защитившему докторскую диссертацию в Институте физических проблем у Капицы и работавшему в престижнейшем советском Институте теоретических проблем имени Ландау. Приехав в Израиль, он устроился в хайфском Технионе на стипендию Сохнута (Еврейского Агентства). В рамках помощи новым иммигрантам Сохнут обычно платит иммигрантам-ученым зарплату в течение трех лет — при условии, что университет обещает "серьезно" (!) рассмотреть вопрос о принятии этого ученого затем на постоянную работу. Такая система, естественно, вызывает заинтересованность университетов в принятии на временную работу "даровых" ученых. Если оказывается, что для окончательного решения вопроса о постоянстве университету нужны "еще год-два", Сохнут нередко идет и на такое продление. Привороцкий не получил "постоянства" по истечении обычных трех лет. Он проработал еще два года на "продленной" сохнутовской стипендии. что было неприятно и даже немного унизительно. Пять лет спустя, непризнанный, оскорблен-

---

\* На Западе спустя 5–7 лет после окончания университета ученый, если он хорошо проявил себя, получает так называемое "постоянство", то есть постоянную работу (нечто вроде того, что мы имели в России), с которой выгнать его — без особых оснований — уже нельзя. В отличие от этого, работа не постоянная или по контракту, — это работы на строго обусловленный промежуток времени (например, на год-два), по истечении которого контракт либо продлевается, либо прерывается, и человек вынужден искать новое место.

ный и обиженный на Израиль, он уехал в Америку и начал работать в университете во Флориде. Я встретился с ним еще через год. Хорошо помню, с какой радостью он говорил, что вот здесь, в Америке, его оценили, что сейчас он подает на конкурс на постоянное место, что он это место получит и Бог с ним, что это место (эквивалентное доцентскому в СССР) ниже того, которое он имел в России и на которое претендовал в Израиле, — зато постоянное. Немного знакомый к тому времени с Западом, я попытался настроить его на менее уверенный лад. Мне это не удалось. А еще через пару месяцев я узнал, что он не получил не только постоянного места, но даже просто продления контракта, — и в итоге оказался в пустоте (ибо в Америке Сохнута не существует).

Никто не знает, почему именно человек кончает с собой. Но факт остается фактом: Привороцкого нет, талантливый физик покончил самоубийством.

Это, конечно, крайний случай. Но примеров не столь трагичных можно привести множество. Я помню обиды другого бывшего советского физика, профессора Н. С. В СССР он входил во Всесоюзный совет Академии наук по тонким ферромагнитным пленкам. Приехав в Израиль, он выразил готовность возглавить институт по исследованию этих пленок (такого института в Израиле не было и его следовало создать специально для Н. С.). На худой конец, Н. С. готов был удовлетвориться должностью “полного профессора” — разумеется, с “постоянством”. Предложение “постоянства”, но в должности, эквивалентной доценту, или полного профессора, но поначалу без “постоянства”, он воспринял как “типично израильское издевательство”. Таким же “издевательством” прозвучало для него и предложение Тель-Авивского университета отложить менее актуальные ферромагнитные пленки и заняться тонкими пленками из полупроводников, которые нужны промышленности и более интересны сегодняшней науке. Полагая, что от крупного ученого нельзя требовать отказа от личных интересов во имя суетных, сиюминутных соображений, гордый Н. С. отправился в Америку. Не встретив ожидаемого “понимания” и там, он перебрался в Канаду, где, в конце концов, принял весьма нелестное предложение какой-то отнюдь не престижной фирмы. Тематику при этом все равно пришлось сменить — но ведь все-таки не в Израиле, а в Канаде, а это, согласитесь, как-то утешает...

Может быть, все дело в том, кто именно приезжает из СССР? КГБ нередко утверждал (а некоторые мои коллеги подтверждали), что подает на выезд тот, кто исчерпал себя как ученый и ищет иной славы и иных возможностей. Но в отношениях советских (и бывших советских) ученых с научным миром Запада есть и другие настораживающие моменты. Почему многие известнейшие советские ученые так регулярно жалуются, что их работы мало цитируются западными коллегами? Почему — спустя годы — их открытия порой переоткрываются в Америке? Почему те, кого больше всего цитируют в США, зачастую не те, кто пользуется наибольшей известностью в России? Не говорит ли все это о каком-то загадочном “несовпадении тональностей” науки по-советски и науки по-американски?

...Во время одного из моих визитов в США произошло печальное событие: в России умер один из крупнейших советских физиков. Я предложил американским коллегам послать телеграмму соболезнования. В ответ я услышал: “А кто он такой?” Дело, замечу, происходило в одном из лучших американских научных центров — Ай-Би-Эм.

После этого я отправился в библиотеку и стал листать “Индекс научного цитирования” (ИНИ) — журнал, где указываются все ссылки на ту или иную научную работу каждого автора. Этот журнал создан с чисто научной целью — помочь ученым в их работе. Если я начинаю исследования в новой для меня области и знаю только имя одного из ее основателей, мне достаточно заглянуть в ИНИ, чтобы найти названия тридцати, пятидесяти, ста статей, цитирующих его работу и охватывающих все последние достижения в интересующей меня области. Но есть тут и другой аспект. По числу ссылок на ту или иную работу можно оценить ее относительную научную значимость. Появился даже термин “научный бестселлер” — так называется статья, собравшая 100—150 ссылок на протяжении десяти лет. Будущая “нобелевская” статья собирает обычно свыше 1000 ссылок. Среднее же количество ссылок на неплохую статью — семь. Очень многие статьи вообще никогда не цитируются. Это означает, что они были написаны зря. Непризнанные гении утешают себя — их, мол, прочтут через двадцать-пятьдесят лет. Увы! Если статью не заметили в первые два-три года, то... Есть еще шансы, что результат статьи переот-

кроют со временем (если в нем было что-то значительное), но практически нет шансов, что статью перечтут. Старые журналы никто не перечитывает!

Итак, степень научного цитирования — один из наиболее объективных критериев реального вклада в науку. И вот я открываю ИНИ и обнаруживаю, что в этом отношении ситуация с советской наукой — катастрофическая. Хороший американский (или израильский) ученый получают, как правило, вдвое, втрое больше ссылок, чем крупный, а иногда и крупнейший советский ученый. А это означает, что воздействие на науку среднего американского физика оказывается подчас более значительным, чем крупного советского ученого\*.

Заинтригованный этим, я попытался проследить — в той области физики, где я мог судить профессионально, — всегда ли так было. Оказалось, что всего лишь 18 лет назад ситуация была более или менее “объективной”: цитирование бесспорных “корифеев” шло хотя и безусловно в пользу американцев, но с разницей не больше 50 процентов. Однако с годами эта разница непрерывно росла. За 1975—1981 гг. (согласно “Nature”) цитирование советских журналов упало на 11 процентов, американских — возросло на 12 процентов. 18 лет такого отставания привели к разрыву в цитировании в три раза.

Значит, дело не только, а иногда и не столько в степени таланта. Дело в чем-то ином. И в чем-то не случайном, не связанном с переездом советских ученых, не зависящем от того, кто и куда едет. Мои израильские коллеги в 1977 году подтверждали этот вывод. “Конечно, — говорили они, — вы, как ученый, крупнее нас, — однако в очереди на приглашения в лучшие научные центры вы будете последним”. И в течение первых двух-трех лет это абсолютно соответствовало действительности. Даже студенты, только что окончившие докторантуру (по советским меркам — свежее испеченные кандидаты), подчас получали больше приглашений, чем маститые советские профессора.

Сегодня, думается мне, я понимаю, в чем здесь загадка. Конечно, моим наблюдениям всего семь лет от роду, они могут быть не полны, а в чем-то и ошибочны, — но пусть меня поправит тот, кто лучше разобрался в ситуации.

---

\*Журнал “Nature” (26.4.1984) подтверждает: “Статьи из лучших советских журналов цитируются в 13 раз реже, чем из соответствующих американских”.

Если бы мне предложили сформулировать в одной фразе, в чем разница между физикой в Советском Союзе и физикой на Западе, я бы ответил: в Союзе физика — это искусство; в Америке (а значит, и в Израиле, который в научном отношении является 51-м американским штатом) физика — это бизнес. А недавно мне пришла в голову и еще более еретическая мысль. В нарочито заостренной форме ее можно выразить так: Геббельс был прав — существует наука арийская и наука еврейская. Наука в Советском Союзе и отчасти в Европе — наука еврейская. Наука в Америке и Израиле (!) — это наука арийская.

Мысль эта пришла мне в голову при чтении книги Доры Штурман, в которой она описывает характер Троцкого. В этом характере мне вдруг почудилось что-то страшно знакомое. Где-то я уже читал нечто подобное... И вдруг я вспомнил: в западной биографии Эйнштейна!

В России мы привыкли к образу доброго, всепрощающего, всепонимающего, скромнейшего Эйнштейна. В жизни это был человек, плохо понимавший возможность чьей-либо правоты, кроме своей собственной; резкий и нетерпимый в споре; готовый прислушаться к мнению лишь немногих избранных. Узнав это, меньше удивляешься тому, что у Эйнштейна никогда не было настоящих учеников, что он не создал и не оставил школы. Характер Эйнштейна подозрительно напоминал характер другого известнейшего еврейского физика — величайшего советского теоретика Льва Ландау. (Но в России к диктатуре не привыкать, и Ландау сумел создать блистательную школу.)

И вдруг величайшие евреи всех времен и народов, евреи, наложившие свою печать на развитие цивилизации, показались мне удивительно похожими друг на друга. Моисей, Маркс, Фрейд, Эйнштейн, Троцкий — все это люди одной всепоглощающей идеи. Люди, для которых Теория имела бесспорный приоритет перед Экспериментом. И если Эксперимент не согласовался с их Теорией, тем хуже было для Эксперимента. Их Теории всегда строились чисто умозрительно, далеко, почти бесконечно далеко от Эксперимента. Не случайно, создавая свою специальную (частную) теорию относительности, Эйнштейн (как недавно выяснилось) не знал основополагающего опыта Майкельсона (впервые экспериментально доказавшего неудовлетворительность ньютоновской



физики\*) . А когда в 1922 году мир, и не только научный, затаив дыхание, ждал результатов проверки невероятного предсказания общей теории относительности — гравитационного притяжения света звездой! — был один лишь человек, которого это мало интересовало, — Эйнштейн. Он заранее знал, что результаты эксперимента не поколеблют его теорию. Столь же характерным было и то, что для Эйнштейна основную роль всегда играла общность, всеобъемлющность, универсальность Теории. И такая Теория должна была строиться почти из ничего! Знания, что существует электрон, Эйнштейн полагал достаточным для построения всей теории элементарных частиц. Не случайно Эйнштейн оставил математику (где считал себя более талантливым, чем в физике). Он оставил ее потому, что не видел в ней проблемы, которая объединяла бы всю математику и определяла все ее дальнейшее развитие.

Разными были таланты великих евреев, разными последствия их деятельности. Однако подход их — от Теории к Эксперименту — был единым. Он оказался благотворным в случае Эйнштейна; губительным в случае Маркса и Троцкого; ведущим к великим поискам, великим открытиям и великим ошибкам в случае Фрейда; во многом определившим взлеты и падения еврейской судьбы в случае Моисея. Но у всех у них при этом было столь много общего, что об этом даже страшно думать. Настолько много, что в эту общность вписывается и еще один великий еврей — Христос. Не зря значительную часть евангелий пришлось “зачислить” в апокрифы — Христос этих евангелий слишком уж похож — нетерпимостью, суждениями и даже биографией — на профессиональных революционеров-большевиков. (Кстати, американский исследователь Д. Кармайкл утверждает, что Христос и был революционером, и распяли его за мятеж против Рима.) Но даже если оставить в стороне апокрифы, позабыть практиче-

---

\* Этот опыт, если угодно, продемонстрировал, что и всемогуществу положен предел. Вообразим себе супермена, который мчится за супершпионом со скоростью света. Вот он вскочил на суперэскалатор, который тоже движется со световой скоростью, и побежал по нему, надеясь ускорить погоню. Глупый супермен! Он зря тратит суперсилы. Все равно приближается он к супершпиону все с той же световой, а не суперсветовой скоростью.

Так вот, Эйнштейн теоретически предсказал этот парадокс, не зная, что Майкельсон экспериментально его обнаружил.

ское “плохое” воплощение “хорошей” христианской идеи (правда, знакомо?) — крестовые походы, инквизицию и религиозные войны, — все же останется то, что так блистательно сформулировал Андрей Синявский: “Жить по-христиански нельзя, по-христиански можно только умереть”. Иначе говоря, в данном случае Теория противоречит основному из Экспериментов — самому существованию Жизни. И автором этой Теории был еврей!

Хочу подчеркнуть: я не даю оценок, не ставлю “отметок” ни евреям, ни неевреям. Я всего лишь хочу обратить внимание на одну особенность еврейской мысли: Теория, Идея превыше всего, даже их опровержения самой Жизнью. Конечно, когда я говорю о еврействе, я вполне понимаю неизбежность исключений. Нация определяется генетически, статистически, психологическим складом, а не только фактом рождения. Я видел евреев, которые были по сути своей русскими, и русских, которые были по своему характеру евреями. Сами мои рассуждения тоже несут печать еврейской склонности к глобальному обобщению, к созданию “единой теории”, даже в подгонке эксперимента под теорию. Несомненно также: мои спекуляции весьма спорны. А потому — вернемся от затянувшегося лирического отступления к эксперименту: к тому, что происходит в науке в СССР и на Западе.

\* \* \*

В России вершину научной иерархии венчает фундаментальное Знание, то есть Теория и теоретики. Ниже располагаются экспериментаторы, почтительно взирающие на теоретиков снизу вверх. И уж только отпетые неудачники отправляются в прикладную науку и работают, скажем, в каком-нибудь институте огнеупоров или стали и сплавов.

Возможен ли такой подход на Западе, где основу основ составляет бизнес? И если даже отвлечься от материальных соображений... Западная наука восходит к Ньютону, а кредо Ньютона: “Гипотез не измышляю!” Именно этому кредо следовали великие Фарадей и Резерфорд. И потому в Америке пирамиду науки венчают — “прикладники”, пониже толпятся экспериментаторы, и уж вовсе у подножия пирамиды находятся теоретики, которые обслуживают экспериментаторов, — делают то, что изволит и что велит Его Величество Эксперимент. Потому и роль теоретиков, как и всякой услуги, — пошевеливаться и поживее перебежать

туда, куда надобно. Впрочем, таковы должны быть и все остальные. Никому в американской физике не дозволено слишком замыкаться в башне из слоновой кости.

А теперь сопоставим работу научных учреждений в СССР и на Западе. Характерной для России является чрезвычайно высокая концентрация ученых в одном месте. (Я каждый раз имею в виду физику, еще точнее – физику твердого тела; кажется мне, однако, что мои наблюдения типичны и даже не только для науки.) Количество крупных ученых, работающих в Москве, составляет, вероятно, 70 процентов общесоюзного. Доля ученых, сосредоточенных в Москве, Ленинграде, Харькове, Новосибирске, Киеве приближается, пожалуй, к 90 процентам, а может, и выше. Это означает, что наиболее значительные научные семинары и коллоквиумы посещает большинство физиков страны! В результате, на семинаре, основанном Ландау, можно было получить представление обо всем, что происходит в советской и мировой физике. Если советский физик в России делал интересную работу, ему достаточно было доложить ее на семинаре Ландау или на коллоквиуме Капицы. После этого все знали о существовании этой работы и все, кого она интересовала, могли лично связаться с автором, узнать все подробности, получить исчерпывающую информацию\*.

В результате, то, как был построен доклад и насколько понятно написана статья, оказывалось не столь уж важным. В сочетании с ограничениями на объем статьи, в сочетании с тем, что ни зарплата, ни положение автора от качества написания статьи

---

\* Может показаться, что советская система гораздо эффективнее, поскольку позволяет ученым гораздо проще и быстрее общаться друг с другом. В действительности она приводит к высокой мере единообразия – и в научном подходе, и в выборе научной проблемы. На Западе многообразие – буквально закон. Хороший университет, как правило, не примет в докторантуру собственного выпускника, чтобы ученик не оказался слишком похожим в научном отношении на своего учителя. Считается абсолютно обязательным для будущего ученого побывать в плавильном котле десятка разных научных школ, ибо лишь повидав великое многообразие стилей, он выработает свой путь в науке, – а попутно избавится от чрезмерного пиетета перед каждым из носителей разных стилей. При том, что для связи с любым местом западного мира достаточно снять телефонную трубку и набрать (за счет своего университета) довольно длинный номер, новости распространяются здесь буквально со световой скоростью. Конечно, при условии, что они заслуживают такой скорости!

не зависели, возникало своеобразное высокомерие по отношению к слушателю и читателю. "Хорошую статью все равно прочтут. Если дурак-читатель ее не понимает, тем хуже для него". Таков был подход автора, таков был подход рецензента. Докладывая у Ландау, я обращался лично к Ландау и убеждал в своих идеях именно его. Пара десятков лучших физиков страны в первых рядах, видя согласие с докладом великого "Дау", напряженно постигали его содержание и изредка задавали вопросы. Полторы сотни остальных присутствовавших безмолвствовали. Свои статьи в СССР я писал сразу "набело", не затрудняясь даже перечитывать их.

Американские ученые разбросаны по градам и весям. Крупнейший научный центр — Гарвардский университет — имеет трех-четырёх постоянных теоретиков в области физики твердого тела. Их коллеги на западном берегу находятся на расстоянии пяти часов лета и трех часов разницы в поясном времени. До коллег в Европе семь часов лета и шесть-семь часов разницы во времени. Доложить работу сразу всем практически невозможно. В результате, роль доклада на международной конференции, впечатление, которое было вынесено слушателями после доклада в крупном университете, возрастают неизмеримо. Качество написания статьи оказывается столь важным, что недооценка этого научной смерти подобна. Гигантское, поистине фантастическое "предложение" статей со стороны тысяч ученых, практическая невозможность прочесть даже малую толику публикуемых работ, — и следовательно весьма невысокий "спрос", — приводят к ситуации, типичной для западного рынка вообще: перепроизводству "товаров" и необходимости завоевывать "покупателя". Эта ситуация обостряется буквально с каждым месяцем. Один из американских физиков рассказывал мне, что всего 10—15 лет назад, когда крупнейший американский физический журнал "Физикал Ревью" выходил раз в месяц в виде одного тома, он просматривал в журнале все статьи и прочитывал все статьи по своей специальности и все письма в редакцию (письма в редакцию — наиболее интересные, наиболее актуальные результаты, оформленные в виде небольшой статьи). Сегодня журнал выходит уже в шести (!) огромных томах каждый месяц, письма в редакцию — еженедельный томик и потому: "Теперь я просматриваю письма в редакцию и статьи по своей специальности, а некоторые из них, наиболее важные, — читаю". Значит, когда взгляд

читателя останавливается на статье, судьба ее решается буквально в первые минуты, необходимые, чтобы просмотреть резюме и выводы. Если в этот момент читатель потерян, он, может быть, потерян навсегда. Вот почему написание статьи все больше и больше становится на Западе почти таким же искусством, как телевизионная реклама. Нужно уже в резюме убедить читателя, что ему необходимо эту статью прочесть. Нужно изложить выводы так, чтобы он их сразу усвоил и сразу понял, как их можно применить в его работе. Каждый параграф, каждая глава должны строиться так, чтобы уже начало чтения давало основную информацию.

Такое написание статьи может отнять до 30 процентов времени ученого. Но только при этом условии его статьи будут читаться. Ни у кого на Западе нет времени заниматься расшифровкой статей, которые могут оказаться — а могут, с куда большей вероятностью, не оказаться — интересными. Думаю, именно поэтому цитируемость советских статей падает. Вал научной продукции удваивается сейчас каждые несколько лет, и статьи в советских журналах, — которые, как правило, написаны плохо, — все чаще остаются непрочитанными.

Аналогична на Западе ситуация с докладами. Доклад — это час, в течение которого приводятся не выкладки, не доказательства, а выводы, результаты и их место в общей системе знания. Приводятся для слушателя, как правило, не работающего в данной области, но желающего понять, как он может использовать новое знание в своей работе. Короче говоря — это опять в какой-то мере реклама. И в ней не работает советский метод: от общего к частному (к тому же упоминаемому как бы между прочим). Американский метод — предельно конкретен: от сугубо частного к общему, упоминаемому всего лишь между прочим.

Завоевание слушателя и читателя должно происходить в Америке непрерывно. В России с той минуты, как ученый попал в научный институт или университет, ему нужно хорошо “потрудиться”, чтобы оттуда “вылететь”. Практически, когда молодой кандидат наук поступает младшим научным сотрудником в хорошее место, его дальнейшая карьера почти обеспечена. А если он сделает что-то серьезное в науке, — и если он не еврей и не диссидент, — специально для него могут добиться новой должности. Заниматься в чисто научном институте он может тем, что ему Бог на душу положит, — кому какое дело?

Путь американского ученого — разительно иной. Он поступает, например, в Гарвардский университет. Там он кончает первые три года обучения. Следующие годы он учится в Корнельском университете, где получает докторат (“кандидатскую”). “Стажировку” (постдокторат) проходит в университете Беркли. После этого он поступает на работу (я перечисляю лучшие места) в “Лаборатории Белл”. Пройдет лет пять-шесть, прежде чем его работа будет оформлена как постоянная. В каждом новом месте, новой школе, среди новых учителей он должен снова и снова доказывать свою значимость! Но и после того, как он получит постоянную работу, его зарплата, его возможность роста, все, что связано с научной карьерой, будет до отставки — или до гробовой доски — зависеть от того, как он себя проявит. Он будет заново оцениваться на каждом докладе, на каждой конференции. Даже Нобелевский лауреат знает, что после первого же неудачного доклада поползет слушок — может, выдохся? А выдохся — это значит: все, больше не интересен. Как в спорте — свой класс надо подтверждать непрерывно. Ибо даже сама возможность заниматься наукой, то есть получение средств на нее — так называемых “грантов”\*, зависит от того, чем занимается ученый, насколько это актуально, какие результаты он получает и как он их преподносит.

Мобильность — условие научного выживания на Западе. Хотя

---

\* Гранты являются одним из основных способов финансирования научных исследований на Западе. Любое научное исследование требует денег — на аппаратуру, на поездки к коллегам, на оплату публикаций статей, на оплату студентов, докторантов, постдокторантов, временных сотрудников и т. д. Эти деньги, гранты, можно получить из множества правительственных и специальных научных фондов. Условие получения — положительная рецензия на “заявку”. В заявке указывается тема, публикации по теме, предположительное содержание работ, сроки и т. п. Не следует смешивать это с советским “планированием”. Втирать очки здесь не приходится. Тут нужно совершенно честно написать, какие работы уже сделаны, какие есть основания полагать, что будет сделано что-то серьезное в дальнейшем, короче — все, что может подтвердить: деньги на данное исследование стоят дать. Заявка обычно посылается на отзыв нескольким рецензентам. Замечу, кстати, что рецензирование — вообще обязательная часть научной жизни на Западе. Оно начинается с той секунды, когда ученый оформляется в докторантуру, и кончается только с его уходом в отставку. Поэтому во всех своих неудачах винить приходится не университет, не фирмы, а то негласное общественное мнение, которое об ученом сложилось (и которое в его силах изменить).

почти любая научная проблема стареет в течение короткого времени, в России, тем не менее, человек может заниматься одним и тем же вопросом и десять, и двадцать лет, а подчас и всю жизнь. В СССР ученые шутят: "Мы делаем то, что можно, так, как нужно; в Америке делают то, что нужно, так, как можно". Они не подозревают, как много правды в этой шутке. В США студент, который делал докторат по теории элементарных частиц, может затем заняться прикладной физикой, и это никого не удивит. И наоборот: такая сугубо "земная" (и потому сверхбогатая) фирма как Ай-Би-Эм тратит на чисто научные исследования больше, чем весь Израиль. В Ай-Би-Эм, например, пытаются обнаружить "монополю Дирака" — элементарный носитель одного магнитного полюса. Ай-Би-Эм поступает так не только потому, что это дает прекрасную рекламу, но и потому, что человек, поднявшийся до вершин научного эксперимента, незаменим в прикладной физике и технике. И потому также, что, например, Скотт Киркпатрик, изучая сугубо академический вопрос о поведении так называемых "спиновых стекол", внес очень важный вклад в конструирование компьютеров. В отличие от России, на Западе наука не разделена на непроницаемые отсеки. Мобильность приводит к невиданному в условиях России взаимодействию ученых: я знаю, что делать, ты знаешь, как делать, он знает, для чего это нужно, а еще кто-то знает, где это можно сделать, — давайте же объединимся и в течение двух недель сделаем прекрасную работу!

Я хорошо помню, как, совершая свою первую научную поездку по Америке, чувствовал, что вот-вот скончаюсь от переутомления. Меня привозили в университет в девять утра, где я встречался с ученым А. В 9.45 меня уже ждал ученый Б. В 10.30 — ученый В. Затем за ланчем мы разговаривали все вместе. Эта мясорубка продолжалась до пяти-шести вечера. Она была тем мучительней, что когда я только начинал всерьез обсуждение проблемы, уже надо было идти на следующую встречу. Я еще не знал тогда, как это много — 45 минут, — для того, чтобы понять, целесообразно ли дальнейшее научное общение. Я еще не знал, что цель приезда — это интенсивнейшее взаимодействие. Когда во время этой первой поездки меня спросили — дело происходило в "Лабораториях Белл", — собираюсь ли я "взаимодействовать" с тамошними учеными, я гордо ответил: "Конечно, если их заинтересует биофизика, которой я занимаюсь сегодня,

а не физика твердого тела, которой занимаются они и которой я занимался вчера". После такого ответа только что сделанное мне предложение: провести в "Лабораториях" неограниченное время, и чем больше, тем лучше — вдруг оказалось недействительным "из-за урезанного финансирования". Когда я усвоил урок — деньги тут же нашлись.

Подобный урок тем важнее усвоить, что в противном случае ты оказываешься за бортом мировой науки. Кто не "взаимодействует", кто не участвует в коллективной охоте на проблему, — тот работает "в стол", то есть на научную свалку. К сожалению, именно такой оказалась судьба многих советских и бывших советских ученых. Попытка заниматься сугубо своей, уже устаревшей или еще не ставшей актуальной темой обречена на провал. Именно поэтому сегодня звучали имена, вчера еще незнакомые. Это имена тех, кто оказался на гребне сегодняшних научных интересов, и потому полученные ими результаты взволновали всех, работающих в данной области. Сегодня они — произнесем это слово — в моде. Их всюду жаждут видеть. Им готовы оплатить проезд на научную конференцию. Через несколько лет тема будет исчерпана, и если они вовремя ее не покинут — они будут забыты.

\* \* \*

Непонимание механизма американской науки приводит к последствиям, в буквальном смысле трагическим. Как привыкли мы в России к знакомым, таким приятным словам: "Служение Муз не терпит суеты..." Как свято мы верили, что суета и (произнесем и это слово) проституирование научной деятельности, эти "чего изволите?" "что требуется?" "что угодно?" — противопоказаны высокой науке! Мне и сегодня мила эта мысль, да смущают факты. На протяжении последних тридцати лет своей жизни Эйнштейн так и не приблизился к решению задачи, поставленной им перед самим собой, — созданию единой теории поля. А спустя менее тридцати пяти лет после его смерти множество ученых, ни один из которых порошью не мог равняться талантом с Эйнштейном, коллективно подошли вплотную к полному решению этой задачи!

Я вынужден констатировать, что так же, как западный бизнес, не одержимый никакими идеалистическими соображениями, за-



валивает потребителя прекрасными товарами, так же и прагматическая, быть может — даже не слишком симпатичная, — западная наука с ошеломляющей скоростью решает задачи, сама возможность решения которых десять-двадцать лет назад и не снилась никому из нас. При этом западные ученые решают задачи в областях, казалось бы — необычайно от них далеких. Крупнейший теоретик в области физики твердого тела, Нобелевский лауреат Филипп Андерсон пишет статьи по теории биологической эволюции! Эта широта, мобильность, готовность взяться за любую интересную задачу, достичь в ней конкретных результатов, до отказа используя современную научную технику (и прежде всего компьютеры), и обязательно довести решение до понимания и сознания специалистов (а не высокомерно отделаться написанием “высоколобой”, но непонятной статьи) — в высшей степени характерная черта самых выдающихся западных ученых.

Я бы не хотел, чтобы мои слова прозвучали апофеозом американскому пути в науке\*. Меньше всего мне симпатичны рассуждения о том, “что такое хорошо и что такое плохо”. Я всего лишь рассказываю об особенностях этого пути. Именно так движется сегодня американская (и, значит, и израильская) наука. Этот путь можно принять, его можно отвергнуть, им, как Нью-Йорком, можно восхищаться или возмущаться; но в современном прагматическом западном мире этот путь — и чем дальше, тем больше — оказывается единственно возможным, нравится нам это или не нравится.

Если бы мои коллеги из СССР, выехавшие в Израиль, в Амери-

---

\* Я мог бы, например, привести множество отрицательных последствий американского пути. Конкуренция и перегрузки ведут к нередкой поверхностности, а подчас и злобности американских “закрытых” научных рецензий. (В этом отношении европейцы сдержаннее и объективнее, советские же рецензии и рецензионная политика /в таких журналах, как ЖЭТФ и “Письма в ЖЭТФ”/ могли бы служить образцом научной добросовестности). Впопыхах в США могут и проглядеть крупное открытие, если оно оказалось в стороне от столбовой дороги (но тогда — ненадолго: как ноющий зуб, оно не даст себя забыть и спустя 2–3 года начнет новую дорогу). Отбор основных (“приглашенных”) докладов на крупные конференции и съезды Американского физического общества подчас напоминает выборы в советскую Академию наук: попадают только достойные, но не все достойные попадают. В погоне за престижем (а в конечном счете финансированием) научные учреждения ведут настоящие политические баталии: кто больше даст таких докладчиков. И так далее...

ку, во Францию, спросили меня, что я могу им посоветовать, я сказал бы, пожалуй: если хотите остаться в науке, поймите, что это иная научная игра, чем та, к которой вы привыкли в России. Не жалейте ни сил, ни времени на то, чтобы выучить правила этой новой для вас игры. Чем больше времени вы “экономите” на обучении, тем больше потеряете потом. Каких бы результатов вы ни достигли, все научные отзывы на вас будут отрицательными.

В будущем, вероятно, различие между советской и американской наукой окажется предметом глубоких и внимательных исследований. Но понимание этого различия советскими и экс-советскими учеными мне представляется абсолютно необходимым уже сегодня, если они хотят внести серьезный вклад в сегодняшнюю мировую науку или сегодняшнюю культуру. В еще большей степени это относится к нашей попытке что-то сказать Западу в области, наиболее нам знакомой, — советской политики. Более чем скромный успех бывших советских диссидентов на Западе связан, по-моему, прежде всего с тем, что они пытаются говорить с ним на языке, для него абсолютно неприемлемым. Запад наш язык не выучит, сколь бы важным мы это ни считали. И я имею в виду не английский, французский или немецкий языки. Единственный путь что-то сказать Западу — это выучить его язык, его подход, его систему восприятий. Иного пути в западную цивилизацию нет. А пожизненная роль непризнанного гения — худшее, что можно пожелать человеку.

#### Вместо приложения

*Мне бы хотелось закончить несколькими конкретными рекомендациями тем коллегам, которые сегодня пытаются абсорбироваться в западной науке. Для начала возьмите ИНИ за последние годы и подсчитайте количество ссылок на ваши статьи в западных журналах. Сравните это с количеством ссылок на статьи тех, кого вы считаете равными себе в научном отношении. Это даст вам первое представление о вашей относительной ценности в западном научном мире. Чтобы уточнить оценку, полезно проверить, ссылаются ли на ваши работы крупнейшие ученые в данной области.*

*Если результат покажется вам глубоко несправедливым, то ради будущего благополучия осознайте, что именно таков он в глазах ваших западных коллег, и все дальнейшее зависит только от вас самих.*

*Следующий шаг — задайте себе вопрос: насколько область, в которой я работаю, представляет сегодня интерес для науки вообще и для того кол-*

лектива, где я работаю? И если вы заключите, что тема устарела, то, как это ни тяжело, — бросьте ее, найдите другую, которая будет интересовать не только вас. Наука на Западе, как правило, коллективный процесс.

(Кстати: способность вписаться в научный коллектив — важнейший и обязательный вопрос при рекомендации на любую должность на “индивидуалистическом” Западе). И если сегодня в моде баскетбол, то средний баскетболист ценится выше, чем хороший футболист, а прекрасный игрок в лапту и вовсе никому не нужен.

Если ваша тема интересна и актуальна, но на вас тем не менее ссылаются мало, — значит, ваши статьи написаны плохо. Не пожалейте времени на то, чтобы сделать их понятными даже студенту. На телевизионном диспуте Рейган и Мондейл имели по две минуты для ответа на вопрос, по 1 (одной!) — для возражения оппоненту и по 4 — для заключительного выступления; регламент — свидетельствую, сам видел! — выдерживался жестко: президента прерывали на полуслове. Научитесь и вы за 60 секунд завоевывать читателя или слушателя. Научитесь на полустранице объяснить “невежественному” (я подчеркиваю — невежественному, незаинтересованному в ваших результатах) читателю, что такого вы сделали, что оправдало бы время, затраченное им на чтение вашей статьи. Переписывайте и переписывайте ваши статьи, пока они не станут понятными.

Если вы получаете рецензии, которые удивляют вас своей глупостью и непониманием, вспомните — рецензент всего лишь моделирует несколько улучшенного читателя. Как и средний читатель, он тоже не желает тратить на вас свое время, но зато тему он знает, как правило, куда лучше, чем средний читатель. Своим непониманием он сигнализирует вам: ваши статьи пишутся зря! А потому лучше написать одну статью, которую прочтут, поймут и будут использовать, чем пять, которые незаслуженно, но неизбежно пойдут на научную свалку.

Если вы сделали доклад и не услышали после него вопросов — лучше бы вам его не делать. Ибо не сделанный доклад лучше оуклава прочавлившегося. Если вас не приглашают делать доклады — значит, ваша репутация пожирателя чужого времени прочно установилась. Знаю по собственному опыту: научиться писать и докладывать “по-западному” очень трудно. Покидая Россию, я полагал, что на это потребуются часы; спустя полгода я думал, что окажется достаточно трех лет; сегодня, на восьмом году, я все еще учусь. Вот несколько правил, которые я уже усвоил. Статья должна строиться так же, как в газете: информативное заглавие; суть, излагаемая в первом же абзаце; основные факты, излагаемые в нескольких следующих абзацах; отдельные небольшие главки, посвященные частным, менее значительным деталям; обязательные четкие выводы из главок и статьи в целом; никаких “конспектов на будущее”, столь модных в советских статьях, — если есть несколько вещей, о которых хочется сказать, значит, нужно написать несколько статей, ибо основное правило таково: одна статья — одно научное утверждение — одна мысль; один доклад — одно научное утверждение — одна научная мысль; если мыслей в статье три, то потеряются все три.

И последний совет — сугубое внимание к эксперименту. Теория на Западе имеет смысл лишь постольку, поскольку ее можно проверить экспериментом. Один из известных советских теоретиков, член-корреспондент

Академии наук СССР Г. на международной конференции величественно поправил молодого английского экспериментатора: "В теории Мотта не бывает квадратного корня из температуры, в одномерном случае температура входит только в первой степени". Эта история дошла до меня в США как научный анекдот. Уважаемый теоретик был совершенно прав, но только — теоретически. Действительно, в бесконечно больших одномерных системах этого "никогда не бывает"; однако в тех конкретных образцах, с которыми имел дело экспериментатор, только это и встречается. Конференция происходила в Европе, теоретик был из Москвы, а я об этом услышал в Америке от английского физика.

Бесспорно, переучиваться на западный стиль — трудно, скучно и не так уж приятно. Но — "надо, Федя!" И я желаю вам на этом пути успеха — так же, как желаю его самому себе.

\* \* \*

Я глубоко признателен Т. Бешер за помощь в подготовке и оформлении этой статьи и Р. Нудельману за доброе и внимательное редактирование.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"  
ВЫПУСКАЕТ НОВУЮ КНИГУ  
КИРИЛЛ ХЕНКИН  
"РУССКИЕ ПРИШЛИ!"

300 стр.

14 долл.

В своей новой книге известный автор ("Охотник вверх ногами" и другие) задается вопросом о том, как формировалась "третья эмиграция". Кто столь заботливо мог отобрать своеобразный букет талантливых писателей, неунывающих стукачей, высококвалифицированных уголовников? Кто сумел бы очистить Одессу и Кутаиси от черного бизнеса, а Вильнюс и Ригу от сионизма? Кто позаботился об очистке Москвы и Ленинграда от ненадежного элемента и об укреплении кадров радиостанции "Свобода"? Читатель уже полагает, небось, что догадывается об ответе? Так вот — его ждут неожиданности.

Заказы и чеки принимаются по адресу: "Москва—Иерусалим", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль.

Ефим Фиштейн

## ГЛЯДИМ НАЗАД МЫ БЕЗ БОЯЗНИ...

*“И рече Кузьмище: О, еретиче (Анбалевороже)!  
Помнишь ли, жидовине, в которых портах пришел  
бяше?”*

*Н. Карамзин. “История  
государства российского”, 111*

*“Предоставляем г. Винаверу и прочим ласковым  
людям прожить мафусаэловы годы в этой курьез-  
ной позиции, когда они, заглядывая пану в очи,  
умильно говорят: “А все-таки вы нас любите!” –  
а г-да Струве и Милюков отвечают: “Мм... не  
очень”.*

*В. Жаботинский. “К чириковскому инциденту”.*

Помещенные почти рядом частное письмо А. Куприна Батюшкову и размышления на эту тему М. Хейфеца\* замечательно дополняют друг друга, являя собой образцы прямо противоположных начал: с одной стороны, страстная проповедь обиженного антисемита, талантливо излагающего тысячелетние истины юдофобии, переложенная хрестоматийными, но как бы заново востраданными, вечнозелеными мифами — все это на фоне испуленного национального самообожания; а с другой — глубоко иудейская неудовлетворенность собой и миром, вечная ученическая готовность к само-совершенствованию, вера в нравственный прогресс, духовное наследие рабби Гиллеля с его “Не суди своего ближнего, прежде чем поставишь себя на его место!”. Сдается, однако, что в своей поразительной готовности расслышать дружественную нотку в любом начальственном окрике М. Хейфец на этот раз далеко выходит за границы здравого смысла. Все для него божья роса... Приглашая своих соплеменников к моральному шахсей-вахсею, он проявляет небрежение к другим устоям еврейской духовной традиции, которая все же не об одной ноге — кротость Гиллеля в ней мудро компенсируется гневом сурового Шама. Иначе давно подавиться бы нам чужими правдами.

К письму, от которого издали разит непреклонной, почти механической

\* “22”, № 36, 1984.

ненавистью к иудейству, можно было отнестись по-разному. Можно было, избегая тона плаксивой жалобы, поставить Куприна в один ряд с другими великанами российской словесности, грешившими по части художественного жидоморства, поздравить себя с тем, что вся эта морока теперь — всего лишь одно из мест нашей запылившейся культурной кладки, предмет академических споров, утративший свое бывшее бытовое значение. Можно было к месту вспомнить умное слово Жаботинского: “Мы такие, как есть, для себя хороши, иными не будем и быть не хотим”. Можно было, однако, попытаться спасти репутацию Куприна, сохранить его место в истончившемся кружке друзей еврейского народа на том сомнительном основании, что в своем презрении он до открытой вражды не снизошел. М. Хейфецу показался милее этот последний, полюбовный вариант. Доказать приятное отношение Куприна удастся неожиданно просто. Для этого достаточно представить дело так, будто Куприн еврея идеализировал, его достоинства серьезно переоценил, недостатки умалил. При таком подходе противоречие Куприна оказывается под вопросом, который решается в его пользу: не было такого противоречия! Просто в своих произведениях А. И. Куприн, будучи положительным русским националистом, рисовал еврея сочувственно — единственно с целью воспитать в своем народе пантеистическую любовь в числе прочих и к “малым сим”; в личном же разговоре любил излить душу, изболевшуюся еврейскими пороками, впрочем недопонятыми вполне. Общеизвестен, говорит М. Хейфец, закон, по которому “настоящие писатели свои главные, выношенные, выстраданные убеждения выражают именно в художественных произведениях”.

Закон есть закон, с ним не поспоришь. Можно, разве что, подивиться тому, что почти все советские и попутные им литераторы оказались в своей шизоидной раздвоенности вне этого закона. Однако не дуют в ус, творят себе, держа кукиш в кармане, словно бы и не знали о его существовании.

Закон подпирается анекдотом о встрече А. С. Пушкина с А. П. Керн. Аналогии, однако, не получается. В двух пушкинских пересказах происшествия нет никакого внутреннего противоречия, кроме стиливого. И в первом, и во втором варианте хорошо передается основная мысль поэта о том, что мгновение было чудным и легко запоминалось. Только в первом случае эта мысль изложена несколько помпезным, гипертрофированно-экстатическим слогом, модным тогда в поэтической среде, а во втором Пушкин передает ее на языке, принятом среди бывших лицеистов в свободное от версификации время. И кто знает, нет ли преувеличения в обоих вариантах?

Иное дело Куприн. В жанре рассказа он внушал читателю благородную мысль о том, что еврей — тоже по-своему человек, в эпистолярном жанре настаивал на том, что еврей — именно нелюдь, нежить. В дуалистическом мире с ним по необходимости приходится сосуществовать, как мужик сосуществует с нечистой силой, которая от этого, однако, не становится чище. Если бы русский человек мог свободно выбирать себе соседей и друзей, он предпочел бы еврея последнего дикаря-островитянина, аппетитно грызущего чью-то берцовую кость, и даже говорящую собаку, — дает понять Куприн. Дело вкуса. М. Хейфец предпочитает иметь в друзьях А. Куприна. Поэтому в деликатном, беззлобном споре он не столько полемизирует, сколько развивает мысль Куприна. Примерно так: Куприн неправ, полагая

евреев плохими, ибо на поверку они вышли и того хуже; Куприн заблуждается, веря, что вредный и грязноватый еврей будет хорош в Сионе — еврей пока везде плох. Хейфец переадресует уничтожительную критику галутному — в данном случае, грубо выражаясь, обрусевшему — еврею, выгораживая только противоречивый идеал исцелившегося израильтянина. Его комментарий — сплошной сокрушенный вздох, неопределенное обещание исправиться, призыв к своему народу впредь вести себя лучше. Призыв этот уместен почти во всех обстоятельствах — в данных же менее всего.

Дело в том, что Куприн в отличие от Хейфеца не верит в исправившегося еврея, и подделом не верит. Сионизм, по Куприну, — не благородная национальная цель, а свойственная еврейству отрицательная идея, вечное самооправдание дрянного народца, неспособного на дело сейчас и здесь (“...оттого во всем творческом у него работа второго сорта”). И верностью евреев своей религии он не “восхищается”, не “преклоняется” и за нее не “уважает”, как того хотелось бы добрейшему Хейфецу, он сухо констатирует ее как верность исходному Злу: “Религия же... говорила об одном и том же каждому еврею: ... Бог пошлет Мессию и сделает евреев властелинами мира”. Оттого не мог считать он “недостатки наши естественным продолжением наших достоинств”, почти никаких таких достоинств за нами он не признавал, как мы не признаем острые клыки хищника или распространяемое хорьком зловоние их особыми достоинствами. Хорь смердит “не со зла, не нарочно”. Так и еврей вредит “из-за тех же естественных глубоких свойств своей племенной души”. Куприн видел еврея не вульгарно-социологически как продукт каких-то неблагоприятных обстоятельств, как жертву “галутных заболеваний”, а метафизически — как воплощение Мирового Зла. Потому он и выделил их из числа всех прочих народов, показал чужеродным телом в человечестве. Он почти не дает нам заблуждаться на этот счет: “Оговариваюсь: я юдофоб только в смысле трех вещей: еврейского искусства, еврейской философии и еврейского высокомерия”. Еврейская философия, а с ней и весь религиозно-этический кодекс иудейства, были для него источником всех специфических пороков, делающих еврея отвратительным соседом по земной жизни. Для такого мыслителя хороших евреев в природе быть не может. С одинаковой брезгливостью отшатывается он и от столичного “жидочка”, и от волынского хасида, ничем не провинившегося перед своим Богом. Такой мыслитель знает лишь два варианта решения еврейского вопроса: “или рассосаться и удобрить мировую кровь своей терпкой, пахучей кровью, или быть умерщвленными”. Третьего, сионистского варианта исправления еврея Куприн не предусматривает. Это не он, а Хейфец, без особой, впрочем, уверенности, сулит вековой терапией в Сионе вывести гигантскую тавроболию наших галутных мытарств. Однако любая химчистка вам скажет, что некоторые пятна невозможно вывести без повреждения основы.

Если говорить серьезно: о каких галутных заболеваниях так охотно ведется речь? Тот обещанный через века израильтянин для нас — что марсианин, и кто знает, полюбим ли мы его еще? Зато мы дороги себе такими, какими сложились в галуте. В фарисейском раввинизме рассеянного еврейства вырос Талмуд. Еще не потеряв первой, евреи называли Вавилон

второй Родиной. Еще до разрушения Второго храма число палестинских евреев было не более трети всего еврейства. Эта пропорция восстановлена в наши дни. Было время, когда иноверцы видели в еврейском рассеянии роковое, мученическое предназначение народа-энтузиаста: проходить мир собирательным Мессией прав и правд человека. Даже если отбросить эти красоты, нельзя не признать: не в государственном зиждательстве, а в фамильном союзе проявился еврейский гений. И если мы чем-то по-настоящему интересны миру, то не своими государственными формами, а диаспорой, признанной одним из величайших чудес мировой истории, ставшей единственным многовековым доказательством, что народ, не скованный с территорией, в состоянии существовать и развиваться одной лишь силой племенного братства. Можно двумя руками голосовать за Израиль, можно на хорошем уровне обсуждать мотивы современного галута и йериды, можно толковать о разделении функций различных отрядов еврейства, недостойн лишь упрек еще не прильнувшему к эллинистическому идеалу государственности в том, что они “сиганули мимо Сиона” — такой упрек, по мне, не имеет глубокого смысла.

Как не имеют глубокого смысла и рассуждения о неких “симптомах галутных заболеваний”, якобы верно схваченных Куприным-художником, не понимавшим, что “перед ним не исконные национальные черты”. Позволительно спросить: где кончаются черты и где начинаются симптомы? Разве не одни и те же обвинения слышали мы, куда достает память? Разве не одни и те же доводы выдвигались для погромов в России при последних Романовых и в доевней Персии при последних Ахеменидах? Не над теми ли чертами так же страстно и безосновательно, как Куприн, глумился еще египтянин Апион? Философская складка еврейского лица, которую Достоевский назвал “скорбной надменностью”, а Куприн — “еврейским высокомерием”, известна еще по ниневийским барельефам Хаммурапи.

Евреи грязны физически, твердит А. И. Куприн, потому что мыться они собираются в Сионе. Хейфец находится и тут: Если бы Куприн был прав... В Стране Израила они грязны пуще того...

И в этом навете нет ничего специфически галутного. Юдофобские писатели древности вообще утверждали, что евреи произошли от египтян, одержимых паршой и проказой. И напрасно в полемике с ними указывал Флавий на постановления Моисея, предписавшего иудеям “различного рода очищения, обмывания в ключевой воде, острижение волос”. Напрасно, потому что стойкий антисемит верит только тому, чему верить очень хочется. Немытость России взгляд Куприна сквозь слезу умиления не фиксировал. Спору нет, балагула из Шклова выглядел бы, наверно, диковато в столичных салонах. Зато там были своими людьми, не грязнее прочих, Надсон и Минский, Шестов и Гржебин, не говоря уже о зубных врачах.

Я мог бы привести стороннее мнение чешского писателя Ивана Ольбрехта, изрядно пожившего в запущенных углах Подкарпатской Руси и сравнившего (в сборнике “Голет в долине”) избу еврея-бедняка с хатой соседа-русина. Но я не стану этого делать — ведь мы же не друг друга убеждаем.

В одном пункте М. Хейфец находит упрек Куприна особенно справедливым: не пристало еврею судить о русской литературе. И тут мне не обойтись без большой цитаты из Хейфеца: “Как известно, Е. Чириков был обвинен



в "антисемитизме" потому, что на обсуждении его пьесы, действие которой происходило в русской среде, сказал критикам, что они не понимают национальной специфики того произведения, о котором взялись судить, и что он предпочел бы, чтобы его пьесу судили люди, которые русскую действительность знают, т. е. люди русские, а не еврейские театроведы Санкт-Петербурга. В наше время справедливость просьбы, чтобы произведение оценили люди, разбирающиеся в национальной специфике жизни и искусства, считалось бы элементарно справедливым!"

Здесь все стоит на голое. Еврейским театроведам Петербурга Е. Чириков импонировал своим нарочитым, но, как оказалось, неглубоким юдофильством. Беда в том, что это его драматургию не спасало. Он был заведомо бездарен, обрелся, по выражению современника, "за порогом художества". Такое мнение оказалось стойким и впоследствии пересмотрено не было. "Его прозаические произведения сюжетны, — читаем мы в КЛЭ, в статье, составленной русским человеком Ник. Смирновым, — но не всегда глубоки в психологическом смысле и несколько однообразны по языку, лишенному новизны и свежести". Еврейские критики проявили элементарную порядочность, забравовав чириковское творчество по той же причине, несмотря на его демонстративный филосемитизм, правильно рассудив, что это критерий внелитературный. Тогда же и открылась цена его симпатиям. Чириков, хотя и битый не за изъязы своего бытописательства, не за огрехи в передаче сугубо русской психологической ситуации, а исключительно за литературное худосочие, поспешил-таки увязать эту критику с национальностью критиканов. Этот удар ниже пояса М. Хейфец находит "элементарно справедливый". А ведь упрек в непонимании русской национальной специфики адресован все ж таки не совсем чужим людям, он адресован еврейским театроведам Петербурга, людям изрядно обрусевшим, зачастую выкрестившимся, знающим Россию не по курсу страноведения, хотя о произведениях иностранной литературы уже на этом уровне и начинают судить. Местечковым, говоря словами Куприна, "вумным из-под себя" евреям, т. е. тем, кого можно было на русском слове поймать, столичные журналы были за семью печатями и не больно нужны.

Кстати, сам А. И. Куприн в литературных суждениях требуемой деликатностью не отличается: он вершит скорый и неправый суд над еврейскими литераторами, писавшими о душе, которая была ему принципиально чужее души японца, да еще на жаргоне, которого он знать не мог, но догадывался, что — говенный ("Чириков сам талантливее всех евреев вместе...").

И то сказать — если даже оправославленному еврею и другому инородцу России негоже судить о русской литературе в голос, тогда и вовсе некому судить, кроме — кроме самих русских, с анализом крови в кармане. Как иначе прикажете понимать вопль, артикулируемый Хейфецом за Чирикова: "...защищая равноправие евреев, он просит их уважать и считаться и с его, русского человека, национальным правом. И он — не без роду-племени!?"

Процесс уравнивания евреев в правах ни в одной стране мира не остановился перед дверью национальной литературы. В конце прошлого века, когда эмансипация евреев в Австро-Венгрии и Германии чувствительно поразила

тамошнюю словесность, было немало национально мыслящих публицистов, выступивших в защиту родной речи от посягательств конкурентов Моисеевой веры. Неловко даже как-то напоминать о более поздних выступлениях тевтонских патриотов, чей "национальный темперамент" для многих тоже явился "блестательным сюрпризом". Между тем своим современным литературным языком немцы и австрийцы в немалой мере обязаны плееде еврейских писателей и критиков, имена которых начать перечислять — не кончить. И что примечательно: не нашлось пока еврейского публициста, принадлежащего этой языковой области, который даже задним числом взялся бы популяризировать своеобразную концепцию национального права, близкую представлениям Чирикова—Куприна.

Родной речью расплавляется русский народ за свое положение гегемона в российско-советской империи. Настаивая на таком положении, как на одном из своих "национальных прав", неприлично сетовать на то, что в литературный процесс неизбежно вовлекается все больше инородцев. Евреи были одними из первых, но отнюдь не первыми и не единственными (были и до них поляк Булгарин, украинцы Сковорода и Гоголь, немец фон Визин и др.), по нужде переведшими свою словесность на русско-культурные рельсы. В последнее время появились русские писатели Фазиль Искандер, Олжас Сулейменов, Булат Окуджава и длинный ряд других, конца которому отсюда не разглядеть. Отчего же московский горец в качестве эксперта по русской душе лучше московского еврея?

Занятая М. Хейфецом покаянная позиция предает и его, понуждая к противоречиям. Выставленный в вялом споре с Куприным список литераторов еврейского происхождения, обогативших российскую словесность, сложен, как на беду, из одних лишь заслуженных выкrestов, ассимиляторов поп plus ultra, которых, по хейфецевской задумке, Куприн презирал "в первую очередь".

Хейфец, вслед за Куприным, отказывает в праве на полноценное литературное существование "русским евреям", не желающим или не могущим отказаться ни от одной из составляющих своей двуединой души (ср. манифест Юлиана Тувима "Мы, польские евреи"). Увлеченный идеей размежевания, он, не замечая этого, вытесняет в призрачные, переходные формы, в непersonы и себя — еврейского националиста и русского литератора. А между тем этой жертвы можно и не приносить, к ней не обязывает ничего, кроме собственной щепетильности. Стоит ли приводить перечень русских по крови, включившихся в чужие литературы на равных? Кто упрекал в лингвистическом грабеже Филона Александрийского, писавшего по-гречески, Иосифа Флавия, писавшего на латыни, авторов арамейских текстов Библии? "Не трогайте наш язык!" — крик души закомплексованной литературы.

(Откуда вообще это навязчивое уважение к национализму любого толка? Не рецидив ли застарелой и переродившейся интернациональной солидарности, той самой анекдотической способности еврея за компанию повеситься?)

И пока с переменным успехом идет выздоровление галутного психопата в израильской лечебнице (метафора М. Хейфеца), в России еще десятилетиями, не то веками обречены мыкаться евреи. Нехорошо обделять их правом

не только зубы чинить, но и пробовать на зуб чужое, "насаждаемое урядником", единственно данное русское слово. Нехорошо сомневаться в их праве судить-рядить о стране, которая, хотя и обещает устами лучших своих сыновей выбросить их за дверь в горизонтальном направлении, как приبلудную шлюху, однако пока предпочитает употреблять их так, как это А. С. Пушкин проделал с А. П. Керн.

Письмо Куприна Батюшкову и впрямь объективно сионистский документ — в том лишь смысле, в каком объективно сионистской является любая свежая антисемитская мысль. Не убоюсь банальности: еврейство многообразно, его путь был и остается тернист, реакции резки, увлечения глубоки и последовательны. В его среде, применительно к обстоятельствам, всегда вероятны ассимиляторы и националисты, "реакционеры" и "прогрессисты", фарисеи и садуккеи. Диаспора явно не намерена сводить себя на нет. Отказать ли теперь в интеллектуальном прикрытии ассимилированным по своей и чужой воле, полукровкам, крестившимся, людям с пограничным иудео-христианским самоощущением? Хейфецовская постановка вопроса в моих глазах невыгодно отличается своей узостью от позиции тысячекратно охаянных сионистских организаций, выдающих в каждом, даже условном, еврее блудного сына и потерянное колено Израиля.

Ища и находя немалую толику правды в оскорбительных сентенциях, легко отдавая на поругание едва ли не большую часть своего народа, как бы не взять на себя лишний риск: однажды самому оказаться для кого-то безнадежно ассимилированным, стремящимся быть — по крайней мере, в еврейском вопросе — более русским человеком, чем сам Куприн, а посему подлежащим изъятию из системы коллективной самозащиты, той круговой поруки, которой только и сильны мы во все времена.

Никем не отмечен, наступил юбилей сомнительного значения — милениум, первое тысячелетие жизни евреев в России. Все эти годы погромное настроение ходило по рукам, как бумажные деньги. Его личинами были: то простодушная мужицкая демонология ("народ-рогоносец"!), то поповская присказка, то астральный словарь петербургского мистика, а то обещанные Куприным 39 пунктов еврейской каверзы. Но при всем богатырском размахе антисемитских представлений смысл их можно свести к речению бес-смертного Кузьмищи: "Помнишь ли жидовине-вороже, в которых портех пришел бяше?" Выходило так, что и за тысячу лет трудов праведных не заработали наши отцы на собственные портки, так и просиживая даденые, с чужого плеча. И как бы ни изголялся еврейский дух, к каким бы смешанным бракам ни предлагался, чем бы ни обязывал себе заемную культуру, всегда находился интеллектуальный Кузьмище, которому любые вершины этого духа были уж тем нехороши, что от них "жидом пахло". Всегда же находился и христианнейший из иудеев, рекомендуемый нам внимательней и самокритичней принюхаться к себе, чтобы своим неистребимым запашком, своей "едкой и пахучей кровью" не вызывать справедливого раздражения у друга и благородного человека.

## ОЧЕРКИ И ВОСПОМИНАНИЯ

Ушел в прошлое 1984 год, неразрывно связанный в нашей памяти с именами Орвелла -- и Амальрика. Вопреки предсказаниям Орвелла советский тоталитаризм не навязал Англии (и Западу) к 1984 году свою систему; но вопреки предсказаниям Амальрика эта система пережила 1984 год.

Однако ведь значение небольшой, но памятной книги Амальрика состояло не в предсказании точной даты конца советской системы. Оно состояло в том, что эта книга была первой попыткой оценить перспективы этой системы, которые не отменяются арифметикой календаря, первой попыткой поставить вопрос (что порой куда важнее ответа). И еще в том, что амальриковский текст был освещен невысказанной в тексте, но подразумевавшейся в нем мыслью, что в конечном счете главным для ответа на заданный автором (в заглавии книги) вопрос являются даже не массовые политические сдвиги, а противостояние тоталитаризму каждой отдельной личности, осознавшей свою дарованную от рождения свободу и суверенность.

На исходе 1984 года как нельзя более уместно посвятить публикуемому ниже очерк В. Кукуя памяти А. Амальрика -- человека, жизнь и поведение которого (на воле и в лагерях) были ярким примером этого духовного противостояния, внутренней свободы и независимости мышления от всех тоталитарных догм, соблазнов и искушений.

*Валерий Кукуй*

НЕ УДАРИЮ!

С Андреем Амальриком я никогда не встречался и не был знаком.

Осенью 1970 года одна западная радиостанция сообщила, что в Свердловске -- городе, в котором я тогда жил, -- прошел суд над этим человеком. Амальрик обвинялся в написании и распространении книги под названием "Просуществует ли СССР до 1984 года?".

Этот радикальный и краткосрочный прогноз -- или пусковой всего лишь вопрос -- взволновал многих. Кто-то зябко поежился, воображив хотя бы в общих чертах картины неизбежных, всевозможных, поистине тектонических разрушений; кому-то прибавилось сил заглянуть с мятежной мечтательностью на полтора десятка лет вперед...

Я подумал тогда, что три года лишения свободы, которыми было оценено мужество этого человека, целых три года, но и всего лишь три года -- памятуя огромные сроки, сыпавшиеся, как с конвейера, в еще не столь отдаленном российском прошлом, -- были предусловлены как раз поразительной дерзостью удара. Действительно, виданное ли дело, что деспотическая власть, которой слабый, как муравей, ее вассал пророчит неминуемую и исторически скорую смерть,

не ответила мощным контрударом? Не каждый день и не каждый год пишутся в СССР книги, одно название которых так недвусмысленно и прямо задает столь роковой вопрос. Но он как раз и обозначал бы слабость и страх этой власти — чрезмерно суровый приговор.

Бывают времена, что страх перед вопросами считают выгодным скрывать.

Местные газеты никак не откликнулись на этот суд. Понятно: москвича Амальрика намеренно вывезли в Свердловск, по месту жительства его обвиняемого, Льва Убожко. То был удобный предлог провести судилище подальше, в надежной политической глуши. К тому же Свердловск — “режимный” город, а ссылаясь на это, можно любезно и решительно отказать западным корреспондентам, которые будут испрашивать присутствия на суде.

Мне довелось встретиться только с одним человеком из тех, кому был доверен пропуск в зал суда. Присяжный советский поэт и журналист, на клочки истративший свой несомненный талант, ради литературной карьеры он предпочел вычеркнуть из души и памяти расстрел отца в 37-ом и собственное странствие по тюрьмам и лагерям — это уже после личного участия во Второй мировой войне, отмеченного несколькими орденами. Находясь уже вне досягаемости бывших работодателей, он сомнительно косился и отмалчивался в ответ на мои настойчивые просьбы рассказать о том суде.

Страх — это физиологическое. Эмиграционная виза — средство не всегда достаточное от укоренившегося советского страха. Или то был пресловутый “внутренний редактор”? Но ведь это тот же, загнанный внутрь страх.

С этим поэтом я познакомился в конце 70-го года. Он то ли наверняка знал — из “достоверных источников”, — то ли предчувствовал, лучше меня и многих постигши “систему”, что и мне скоро “туда”. Шутил: “Ну вот, переехал ты жить на улицу Посадскую, значит, скоро посадят, не миновать”. Слова предостерегали, а вместе с тем — по голосу, по выражению лица, а главное, по тому, что я знал о поэте, — мне казалось, что угадываю внутренний монолог, который он в то же самое время обращает к самому себе: “Что было, давно прошло, сейчас тебе пьяно и сыто, ты — член Литфонда, музыкальная комедия по твоему блестящему стихотворному либретто скоро пойдет с аншлагом, 80 рублей за каждую постановку будут ложиться в твой карман,

работа над этой пьесой, посвященной юбилею города, поглощает тебя и приносит огромное удовлетворение. Овации зала частью будут предназначены и тебе, почет властей, — нераздельно тебе”...

Я убеждал его репатрироваться в Израиль — отчасти под влиянием одной небольшой истории, которую мне о нем рассказали. В Свердловск приехал на литературные гастроли некий не столь великий, сколь маститый столичный поэт. Во время поэтического застолья, устроенного в его честь, гость неаккуратно выразился по адресу не то всего еврейского народа, не то тех сыновей этого города, что посягают быть русскими поэтами. Мой знакомый и “подопечный” сидел напротив московского гостя, их разделяла длина двух сдвинутых столов. Очевидцы рассказывали: гость то ли не успел договорить, то ли фраза так и задумана была окончиться многоточием (то было время многоточий, прежнее время точек в конце фраз прошло, а новое пока не наступило), — наш либреттист, отличавшийся, кстати, очень малым ростом, совершенно непостижимым образом перелетел через два стола и — врезал гостю по физиономии так, что тот вместе со стулом, на котором сидел, оказался в глубоком нокауте на полу. А на другой день пришел извиниться — перед либреттистом, разумеется, а не перед еврейским народом.

Поэт-либреттист оказался прав. Спустя несколько месяцев меня арестовали.

Дело вел старший следователь областной прокуратуры Иван Андреевич Киринкин, статный, энергичный, напористый в первые дни. Он же явился меня арестовать — рано утром, в субботний, нерабочий день. Иронично перелистывал мои детские личные дневники, взятые с книжной полки, и я запомнил только один его вопрос за все часы обыска: “И давно вы, Валерий Исакович, начали интересоваться политикой?” Он бешено посмотрел на меня, когда я ответил подчеркнуто вежливо и в тон ему иронично: “Да примерно с того же возраста, что и вы, Иван Андреевич”.

Спустя несколько дней, убедившись, что ни самим арестом и заключением в тюрьму, ни крикливостью на допросах подавить меня не удалось, КГБ и прокуратура, которая была в моем деле лишь посредницей КГБ, весь ход “следствия” сосредоточили на изобретении да запугивании “свидетелей обвинения”. Я превратился в зрителя на собственном следствии.

Киринкин размяк, пропали напористость и злость. Мы нередко отвлекались от темы, благодаря которой познакомились, гово-

рили о постороннем. Я спросил, приходилось ли ему раньше вести политические дела. Он посмотрел на меня долго, внимательно и почему-то весело прежде, чем ответил: “Андрея Алексеевича”. Я смотрел недоуменно, и он добавил: “Амальрика”. И снова долго и нагло поглядел на меня, будто только что признался в каком-то низком грехе, которому однажды поддался, а потом сжился с ним и уже не жалеет. И поджал губы, подобрался внутренне, показывая, что продолжать об этом разговор не станет.

Как-то он пришел не надолго, чтобы задать два-три формальных вопроса. Был он на сей раз какой-то возбужденный, шумно дышал, хищно, широко раздувая ноздри. Удовлетворенность большого пса после удачной охоты, подумал я и заметил вслух: “Вы сегодня взволнованы, Иван Андреевич”. Он вдруг вытащил из внутреннего кармана пиджака пачку каких-то фотокарточек и стал разглядывать, держа ко мне тыльной, чистой стороной. И заговорил: “Десять лет... Десять лет... Кровь у него на одежде — он говорил, “баранья”... Да вы же вместе в лес пошли — “пошли да разошлись”... Теперь — все”. И Киринкин бросил передо мной на стол фотокарточки. Лес и неглубокая яма у сосны, ржавые прошлогодние хвойные лапы, отброшенные в сторону, присыпанные землей из ямы. В яме — скелет человеческий.

Вернув фотокарточки, я уважительно глянул на него и подумал: “Вот тебе и расследовать бы убийства, а не быть марионеткой в дурацких, заранее состряпанных спектаклях”.

После того, как на исходе следствия меня привели к Киринкину в последний раз — ознакомиться и ответить, если захочу, на окончательно сварганенный текст обвинения, — когда все это завершилось, и Киринкин нажал кнопку звонка на стене возле стола, вызывая дежурного, чтобы меня увели, и тот явился, он встал, проводил меня несколько шагов по коридору и прежде, чем повернуться и уйти, внимательно и как-то жалко, заискивающе, словно провинившаяся собака, взглянул мне в глаза. “Желаю вам счастья в конце концов, Валерий Исакович”, — сказал он.

Ночью, лежа на койке в камере, я размышлял. Гражданское мужество... Пускай оно поныне — особенность поведенца, но ведь уже не только одиночек, а целых групп, выставляющих коллективные требования — политические, национальные, религиозные, культурные. Есть с кого брать пример — пример, скорее, элемен-

тарной человеческой порядочности, нежели героизма. Не хочешь быть палачом — уйди, отстранись хотя бы, авось, самого не казнят.

Сразу после суда, находясь уже в большой, грязной, переполненной полуголыми людьми и свирепствующими клопами, душной, как баня, камере с вечно забитым от частых перебоев в подаче воды ватерклозетом в углу, я потребовал протокол суда — решил писать обжалование в Верховный Суд. Спустя несколько дней надзиратель вывел меня из камеры и привел в один из служебных кабинетов. Там уже дожидалась девушка лет двадцати, как выяснилось из ее слов — мелкая служащая областного суда. Она принесла мне для ознакомления судебный приговор, сказала, что оставить не может, но я могу делать любые выписки в ее присутствии. Протокол был не только до крайности сжат и совершенно не отражал говорившегося на суде мной, свидетелями, адвокатом и прокурором, но, напротив, искажал, переворачивал весь смысл выступлений — подчас до того, что свидетелю, ответившему на вопрос прокурора о моих высказываниях, "не говорил", приписывалось противоположное: "Говорил". Не оставалось другого, как переписать весь этот "протокол", чтобы обжаловать и его. Работы было часа на два. Вначале девушка была терпелива. Ей явно нравилось положение свободного человека, по долгу службы явившегося в это чертово логово — тюрьму. Возможно, она даже напросилась у своего начальства на этот визит из любопытства или из тщеславия: горожане то ли из суеверия, то ли оберегая себя от неприятного чувства, проходя мимо огромного здания тюрьмы с решетками или глухими жестяными щитами на окнах, пользовались тротуаром на противоположной стороне улицы. Вот, скоро она свободно покинет это мрачное здание, захочет — пойдет в кино с дружкой или в гости к подруге, а того, кто сидит сейчас с нею наедине в этом кабинете, отведут, как быдло, и запрут в грязной, вонючей камере. Возможно, она полагает, что камера такой и должна быть — грязной, вонючей и переполненной людьми, а может, напротив, думает, что там занавесочки на окнах и цветочки в вазочке на столе... Она чувствовала себя очень вольготно, эта девица, даже выставила больше, чем допускало приличие, обтянутую капроновым чулком тоненькую ножку из-под коротенькой юбочки, явно испытывая удовольствие от безнаказанности за эту женскую вольность.



Переписывая протокол, я делал время от времени остановки, чтобы закурить новую сигарету.

— Как долго, — посетовала, наконец, девушка. — И зачем вам это?

— Чтобы обжаловать протокол, — ответил я.

— Думаете, поможет? — скептически заметила она.

— Неважно, — сказал я. — Нельзя замалчивать несправедливость. А у меня другой возможности нет.

— Почему “несправедливость”? — возразила она. — Ведь ни за что не судят.

“Стереотипное мышление серого советского мышонка”, — подумал я и промолчал.

— Вот и Амальрик в прошлом году тоже потребовал протокол и писал. А ведь не помогло. В Москве все оставили как есть, — продолжала она.

— Уже не вы ли и ему приносили сюда протокол? — любопытно спросил я.

— Я, — кивнула она. — Состав суда был у него тот же, что и у вас. И прокурор.

Совпадений хоть отбавляй, подумал я. Та же статья уголовного кодекса, тот же срок, те же следователь и прокурор (небось, таким же пьяненьким явился на его суд, как и на мой, и так же подобострастно кланялся двум обкомовским, появившимся в первом ряду, как раз посредине, напротив судей, к времени зачитывания приговора), и судья с двумя “народными” заседателями, и вот теперь та же девица, принеся протокол суда в ту же тюрьму да еще предрекающая, что в Москве все так же отнесутся и к моей жалобе.

Состав суда... В перерыве между моим последним словом и зачитыванием приговора солдаты-конвоиры отвели меня на другой этаж здания суда и заперли в “стакане”. Он представлял собой помещение величиною в один квадратный метр, со стенами, выкрашенными до потолка масляной краской, как и окованная железом дверь, в которой располагалось на уровне глаз отверстие для надзора и вентиляции, площадью в ладонь. Минут через десять я уже обливался потом и почти задыхался. Пробыл я там часа два. “Стакан” находился в углу большой комнаты, в которую то и дело входили из коридора, ухарски гремя сапогами, солдаты конвоя. Они усаживались на два составленных вместе стола, накладывали из бачка в алюминиевые миски густую кашу, обиль-

но политую постным маслом, пили чай и, матерясь, делились друг с другом впечатлениями о судебных разбирательствах, на которых они присутствовали в этот день, охраняя подсудимых.

— Кто у тебя? — спросил один у “моего” конвоира.

— Та два жиды, шо дернули в свой Израиль, а потом вернулись, не понравилось им там. Так одного из них теперь судят, — пренебрежительно ответил “мой”.

Его собеседник с презрительным равнодушием глянул на дверь, за которой я сидел.

Когда шум и разговоры солдат ненадолго затихли, я, напрягая слух, старался уловить, о чем говорят за стеной. Наверное, эта стена, отделяющая комнату и “стакан” от соседнего помещения, была не слишком толстой, и хотя слов собравшихся там людей разобрать было невозможно, я смог без особого труда определить, что их трое — двое мужчин и женщина. Вначале нудно бубнил мужской голос, потом женский подал какую-то реплику, и в ответ громко, возмущенно, то поочередно, то вместе заговорили оба мужчины. Женщина, тоже взволнованно и резко, защищалась, стараясь их перебить; они, уже не сдерживая бешенства, орала на нее, и она, в конце концов, смолкла. Дальше снова одиноко бубнил мужской голос. Я угадал эти голоса. Судья Шалаев и заседатели Орлов и Коробейникова по ходу суда задавали вопросы... Потом меня снова привели в зал суда — слушать приговор, — они заняли свои места, Шалаев окинул взглядом зал, достал из внутреннего кармана пиджака листы и положил на стол, приготовившись читать; черный, как ворон, Орлов насупившись уставился куда-то вниз, а Коробейникова посмотрела на меня долгим, светлым и очень строгим взглядом, в котором только я мог прочесть: “Мужайся”.

Срок мой подходил к концу. Знакомые и полужнакомые “зэки” все чаще — одни сочувственно, другие как бы безразлично, но с плохо скрытой завистью, третьи, так я полагал, по чужому заданию подделываясь под тех или других, — спрашивали: что, дескать, уверен, освободят? А вот вызовут тебя в штаб или на проходную в последний самый денек, да с вещами, будто на свободу, прочитают на бумажке — распишись еще за три года. Были эти разговоры травлей — намеренной, нечаянной ли: в 70-х годах к такой процедуре уже не прибегали. Но что — процедура? Пары перехваченных оперчастью писем, неловко отправленных минуя

цензуру, двух-трех стукачей, которых нетрудно "уговорить" дать любые "обличающие" показания, да того обращения к Подгорному в мае 72-го, где я отказался от советского гражданства — для нового "следствия" и новых трех лет куда как хватало бы. На кого надеяться? На западное общественное мнение? Предотвратило ли оно хоть один акт произвола? Из головы не шла статейка из недавнего номера "Литературки", которой российские правоборцы и те на Западе, кому их судьба не безразлична, оповещались, что "выездная сессия Магаданского областного суда... заслушав в открытом заседании дело об обвинении Амальрика по статье 190<sup>1</sup> уголовного кодекса РСФСР, приговорила его еще к трем годам лишения свободы". Что же касается процедуры, то в статейке указывалось: "... подтверждено официально, судебный процесс в Магадане проводился в полном соответствии с советским законодательством. И адвокат у подсудимого был.., и жену Амальрика допустили в зал суда. И свидетелей было больше чем достаточно: свыше двадцати..."

Эту статейку я не сам отыскал, мне ее подсунули.

Если и со мной решат так, подумал я, объявлю голодовку — насмерть или до отмены нового приговора. Ибо это значит, что им действительно наплевать на западное общественное мнение. Рабом же их я оставаться не смогу. Я тогда еще не знал — газета, ясное дело, не сообщила, — что Амальрик именно так и поступил в ответ на новый приговор: объявил голодовку и держал ее десятки дней. Протесты с Запада вынудили сменить ему тюрьму ссылкой, а потом и срок ссылки сократить.

В штаб меня вызвали за пять дней до окончания срока, поздно вечером, после переключки на плацу перед жилым бараком. "Вы едете в следственный изолятор", — сухо и четко сказал дежурный офицер, мельком взглянув мне в лицо, видно ожидая уловить действие сказанного. Меня сразу увели на проходную, устроили тщательный обыск — каждого шва одежды, "откройте рот" и т. д., а затем в "воронке" — на железнодорожную станцию, к тюремному вагону. Ни с кем из товарищей по заключению мне не пришлось попрощаться.

В Свердловской тюрьме меня ждал небольшой сюрприз. После всей долгой, до мелочей знакомой канители приема (переводы из бокса в бокс, обыск, баня), надзиратель, побрякивая связ-

кой ключей, повел меня по бесконечным коридорам и крутым лестничным маршам — тоже хорошо мне знакомым — в корпус, где помещались подследственные заключенные, на верхний этаж, и вот мы остановились у двери крайней камеры — той самой, в которой я прожил в 71-ом году несколько месяцев. Умело и быстро справившись с замками и задвижками, он отворил тяжелую дверь. Я шагнул внутрь. Дверь закрылась. С первого же взгляда я определил, что в камере ничего не изменилось: те же две койки — одна отдельная, другая двухъярусная, — унитаз и раковина в правом, возле двери, углу, а слева столик и табурет, оба глухо прихваченные мощными болтами к стене и полу. Нет, изменилось кое-что: к трем решеткам, которыми было забрано узкое окно под потолком, выходящее во двор, прибавился жестяной “Намордник”, так что прямой солнечный свет уже совсем не попадал в камеру: днем, когда голая, слабая лампочка под потолком не горела, здесь стоял полумрак.

Я был не один. На койке под окном в живописной позе полулежал чернявый, довольно интеллигентного вида парень лет двадцати пяти, одетый в приличный костюм. С задумчивым видом пощипывая короткие, красивые усики, он с интересом взирал на меня. Я снял телогрейку и повесил на крючок возле двери, рядом с его чистым, модным демисезонным пальто, бросил на свободную койку мешок — он же чехол для матраца — с самим жидким матрацом, такой же жидкой подушкой, простынью и алюминиевой кружкой, засунутыми в его утробу, которые я получил в каптерке рядом с баней, и уселся на табурет возле столика, напротив нового своего сожителя.

— Меня зовут Юра, — представился он после некоторого молчания, во время которого продолжал спокойно и как-то весело разглядывать меня.

Назвал себя и я, тоже только по имени.

— Подследственный? Осужденный? — спросил я.

— Подследственный, — ответил Юра. — Через неделю суд. А ты?

— Не знаю, — равнодушно пожал я плечами. — Из лагеря привезли. Через четыре дня кончается срок.

— Вижу, что из лагеря, — сказал Юра, кивнув на мою одежду. — Уж не новое ли дело крутят?

Я не ответил, только снова равнодушно пожал плечами. Юра посмотрел на меня изучающе. Я принялся раскладывать свою постель.

А из коридора уже доносились знакомые звуки: катилась тележка, останавливалась через равные, короткие промежутки, стучали отпираемые и откидываемые крышки "кормушек" — таких форточек в дверях камер, в полуметре от полу, — глухо звякали ложки и миски. Скоро и наша кормушка распахнулась, руки невидимого подавальщика просунули, а мы по очереди приняли две миски, наполненные дымящейся, с острым запахом "ухой", и вслед за тем кормушка захлопнулась. Юра погреб в своей миске ложкой, взбаламучивая содержимое, и слегка поморщился: из клейкой жижи ему удалось добыть лишь голые кости, несколько рыбьих глаз да редкие крупички перловки.

— Будешь? — указал он на свою миску.

Я отрицательно покачал головой. Юра поднялся, подошел к унитазу и опорожнил свою миску. Я все же немного похлебал: со вчерашнего вечера ничего не ел. К буханке черного, спецвыпечки хлеба и соленой кильке, которые мне выдали в лагере перед посадкой в "воронок", я не притронулся, дабы избежать изжоги.

Мало помалу разговорились. Юра сказал, что его ждет второй срок, за карманную кражу, как и в первый раз, что кражу он пытался совершить в троллейбусе у простой женщины-мордовки, одетой бедно, по всей видимости какой-нибудь строительной или дорожной рабочей, как большинство морденок на Урале. Пойман с поличным. В его голосе чувствовалось явное участие, сострадание к той женщине — больше, чем к самому себе. Первый срок закончился совсем недавно. Я слушал сочувственно. В лагере я встречал много карманников и из бесед с ними пришел к выводу, что эта разновидность "промысла", скорее, проявление болезни, чем свободный, злой умысел. Рисковать годами свободы каждый раз, каждый день, часто не зная заранее, каков, в успешном случае, будет "улов", подчас сущие гроши... Был заключенный, уже не мальчишка, который получил три года за уворованные... три копейки — по году за каждую копейку, — но ведь он не знал, сколько добудет, когда тянул из чужого кармана кошелек...

О себе я старался рассказывать поменьше, кое-что о лагере, а о сути своего дела предпочел умолчать, ограничившись признанием, что был судим по политической статье. Иначе, разговорись — конца не будет вопросам, да и насколько понятны были бы Юре мои еврейские заботы, не говоря уже о том, что у каких других,

а у стен камеры для подследственных наверняка есть уши. И кто он, этот Юра? Случайно ли оказался моим соседом по камере?

Впрочем, одного упоминания о политическом характере моего дела оказалось достаточным. Юра с задумчивой усмешкой затеребил свои усы.

— Везет же мне на политических, — прошептал он. И на мой вопрошающий взгляд добавил. — Я ведь и в первый раз под следствием сидел с политическим. С Андреем Амальриком.

Я вздрогнул. Еще одно совпадение. Ну и ну! Юра снова усмехнулся.

— В этой самой камере. Летом семидесятого.

Я не сдержал любопытства:

— Что ж, расскажи, как вы с ним сидели, что за человек?

— Умный человек, — сказал Юра. — Блестящего, можно сказать, ума. Все время читал, требовал книги, писал. Спорили. Я, правда, во многом был с ним несогласен. Внешне обыкновенный, в очках, худой. Раз поссорились из-за какой-то мелочи, поругались, я вскипел, ударил его. Сразу опомнился, кровь у него из носа пошла, я бросился помочь остановить. Не по себе мне стало. Это же само собой получилось, я не хотел. Потом просил его, упрашивал даже — нам, мол, с тобой еще жить вместе, ударь меня, будем квиты, сними с души тяжесть. Я стоял вот здесь, физиономию ему подставил. Он вначале просто отмахнулся, я еще просил, настойчиво просил. Он стал ходить по камере и все размахивал кулаком, бил им в свою другую ладонь. А потом опустил руку и сказал: “Нет, не ударю, не могу”.

— Потом все же помирились?

— Помирились, конечно, — ответил — Юра. — Да и тогда как будто и не поссорились. Просто, так уж получилось, нечаянно, глупо. — И после паузы добавил. — А все же я во многом был с ним несогласен. Все же марксизм — это сила, что ни говори.

Я не хотел спорить о марксизме, не хотел спорить ни о чем. Только спросил:

— Скажи, приходилось ли тебе встречаться, когда бы то ни было, с человеком более порядочным и умным, чем Амальрик, в том числе из коммунистов?

Юра задумался на несколько мгновений и ответил:

— По правде сказать, нет.

Вечером захлопали одна за другой двери камер, стук прибли-

жался к нам. Обычная ежевечерняя проверка. Мы встали, подчиняясь известному нам порядку. Вот и наша дверь распахнулась. Стремительно вошел надзиратель. “Двое”, — констатировал он, быстро глянув на нас, и черкнул карандашом на дощечке, которую держал в руке. — “Крысов...” “Юрий Павлович”, — откликнулся Юра. “Кукуй...” “Валерий Исакович”, — сказал я. “Отбой. Спать”, — сержант развернулся и столь же стремительно, как вошел, исчез. Дверь за ним захлопнулась. Шаги проверяющих, удаляясь, смолкли. Двери больше не стучали. Установилась тишина.

— Так это ты — Кукуй... — не то спрашивая, не то утверждая проговорил Юра. — Я же слышал о тебе. Вернее, читал, в газете. В семьдесят первом году, кажется... Ну да. Это же о тебе тогда было?

— Обо мне, — признался я.

Юра немного помолчал, потом усмехнулся:

— Ну, земляк, наделал ты тогда шороху. Ты же в Израиль хотел уехать. Организацию сколотил.

— Какую там организацию, — отмахнулся я. — Да и шороху чекисты сами наделали, сами же шум подняли.

— Ну, это как сказать, — возразил Юра. — Ваших не пугни, они почти все в Израиль бы посыпались.

Я сдержался, не давая втянуть себя в спор.

— А теперь тебя отпустят, уверен? — продолжал допытываться Юра.

— Увидим, — снова уклонился я. — Давай-ка спать.

Я действительно устал после этих переполненных событиями суток.

За последующие три дня ничего не произошло. Час за часом тянулась по знакомому распорядку нудная тюремная жизнь: утренние и вечерние проверки, раздачи пищи, принос газеты, между завтраком и обедом стук ключа по двери и голос надзирателя: “Прогулка. Пойдете?” Юра отказывался. Я ходил. Накидывал телогрейку, дожидаясь, когда откроется дверь, выходил, надзиратель вел вниз, во внутренний двор, в один из “загончиков”, окруженных высоким беленым каменным забором, и запирал на час. “Загончики” были величиной с комнату. Я бродил вдоль стен, глубоко вдыхал еще чуть морозный мартовский воздух и отыскивал на стенах карандашные памятки. Обычно не находилось ничего особенного: имя или, чаще, тюремная кличка, боль-

шой фантазией не отличающаяся, какая-нибудь “Чума” или “Со-ва”, год рождения, инкриминируемая владельцу клички статья уголовного кодекса — тоже ничего редкостного, сотни раз уже встреченное в лагере и тюрьме. — Изредка псевдонадрывное что-нибудь, вроде “не забуду тебя, дорогая мама”, где в слове “дорогая” две ошибки, а во всей надписи шесть, — и все это “увековечено” на один день, пока заключенный из тюремной хозобслужки не обойдет эти дворики с ведром извести и малярной кистью и не замажет свежие надписи.

Только однажды, в 71-ом году, я обнаружил нечто, представляющее для меня интерес. “Гришка П. — наседка” — гласила надпись. Гришка П. был моим соседом по камере, как Юра Крысов ныне.

О Юре за эти три дня я узнал не слишком многое. Студент-недоучка. Женат и есть сын, но жена от Юры отказалась, когда его арестовали в первый раз. Она не знала раньше, что он вор. Вот, пожалуй, и все, если не считать его приверженности к марксизму. Немногословен он был, когда речь заходила о нем, о его жизни. Я в душу ему не лез. Зато Юра проявил ко мне интерес необычайный. Многие вопросы были вполне безобидны, их мог задать любой, но я невольно обратил внимание на несколько, которые настораживали: уверен ли, что меня освободят и я уеду за границу, а если не освободят, то как к этому отнесусь, что стану предпринимать, и чем займусь за границей, если уеду, — не иначе, напишу книгу о лагере, о еврейских проблемах в России? Он почти настаивал, почти отвечал за меня, что, дескать, разумеется, напишу, а я слабо отнекивался: и без меня уже столько написано и еще напишется.

На третий вечер мы разговорились о лагерных и тюремных “наседках”. Я рассказал Юре, что вот, читал надписи на стенах во время прогулки, и они напомнили мне ту, давнишнюю, о Грише П. Юра пощипал усики — уже знакомый признак, что его будоражит какая-то мысль.

— Знаешь, — наконец, промолвил он. — Я еще вчера хотел тебе сказать. Меня ведь подсадили к тебе. Нарочно. Чтобы выпрашивал у тебя всякое-разное. И о заграничке, и все другое... Видно, они тебя здорово не любят. Лейтенант, который со мной перед этим беседовал, очень скверно, зло говорил о тебе. Я даже, греш-



ным делом, подумал, что действительно кокого-то злодея гнусно-го увижу. А ты, оказывается, обыкновенный парень.

Я принужденно рассмеялся:

— А что, злодеи не выглядят, как обыкновенные люди? Тот же твой лейтенант, скинь с него форму, я уверен, на злодея не будет похож.

— Вообще-то, верно, — согласился Юра и после некоторой паузы добавил. — Он еще предупредил, что исход моего суда и условия потом будут зависеть от информации, которую мне удастся получить от тебя. Суд через несколько дней.

— Помню, ты говорил, — сказал я. — Но чем я могу помочь? У меня и в правду нет для тебя никакой особой информации.

— Ну хоть что-нибудь, — просительным голосом произнес Юра. — Вот, скажем, ты знаешь, всякий раз к тебе подсылают наседку. Наверное, всегда и всюду подсылали, и здесь, в тюрьме, и в лагере. Да и раньше, на свободе, тоже, наверное. Если следили. А ведь следили! Так кто же из них, по-твоему, наверняка был наседкой?

Я пожал плечами:

— Не знаю. Ты первый, кто сказал откровенно. В других случаях я мог только подозревать. Даже Гришу П. Кто знает, может, то была попытка провокации против него.

— Что же я скажу лейтенанту? — грустно, с глубоким вздохом произнес Юра.

— Скажи, что я вел себя очень замкнуто, был неразговорчив, — предложил я.

На следующее утро, едва мы успели проглотить пшеничную кашу, в которой размешали дневную свою порцию сахарного песка — по двадцать граммов на душу, — и выпили по кружке пустого желтоватого чаю, раздался стук ключа. Мы оба быстро подошли к двери. “Кукуй”, — негромко позвал надзиратель. Я отозвался. “Соберитесь. Без вещей”, — сказал надзиратель. — “Готовы?” И тут же открыл дверь. Я надел телогрейку и вышел. Мы молча пошли по коридору, но не налево, где за двумя поворотами вокруг толстого выступа стены была лестница, по которой водили на прогулку, в баню, на дактилоскопию и фотографировать, а направо, через весь коридор длиною чуть не в сто метров, с бесконечными камерными дверьми по обе стороны. К кабинетам, определил я и тут же подавил желание спросить у молчаливого сопровождающего, куда идем: бесполезно, только доложит по-

том начальству, дескать, заключенный пытался выяснить... Я отбрасывал всякие мысли, старался расслабиться душой и телом и с удовлетворением убедился, что удастся, что ни руки, ни ноги не дрожат и сердце не ноет.

В боксике ожидания я просидел совсем не долго. Их было несколько, этих боксиков со скамейкой в каждом, два ряда — один против другого, по обе стороны коридора. Из одного напротив, доносилось тонкое, паническое завывание молоденькой девицы.

— Пошто затворили меня здесь? Пошто? Не хочу я! Откройте, начальники!

Она выла беспрестанно, так что у надзирателя кончилось терпение, он подошел и через дверь, голосом таким же окающим, как у девицы, пригрозил строго:

— И вот те открою! В карцер отведу. Там те лучше будет. За молчи!

Девица продолжала ныть, но уже без слов.

Надзиратель открыл передо мной дверь одного из кабинетов, и яркий утренний свет, обильно льющийся из большого, чуть не во всю стену окна, снабженного всего одной редкой решеткой, ослепил меня. Я даже не сразу разглядел двух человек, сидящих за столом, лицом к двери.

— Что же вы стоите, Валерий Исакович? Садитесь, — приветливым голосом сказал один из них.

Привыкая к этому яркому свету, я взгляделся. То был мой давнишний знакомый, подполковник, а ныне уже полковник Николай Степанович Поздняков. Второго, статного мужчину с редкими, прямыми, светлыми волосами, я видел впервые. Еще не опустившись на единственный свободный стул, имевшийся в кабинете, тут же, возле двери, метрах в двух прямо против стола, намертво прихваченный всеми четырьмя ножками к полу (все предусмотрено в этом заведении: ведь стул тоже может служить орудием нападения. Или защиты?), и благодаря себя в душе за сохранение спокойствия и самообладания, я очень приветливо улыбнулся и сказал:

— А-а, Николай Степанович, здравствуйте.

И Николай Степанович тут же широко раскинул руки, явно готовый заключить меня в объятия. Я сел. Николай Степанович

еще секунду или две подержал руки в прежнем положении и медленно, с видимым сожалением опустил.

— А с вами я не знаком, — вежливо обратился я к его напарнику, с интересом наблюдавшему эту сцену.

— Это наш сотрудник, — ответил за него Николай Степанович.

Установилось молчание. Я решил не спрашивать имени незнакомца, пока тот не заговорит.

— Как вы себя чувствуете, Валерий Исакович? — деловито и вместе с тем участливо спросил Николай Степанович.

— Благодарю. В общем, неплохо, вот только желудок побаливает. В лагере, знаете ли, лечение неважное.

— Да-да, — сочувственно согласился Николай Степанович.

И снова молчание.

— Ну что же, — задумчиво проговорил он. — Ваши три года подошли к концу, а.

Непонятно было, спрашивает он или утверждает. Я постарался улыбнуться как можно беззаботнее.

— Не знаю, Николай Степанович.

— Ну как же, подошли к концу, подошли к концу.

Его напарник продолжал рассматривать меня с интересом.

— В последнее время вы вели себя... хорошо...

Ничего себе, "хорошо", усмехнулся я в душе. Полмесяца штрафного изолятора прошлой осенью за перехваченное лагерным опером письмо, которое я пытался нелегально переправить друзьям, отказы от работы плюс еще настоящее расследование содержания моих бесед с одним полуевреем и тем мальчишкой-евреем, которого они пропустили в "мой" лагерь, как видно, "прозевав" из-за его невинно русской фамилии. А ведь я объяснял им как раз то, за что меня арестовали три года назад: почему и как нужно покинуть вотчину Николая Степановича и его сотрудников. У них из-за этих моих бесед такая паника поднялась! Двое (вечно они парами — не из-за недоверия ли друг к другу, обращенного ведомственной инструкцией в непреложное правило) специально приезжали из Свердловска, дважды вызывали мальчишку в лагерный штаб, угрожали ему.

—...и мы решили ограничиться уже отбытым вами сроком. Освободить вас.

Поздняков замолчал, и теперь они оба испытующе разглядывали меня.

Я молча кивнул.

Затем он снова заговорил, но уже вполне деловито, убрав с лица все декорации.

— Завтра утром вы будете освобождены. Остановитесь на время у своей мамы, не так ли? Послезавтра обратитесь в ОВИР, оформите документы для выездной визы. Вам выслан новый вызов из Израиля, он хранится у вашей тещи. Вам придется заплатить за визу и за прекращение советского гражданства. Деньги возьмете также у тещи, для этого мы недавно специально пропустили сертификатный перевод, посланный ей из Америки. Визу получите через три дня. До получения визы из города выезжать не пытайтесь — вернем немедленно. Срок действия визы будет одна неделя, дольше вам нельзя будет задерживаться в СССР. Это все, Валерий Исакович. У вас есть вопросы?

У меня не было вопросов.

— Будьте здоровы, желаю вам успехов.

Таким тоном, наверное, в разведках излагают задания агентам, подумал я.

Напарник Позднякова так и не раскрыл рта.

На этот раз меня долго продержали в боксике, может быть, час. Я знал по опыту, что в тюрьме это делают не из намерения поиздеваться, а просто с целью экономии труда разводящего надзирателя: тот ждет, пока закончат беседы со следователями и адвокатами нескольких заключенных, постепенно накапливает их в боксиках, а потом выпускает всю группу и ведет от камеры к камере, от ближней к самой дальней. Разумеется, при этом стремятся соблюдать строгие правила отбора, чтобы не попали вместе не только однодельцы, но также их соседи по камере. Но выйдя, наконец, в коридор, я с удивлением убедился, что надзиратель поведет только меня одного.

Мне уже не нужно было сдерживаться, я беспечно напевал про себя веселый мотивчик и грезил о близком будущем.

Сегодня я Николаю Степановичу верил.

Когда я вернулся в камеру, казалось, повторялась картина четырехдневной давности. Юра полулежал на койке, пощипывал усики и внимательно смотрел на меня.

— Ну что ж друг Юра, — не скрывая настроения, сказал я. — Завтра нам прощаться. Выпускают, вроде бы.

— Ну, Расскажи, Расскажи, что было, — попросил он.

И я рассказал, не скрывая ни единой мелочи, про встречу с Поздняковым и его напарником. Я то присаживался на табурет, то вставал и расхаживал от Юриной койки до двери и обратно и между тем обратил внимание, что его пальто висит не на том крючке, на котором висело, когда я уходил.

— Прогулка уже была? — спросил я.

— Нет, к нам еще не подходили, — ответил Юра. — А что, ты и сегодня пойдешь гулять?

— Конечно, — сказал я. — Я им не уступлю ни одной минуты вольного воздуха, какую только могу урвать.

Юра покачал головой:

— Ну, ты даешь, политик.

— А тебя так и не вызывали... ну, по моему поводу? — полюбопытствовал я.

Юра мотнул головой отрицательно. Лицо его было непроницаемо.

— Нет. Я сам удивляюсь.

Я еще раз глянул на его пальто.

Назавтра утром я распрощался с Юрой навсегда. Оставил ему свой англо-русский словарь — он попросил — и сделал на нем, опять-таки по Юриной просьбе, дарственную надпись: "Будем людьми, Юра!" И подписался разборчиво. Чтобы у него осталось хоть какое-то доказательство, что старался прилежно выполнить возложенное задание.

Я так и не узнал — да, видно, и не узнаю никогда, — кто он был на самом деле, этот Юра. Несчастный kleптоман, который за неодолимое и понятное стремление избежать общественного возмездия за свою болезнь-преступление согласился исполнять роль жалкой тюремной "наседки"? Если так, то какую чудовищную форму может принять общественное возмездие, которое он, Юра, право, уже понес! Или моим недолгим, последним тюремным сожителем был специально командированный чекист-стажер? И не является ли вся эта рассказанная им история про соседство с Амальриком легендой, вымышленной в чекистских кабинетах, предназначением которой было заставить меня проникнуться к их человеку наибольшим доверием?

И если так, то что ж, приму-ка я на себя роль акушерки и провожу в жизнь эту легенду, не искажающую портрет героя, но добавляющую ему нелишнюю черту.

Через восемнадцать дней — срок несколько больший, чем предписывал Н. С. Поздняков, — я навсегда покинул Советский Союз.

Я не знал — да и не гадал, — просуществует ли он еще десять лет.

Однажды в лагере меня вызвал к себе в кабинет мой полуграмотный начальник отряда Корчагин и спросил:

— Ну, как, вы еще не изменили ваших жизненных планов? Смотрите, как бы жалеть не пришлось.

Я всмех ответил:

— О чем жалеть, гражданин начальник? Вы всерьез полагаете, что это абсолютно прочно? — И указал подбородком на большое алое пятно, разлитое от моря до моря на географической карте, приколотой к стене позади сидящего Корчагина.

Он, резко обернувшись, поглядел, снова воззрился на меня, щека его нервно дернулась, и он полушопотом, еще неудачно пытаясь сохранить остатки напористости в голосе, спросил:

— Что, партизанская война?

— Хуже, — ответил я и снова указал подбородком — на другое большое пятно, желтое, ниже и правее первого.

— По-вашему, это скоро? — еще более роняя интонацию, произнес Корчагин.

— Не знаю, — ответил я. — Да и какое мне дело?

И подумал: "Тебе бы еще Амальрика прочитать, друг сердешный, а не забивать себе голову хуйней на ваших политзанятиях".

"Оргвыводов" по отношению ко мне Корчагин после той беседы не сделал.

До какого года просуществует Советский Союз? Вопрос, в конце концов, не в арифметике лет. Просуществует да распадется, как все, без исключения, империи до него. Ведь нельзя же верить в его бессмертие только из-за тотального рабства, которым подавлены его подданные. Уже седьмой десяток лет крутит на своем хребте Земля вместе со всей своей земной мерзостью этих рабовладельцев, лгущих о своем "социалистическом" сегодня и "коммунистическом" завтра. Чем же грешно порядочному, вдумчивому человеку разобраться и поставить одной из болячек нашей Земли диагноз, дать прогноз?

Почтение и вечная тебе память, врачу.

*Дора Штурман*

### СОЛЖЕНИЦЫН О ЛЕНИНЕ В ЦЮРИХЕ

#### II. Ленин и другие

Солженицыным отмечены частые выбития близких Ленину какое-то время людей из его жизни. Тактика Ленина представляет собой ломаную линию с трудно предсказуемыми поворотами. На каждом отрезке этой траектории находились люди, принимающие взгляды и принципы данного отрезка его тактики за единственно истинные и непреложные. И когда он резко поворачивал в новом направлении, они, продолжая двигаться в прежнем, отрывались и летели по касательной от точки излома. Некоторые потом к нему возвращались — особенно те, за кого он не переставал бороться, кого продолжал обрабатывать. Такими наиболее крупными изломами были решение переходить к социалистической революции в России 1917 года, октябрьский переворот, Брестский мир, НЭП. Но это — крупнейшие вехи. А частные изломы, извивы, изгибы возникали непрерывно, и люди не успевали постичь, зачем они, и перестроиться. Были же они все для одной-единственной, иногда и самому казавшейся недостижимой, но никогда не упускаемой из виду цели — для захвата власти им и его абсолютными единомышленниками. А дальше он уже все сделал бы (сделает) " п р а в и л ь н о ". В его ощущении и толковании им управляла открытая Марксом историческая закономерность. В действительности же, им правила скорее всего вера в эту закономерность и убежденность, что он (и, пожалуй, только он один) способен и потому обязан эту, через людей проявляющую себя закономерность наилучшим образом осуществить.

От Солженицына не ускользнула молниеносная оперативность ленинской тактики, которая предопределяла не предсказуемые другими ходы, лишала его зачастую ближайших сторонников и

---

*(Окончание, начало см. в № 38)*

так помогла ему позднее, в России, где он сумел подчинить ей свою партию:

*“...все это делается не для Владимира Ильича, но для властной силы, проявляемой через него, а он — только безошибочный ее указатель, всегда точно знающий, что верно лишь сегодня, и даже к вечеру не всегда то, что утром”.*

Так, и только так Ленин чувствует себя в революции. И, пока он разрушает и провоцирует, это так и есть. Можно сказать, что тут на его стороне дьявол, а можно — что так пробивает себе дорогу роковая иллюзия — утопия-оборотень (от этой лексической вариативности ничего не изменится), владеющая по сей день бесчисленными умами в еще не завоеванном ею мире. Но за безошибочной стремительностью его эволюций очень немногие могли угнаться. Поэтому то отходили (или начинали сопротивляться), то (и чаще всего) возвращались, если не меньше, чем он, были заинтересованы во всевластии партии, за которое он практически всегда воевал.

Солженицын представляется мне не совсем точным, когда он замечает о Ленина:

*“Ошибок он вообще не прощал. Ничьей ошибки он не мог забыть никогда, до смерти”.*

Это не так: ошибки он помнил и всегда держал камень за пазухой, но в советское время, да и на подходе к нему союзничество вернувшихся и раскаявшихся принимал охотно, мирился и работал вместе (с Троцким, с Луначарским, с Каменевым и Зиновьевым после их виража в октябре 1917-го, с Бухариным и многими другими: в прошлом — противниками, или временно отпадавшими, или оппозиционерами), не попрекал без дела вчерашним днем. Но прошлое — помнил и в “Завещании” раздал всем сестрам по серьгам. И только со Сталиным была смертная ссора в самом конце. Но в самом конце никого, кроме семьи, около него, иначе как в роли тюремщиков и соглядатаев, не оказалось. Даже врачами манипулировало Политбюро.

Пока же был в силе, бывал с товарищами порой и властен, и груб, и крут, что отразилось и в письмах, и в сочинениях, и в солженицынских главах.

Вообще человек (именно человек, а не воплощение сатаны) получается у Солженицына очень неоднородный: сильный, собранный, напряженный, нездоровый и... несчастливый. И бы-



вает, что посещает его тоска, особенно когда долго нет встреч и переписки с Инессой или начинает чувствоваться болезнь. Но все отгоняется и все подчиняется делу жизни.

Естественно, что Ленина, такого сверхчеловечески активного, раздражает в русском народе (да и во всяком другом: ведь и швейцарский, и английский, и американский пролетариат он кроет за оппортунизм, за миролюбие, за буржуазность) его долготерпение: "невоспламеняемые русские дрова". "Проиграно. Не будет в России революции". Его душит

*"отчаяние, что нет на Земле народа покорнее и бессмысленней русского. Границ его терпению не существует. Любую пакость, любую мерзость он споет и будет благодарить и почитать родного благодетеля".*

У Солженицына в Ленине говорит не только всепоглощающая революционная страсть, не только ненависть к царизму и народному долготерпению, но и к России как таковой:

*"Четвертушкой крови, но ни характером, ни волей, ни склонностями несколькими он не состоял в родстве с этой разляпистой, растяпистой, вечно пьяной страной".*

Ленин вряд ли стал бы подсчитывать состав своей крови: он для него безразличен. Его дед — лютеранин; по ряду данных — бывший кантонист, из евреев, — не ближе ему, чем бабка-калмычка, или дед-русский (есть некоторые свидетельства, что тоже крещеный калмык, так что, возможно, нет и этой "четвертушки" русской), или другая бабка — полунемка-полушведка. По воспитанию дети Ульяновых, да и сами Ульяновы, отец и мать, уже русские и другим культурам никаким непричастны.

Для тех, кто упрекает (или приветствует) Солженицына в связи с этим отрывком в антисемитизме, заметим: ни Ленин, ни автор ни о еврейской, ни о калмыцкой, ни о шведско-немецкой "четвертушке" ленинской крови не поминают и в уме их не держат: по Солженицыну, Ленин не инационален для России, а безнационален. Это ему принадлежит в солженицынском тексте мысль: "Социализм — безнационален". Россияне не хотят загораться, как сырые дрова, — попробуем поджечь благополучнейшую Швейцарию. Не загорается — двинем в Швецию. Не выйдет и там — есть еще в резерве Америка, куда Ленин, действительно, собирался в канун Февраля. Для Ленина социализм действительно безнационален. Но не стоит доверчиво поддаваться этому убеждению Ленина,

разделяемому, по всей видимости, Солженицыным. Есть и очень национальные, и воинственно, до полной моральной извращенности националистические социализмы. Можно начать хотя бы с Освальда Шпенглера\*. О дальнейшем же развитии нечего и говорить: национал-социализм, фашизм, некоторые современные подсоветские оппозиционные группы социал-националистического толка и т. д. А в "Третьем мире", в "развивающихся странах" разве нет социализмов с ярко национальной и даже национально-религиозной окраской? Социализмы есть и безнациональные, и националистические; и еврейский (сионистский), и антисемитские (хотя бы арабский и послевоенный советский); и белые, и черные, и цветные, — социализм универсален и глобален. У него множество воплощений. Это мировое, характерное для большой эпохи, весьма разветвленное (в том числе и на взаимно непримиримые варианты) течение мысли и политической деятельности, намеренное в каждом конкретном случае оптимально (с точки зрения реконструирующих) реконструировать мир. И общечеловеческая трагедия состоит в том, что основной принцип, объединяющий все эти разнохарактерные (порой ведущие истребительную, смертельную войну друг против друга) течения, непоправимо ошибочен. Построить "правильный", "счастливый", "новый" мир на основаниях, которые признают все социалисты (см. выше "конструкт" Ленина), невозможно. И даже в тех случаях, когда власть завоевывается ради благих, по убеждению завоевателя, преобразований, благополучие не наступает, и власть превращается в диктатуру ради диктатуры, ибо без сильного принуждения нерациональный строй сохранить нельзя.

Я не обнаружила в перечитанных мною (и Солженицыным упомянутых в приложении) ленинских томах ненависти собственно к России как понятию этнографическому, а не к царизму и не к долготерпению русского народа, которые, действительно, рождают в нем ярость. Напротив, он дважды пишет Инессе, что ждет "вестей с родины", имеет "некоторые хорошие вести с родины", а в еще одном письме, советуя ей кататься на лыжах, замечает о рекомендуемом лыжном маршруте: "...прелесть и Россией пахнет". Пожалуй, это явное в собственном ленин-

---

\* В работе "Прусская идея и социализм" (по-русски издана в 1922 году в Берлине) О. Шпенглер излагает свою доктрину немецкого государственного социализма, язвительно критикуя и марксизм, и либерализм.

ском наследии сочетание: некоторой естественной ностальгии и одновременно разрушительной ярости, ненависти к царской власти и к готовности народа мириться с ней — усилило бы многоцветность солженицынского Ленина.

...В день приезда Скларца с письмом от Парвуса (в день воображаемой встречи с Парвусом) Ленину особенно было плохо. Работа не задалась с утра. "А Ленин заболел от одного потерянного часа". Ощущение своего полного одиночества в деле своей жизни угнетало с беспощадной силой. Давило отчаяние. Чувство бесполезности всей многолетней титанической работы, мысль, что тратит время и силы в Швейцарии ни на что:

*"...на убеждение полудесятка молодых швейцарцев в Кегель-клубе. Да хорошо — хоть их. А когда раньше на собрания являлись два швейцарца, два немца, один поляк, один еврей, один русский и сидели анекдоты рассказывали — швах, пигмейство, бросать эту игру!"*

И болезнь — острота ее ощущения в этот день. "Беда, вошедшая навсегда". И весь эпизод с Парвусом разворачивается именно в такой несчастливый день. Весь Парвус — в воображении Ленина, и в воображении — в этот день — больном.

Три категории читателей приняли описание этой встречи как проявление антисемитизма на мистическом уровне: 1) антисемиты, 2) евреи с уязвленной антисемитизмом душой и 3) некоторые литературные оппоненты Солженицына, всегда готовые поставить ему любое лыко в строку.

Я уверена, что когда "Ленин в Цюрихе" будет переведен на иврит и его прочитают евреи — уроженцы Израиля, они никакого антисемитизма в этой книге, в том числе и в главе о Парвусе, не ощутят: они не сосредоточены на этой теме, она им не грезится — в отличие от их братьев из стран рассеяния. Но в нас, новопривыкших и непривыкших, обостренная реакция на все, в чем можно усмотреть антисемитизм, неизбежна. И мы никогда ни в ком с проявлениями антисемитизма не примиримся, потому что знаем, как он несправедлив, видели, как он бывает кровав, когда срывает с себя узду. Разница же между нами и коренными израильтянами ("сабрами") в том, что мы порой видим антисемитизм и там, где его нет; они же — не видят или презрительно игнорируют его и там, где он присутствует. Он им безразличен: они не жаждут всем нравиться, они не испытывают любви без взаимности к народам и/или культурам стран на-

шего рассеяния, как зачастую испытываем ее, даже уехав и даже в Израиль, мы. Так вот: может быть, это особенность моего зрения, но я антисемитизма в “Ленине в Цюрихе” не ощутила.

О национальности Парвуса в книге упоминается косвенно:

*“Еще в Одессе при Александре III сформулировал задачу, что освобождение евреев в России возможно только свержением царской власти — и тут же утерял интерес к русским делам, ушел на Запад”.*

Во всем своем диалоге с Лениным Парвус рассуждает то как социалист-интернационалист, ищущий “слабое звено”, где бы пробить первую брешь в капитализме, то — как немецкий патриот, жаждущий поражения России в войне и победы Германии. И это Ленина поражает и настораживает, заставляет несколько раз спрашивать себя: “Да вообще — социалист ли?” А Парвус внушает ему настойчиво и откровенно, чтобы не боялся соперничества с ним в российской революционной политике:

*“Я в Россию не поеду. Я — считаю себя немцем теперь”.*

Упомянутые мною категории читателей видят в Парвусе дьявола-искусителя в подчеркнуто еврейском облике. И Ленин тоже однажды ощущает “беспощадный, нечеловеческий ум во взгляде” Парвуса. Здесь единственный раз прорывается возможность глазами больного Ленина увидеть в Парвусе некое демоническое начало. Солженицын же очень трезво говорит о Парвусе: “Счастлирое... скрещение теоретика, политика и дельца”; жаждущего увидеть в России “совместный взрыв революции социальной и революции национальной”!

Солженицыну с его личным опытом социализма и нам, разделяющим этот опыт, все, имеющее отношение к социализму, видится безусловным злом. Но если сегодня есть люди, массы людей, видящие в социализме — в той его разновидности, за которую они сражаются или готовы сражаться, — безусловное благо, то прикиньте, вспомните, что было тогда, семьдесят лет тому назад. Приверженность к социализму тогда вовсе не означала субъективной приверженности к его злокачественной исторической реальности, известной нам теперь, но и по сей день не для всех очевидной. А тогда тем более это была зачастую лишь бескорыстная преданность неким филантропическим идеалам. Что с того, что эти идеалы были искони уязвимы и серьезной крити-

ки не выдерживали? Кто читал эту серьезную критику? Многие ли читают ее сегодня? Были пронзительные пророчества — кто верил пророчествам? Эти идеалы были привлекательны — вот в чем суть. Они и сегодня привлекательны в своем лозунговом воплощении для достаточно многих. И поэтому вряд ли следует тогдашнюю, до опытов XX века, приверженность к социализму считать субъективно преступной и дьявольской и всеми силами теперь от нее, тогдашней, отрешиваться. Исследовать — это иное дело, это — необходимо. Ведь именно это наше нынешнее познание социализма в опыте и заставляет нас воспринимать приверженность еврея начала века к самому радикальному социализму как вину еврейства, а констатацию такой приверженности считать проявлением антисемитизма. Антисемитов утверждает в их антисемитизме, а евреев и семитофилов задевает, что Парвус и еще двенадцать-тринадцать персонажей из приведенной в приложении к “Ленину в Цюрихе” справки “Революционеры и смежные лица” (всего на 48 имен) — евреи. В этом списке вслед за партийными псевдонимами (так же, кстати, как за псевдонимами русских Луначарского и Богданова) даны настоящие фамилии.

Но в документально аргументированной работе вполне уместны справочные данные о ее персонажах. Чем это компрометирует еврейство как таковое? Евреев действительно было много в среде российских наиболее радикальных социалистов начала века. Соотношение в главах Солженицына, возникшее из документов, 13—14 к 48-ми, вполне реально. Евреи Европы и Америки начала века с их узаконенной (в России) и незаконной (везде) дискриминированностью, с их обостренным восприятием социальной несправедливости, с их высокой активностью не могли не увлечься фразеологией могучей утопии в ее крайнем выражении.

Кроме дискриминированности, была еще одна причина, почему в самых радикальных движениях, в частности, в наиболее радикальных движениях России начала века, так много ассимилянтов из нацменьшинств, особенно евреев (ибо они ассимилировались активней всех). Ассимиляция естественно связывается с радикализмом: от своих корней и традиций ассимилянты полностью отрезаны, причем в первом поколении зачастую агрессивно (чтобы не тянуло обратно). А новую культуру они чаще всего перенимают без почвенных корней, без традиций и

их инерции, только на горизонтальном срезе, без вертикальной динамики, привязывающей к прошлому, заставляющей им дожить.

Во всяком случае, Солженицын в “Ленине в Цюрихе” ни разу евреев в приверженности к радикальному социализму не упрекает — он лишь без всяких акцентов демонстрирует этот исторический факт. И его Ганецкий (Фюрстенберг) “имел к денежным делам поразительный нюх и хватку — редкое и выгоднейшее качество для революционера” не из-за своего еврейского (евреи были среди революционеров нередки, а дельцы — редки), а “из-за своего буржуазного происхождения”. Такие дельцы, как он и Парвус (Гельфонд), — исключения, а не правило среди тех, с кем связан Ленин в своей работе, в том числе и среди евреев-социалистов. А еврей Мартов (Цедербаум) “не выносил моральной неразборчивости большевизма”, хотя периодами и бывал к нему политически близок.

Довелось мне слышать и такое обвинение по адресу Солженицына: в справке-списке “революционеров и смежных лиц” в конце книги ни о ком не сказано, кто как вел себя в советских застенках, только о еврее Зиновьеве (Апфельбауме) замечено: “Сохранилось свидетельство, что целовал сапоги оперчекистов, ведших его на расстрел, прося о пощаде”. И это тоже воспринимается как подчеркивание еврейской трусости. На мой взгляд, однако, совсем не потому дана здесь эта ремарка, что Зиновьев был Апфельбаумом, а потому, во-первых, что о нем действительно сохранилось такое свидетельство (о других — нет), а во-вторых, потому, что был он при власти и благоденствии одним из самых ранних, жестоких и беспощадных террористов-расстрельщиков (хотя сам не стрелял ни в кого никогда) в ленинской большевистской верхушке. Организатор петроградского террора, без колебаний посылавший на смерть тысячи, десятки тысяч людей, не нашел в себе мужества умереть достойно. Это измерение себя и других принципиально различными мерками очень характерно для первобольшевистской элиты. Троцкий печатно характеризовал расстрелы всего-навсего растерявшихся людей как хорошее профилактическое воспитательное средство для окружающих и при том писал трагические монологи о своей слегка повышенной температуре. Мягкий Бухарин громыхал филиппиками о “пролетарском принуждении во всех... формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью”

(“Экономика переходного периода”, М., 1920), и не решился явиться на XVI партсъезд, чтобы попытаться отстоять свои убеждения, боясь нападков и унижения. Ленин исходил смертоносным дождем террористических декретов, речей, телеграмм, приказов, советов, но когда в конце своей жизни, тяжело больной, оказался ущемленным в своей свободе, ощутил это как величайшую несправедливость и обливался слезами (свидетельств тому предостаточно). Всякому непредубежденному человеку ясно, что дело здесь не в решительно ими отвергнутом еврействе Зиновьева или Троцкого, не в незапятнанной русскости Бухарина и не в национальной мозаичности Ленина, а в профессиональной психологии насильственных перестройщиков мира, о которых сказано безошибочно:

*“...двуногих тварей миллионы для нас орудие одно”.*

Уж Солженицыным-то неоднократно и по различным поводам сказано, что у всех народов эти расстрельные благодетели психологически и тактически родственны.

А образ Парвуса пропитан настолько земными совершенствами, несовершенствами и противоречиями, что почти ничего не остается в нем от той сверхъестественности, которой наделило его воспаленное ленинское воображение в этот тяжелый день.

Парвус однажды уже приезжал, теперь прислал доверенного человека с письмом, чтобы предложить Ленину немецкие деньги для революционной деятельности в России. И Ленин протянутую ему руку оба раза отводит. Хотя деньги всегда составляли один из главных предметов заботы большевиков. Прежде всего “профессиональный революционер должен быть освобожден от обязанности думать, на что жить”. И для этого всегда остро нужны деньги — не только для себя, но и для круга верных. Затем

*“деньги — это ноги и руки партии, без денег любая партия беспомощна, одно болтунство. ...надо организовать укрытия, явки, транспорт, литературу, оружие и готовить бойцов, и содержать кадры, и в нужный момент совершить переворот”.*

*“Всем большевикам это было понятно от самого II съезда, от первых шагов самостоятельности: без денег — ни на шаг, деньги решают все. Первый путь был (как ныне, во всем мире. — Д. Ш.) — выжимать жертвования из русских толстосумов. ...От интеллигентского сочувствия. ...Где наследство вымотать, как у фабриканта Шмидта, членам партии жениться на наследницах, то в уральских горах обмануть банду Лбова — деньги взять у них, а оружия не привезти. То более систематически — развивать*

*военно-технические средства: в Финляндии готовились печатать фальшивые деньги, уже Красин водяную бумагу доставал, и для эксов готовил бомбы. Эксы пошли исключительно удачно: но на пятом съезде чистоплюйством Плеханова и Мартова запретили их, да и остановиться не было сил, и в Тифлисе Камо и Коба триумфально захватили еще 340 тысяч из казны”.*

Все это — абсолютно фактографично, доказано множеством документов. Так что Парвус имел все основания выкладывать карты на стол:

*“А по-моему, если войну превращать в гражданскую — так любые союзники хороши. Ну, а вас сейчас — сколько? — издевался. — Не спрашиваю, не принято. А у меня — не у меня, а для дела — вот, миллион весной получил, этим летом еще пять миллионов получаю. И будет еще не раз. Как?”*

Но Ленин не торопится протягивать руку навстречу — за щедрым даром. Еще и еще раз — почему?

Отчасти его отталкивает упрямый волевой натиск Парвуса. Отчасти не внушает доверия сам Парвус как личность. По впечатлениям Ленина, Парвус слишком не собран, не сосредоточен на одной цели, переменчив, непоследователен.

*“...едва предложения его превращались в движения, находили сторонников, — он не организовывал их, а отлипал, отпадал: он умел быть только первым и единственным на своем пути... ...то начинал торговать пьесами Горького (и обокрал его), то опускался в ничтожество, — мелок, неровен, противоречив”.*

С точки зрения Ленина, Парвус чрезвычайно непоследователен в своих блестящих статьях и как социалист. Заметим, что именно в том, что Ленин воспринимал как его ошибки, проявлялась порой дальновидность Парвуса, действительно, странная для социалиста. С одной стороны, он, по ощущению Ленина, нередко опережал его самого: он первый написал (впрочем, это ведь уже и у Маркса, и у Энгельса есть), “что промышленность взорвет национальные границы. ...И об империализме он, по сути, успел все сказать раньше Ленина”. Писал он и о неразлучности войн (мировых) и революций. Все это Ленин разделял и признавал своим. Но то и дело натыкался у Парвуса на мысли, которые казались ему нелепейшими:

*“что вся Европа ослабнет и зажметса в тисках между сверхдержавами*



*Америкой и Россией, что Россия — новая Америка, ей только не хватает школ и свободы.*

*...То, пренебрегая самой сутью марксизма, предлагал не национализировать частную промышленность, будто окажется это невыгодно.*

*...Или чудовищно бредил, что социалистическая партия свою выигранную власть может обратить против большинства народа и подавить профсоюзы.*

*Вот догадка: 25 лет социалистической публицистики — а социалист ли он?"*

Кроме того, не дает покоя самолюбию, унижает в собственном сознании и уязвляет Ленина главенство Парвуса и Троцкого в событиях 1905 года:

*"Надо было годам пройти, чтобы ребра, подмятые Парвусом, выправились, и вернулась уверенность, что тоже на что-то годишься и ты. А главное, надо было увидеть ошибки и провалы Парвуса, как и этот слон-бегемот опрометчиво ломил по чаще, и обломки прокальвали ему кожу, как он оступался в ямы на бегу, исключался из партии за присвоение денег, занимался спекуляцией, открыто кутил с полными блондинками — и наконец открыто поддержал немецкий империализм: откровенно высказывался в печати, в докладах и явно поехал в Берлин".*

При таких откровенных связях Парвуса — "один какой-нибудь Бурцев найдется — и все погибло". Связи Ленина через Парвуса с немецким правительством могут быть выставлены на всеобщее обозрение эсером Бурцевым — детективом-любителем, специалистом по вскрытию всяческих провокаций. А Ленин стремится к осторожности.

Все это так. Но главной причины отказа в то время взять у Парвуса немецкие деньги даже больной, даже расслабленный, бредящий Ленин не выдает, а "всесильный", "всеведущий", "демонический" Парвус не понимает, проявляя свою чисто человеческую ограниченность, незнание истинного положения дел.

Парвус видит в Ленине

*"единственного неповторимого социалиста Европы — совершенно непредвзятого, свободного от предрассудков, от чистоплюйства, в любом повороте дела готового принять любой нужный метод, приносящий успех: единственного жестокого реалиста, никогда не увлеченного иллюзиями, второго реалиста в социализме после Парвуса".*

Парвус уверен, что Ленин

*"не перекувится взять в союзники хоть и Вильгельма, хоть и сатану — только бы сокрушить царя. ...В меморандуме германскому правительству*

*Парвус прямо назвал Ленина с его подпольной организацией по всей России — как свою главную опору”.*

В силу этой своей уверенности Парвус и насаждает на Ленина:

*“Владимир Ильич! Пришел ваш час! Пришло время вашему подполью — работать и победить. У вас... не было денег, — теперь я волью вам сколько угодно. Открывайте трубы, по которым лить! В каких городах — кому платить деньги, назовите...”*

Почему же Ленин отказывается от такой удачи?

Ведь не из щепетильности же, потому что не было у него никогда никакой щепетильности в таких вопросах. И связь все-таки можно было как-то укрыть. И, наконец, нам-то сегодня известно, что взял он попозже эти же немецкие деньги, через того же, в конечном счете, Парвуса!

Вот здесь-то, пожалуй, и раскрывается главный парадокс этой предфевральской, предреволюционной минуты ленинской биографии. Вот уж поистине — “кто был ничем, тот станет всем”. Он был еще ничем в минуту этого все в нем корежащего и переворачивающего разговора. Он был чисто потенциальной величиной. Ему некуда было деть нежданно-негаданно свалившийся на голову клад.

Парвус напирал, давил, требовал...

*“А — не из чего было кроить разговор. А — не из чего было ответить. Надо было только достойно утаить свое бессилие: что никакой действующей организации у него в России нет, никакого подполья — нет.*

*Какие там еще национальности поднимать? Тут бы своей партии сохранить кусочек...*

*...Только бы не догадался (Парвус).*

*А Ленин ждал — чтобы случилось что-нибудь. Чтобы какая-нибудь материальная волна перекинула бы его челночек в уже сделанное.*

*Как на посмешку, все ленинские идеи, на которые он жизнь уложил, вот не могли изменить ни хода войны, ни превратить ее в гражданскую, ни вынудить Россию проиграть.*

*Челночек лежал на песке как детская игрушка, а волны не было...*

*А письмо на дорогой зеленоватой бумаге лежало и спрашивало: так что же, Владимир Ильич, участие в а ш и х — будет или нет? Ваши явочные адреса? Ваши приемщики оружия? Что у вас есть реального, скажите?*

*Что есть — Ленин как раз и не мог ответить, потому что: не было ничего”.*

Через свою, Скларца, Ганецкого коммерческую деятельность Парвус помимо Ленина вливает деньги кайзера Вильгельма в рус-

скую революцию. Но этого мало, ничтожно мало: у Парвуса нет достаточно разветвленной сети. “А Ленин свою готовую — предательски скрыл”.

И Парвус убирается на глазах у Ленина в скларцев баул и растворяется в воздухе вместе со Скларцем, оставшись при этом своим убеждением в непростительной глупости, неожиданнейшем чистоплюйстве или коварстве Ленина. А Ленин застывает в изнеможении с письмом на противно богатой толстой зеленоватой бумаге в руках.

Парвус выплывает в главах еще раз: когда разразится немислимым, неимоверным выигрышем для Ленина февральская революция и будет принято им, после недолгих, но сильных колебаний, решение — ехать, его повезут — немцы, и за Скларцем и Ганецким, ведущими переговоры, будет стоять все тот же Парвус. О нем, об имеющих притечь через него немецких деньгах — затоскует Ленин, как только поймет, что пора, что можно и следует ехать — без особой личной для себя опасности. И теперь начнет томить нетерпение:

*“Что сейчас Парвус будет делать? Ах, надо было подружественней ответить ему!”*

сюжетно-композиционная ниточка в недалекое будущее...

*“И молчал всесильный Парвус.*

*Да он справедливо мог быть и в обиде.*

*...Но некуда было деться им друг от друга: события соединяли их.*

*Если платили ему миллионы ради призрака, — то сейчас-то есть для чего платить.*

*И — будет, куда принимать. И теперь-то и нужно, не тогда”.*

Но это — зачин уже новых глав, головокружительного взлета Ленина, милостиво, лет на шесть, отпущенного ему болезнью, — победы сказочной, вырванной им у человеческой близорукости, у сработавшей на него истории.

### 3. Пролог

Атмосфера “Ленина в Цюрихе” с ее пристрастностью, нетерпимостью, неприятием действительности — это реальность умственного и душевного состояния Ленина тех лет, а не следствие мироощущения самого автора, как представляется некоторым читателям (критикам) Солженицына. После того, как Ленин уверовал в российскую революцию, его настроение резко меняется.

Последние, начиная с главки "Л – 2" в "Марте семнадцатого", страницы "Ленина в Цюрихе" – это сжатый в тугую пружину пролог нового исторического сюжета – борьба Ленина против Временного правительства в последующие сверхнапряженные месяцы. Это напряжение уже не отпустит Ленина до последнего смертельного удара, когда совсем исчезнет способность думать. В эти страницы вставлены подлинные документы, выделенные автором как таковые. Но и там, где такого выделения нет, мысли, реплики, обращения Ленина к немногим его адресатам снова строго цитатны, хотя Солженицын и не дает нам эту цитатность почувствовать.

*"Поезд покачивал, а он все – думал и думал. В Петербурге нет настоящей силы. Сила – это царь с его аппаратом, но их вытолкнули. Сила – это армия, но она прикована к фронту. А кадеты – никакая не сила. А совет депутатов – много ли весит?.. В Петербурге – пустота, в Совете – пустота и засасывающе ждет, зовет – е з о силу".*

И далее, манипулируя людьми и документами для того, чтобы воспользоваться помощью немцев для проезда в Россию с наименьшими для себя тактическими потерями, Ленин одновременно продумывает, пишет и рассылает своим людям инструкции: как с данной минуты, с первого шага там, в России, увеличивать хаос, углублять деструкцию, рушить последние скрепы в обществе. А самим при этом вырастать в цепкую, жестко централизованную силу, способную этой измучившей общество неразберихой в какой-то критический момент овладеть. Он провидит в последние дни в Цюрихе эту головокружительную возможность. Вот только

*"голову Ленин носил как драгоценное и больное. Аппарат для мгновенного принятия безошибочных решений... низкой мстительностью природы был болезненно и как-то, как будто, разветвленно поражен, все в новых местах отзывается. Вероятно, как прорастает плесень в массивном куске живого – хлеба, мяса, гриба... вырваться невозможно! От этой головы отделиться – некуда".*

Но болезнь предоставит необходимое время для выигрыша. Правда, вырвет она его из игры обиднейше рано и даст ощутить горечь предательства со стороны вернейших, но это совсем уже другое повествование...

У Бориса Пастернака в "Высокой болезни" есть такие строки о Ленине:

Он управлял течением мыслей  
И только потому – страной.

В канун возвращения из эмиграции он, действительно, управлял только “течением мыслей” своих немногих сторонников. Солженицын показал это впечатляюще и, главное, исторически точно. По приезде в Россию Ленин тоже, с помощью бесчисленных газет, листовок, листков (немецкие деньги!), агитаторов, пропагандистов, собраний, митингов начнет все эффективней манипулировать “течением мыслей”, а главное – настроением, эмоциями теперь уже не только своих сподвижников, а тысячных толп. Он и потом, после победы, до тех пор, пока не отнимется рука и не исчезнет способность диктовать, не прекратит этого безостановочного воздействия на “течение мыслей”, принадлежащих и немногим ближайшим, и бесчисленным дальним. Но после его победы, его волей, в стране начнет немедленно и все более сужаться возможность для его оппонентов тоже влиять на умы и сердца сограждан. И во все большей мере он станет управлять далеко не одним только “течением мыслей”. Едва придя к власти, он отстроит эффективнейший и все разрастающийся вширь и вглубь аппарат принуждения и уже на девятый день своего правления издаст сочиненный Троцким декрет о цензуре. Мысль, слово будут подчинены беспощадному аппарату принуждения прежде всего. Очень оперативно будет создано то, что он сам назовет “монополией легальности” своей партии. Но это – уже другая повесть, это – Ленин уже не в Цюрихе, а в Кремле. Поэтому здесь мы об этом говорить не будем.

Закончим другим. Оппоненты Солженицына, откровенно и прикровенно (называя его по имени и лишь намекая на него) изображают его бесконечно уверенным в себе глашатаем не вопросов, а исключительно одних только ответов – одномыслем, уверенным в своей монополии на истину. Между тем, над “Лениным в Цюрихе” витает тень не ответов, а одного из самых трагических вопросов нашего времени: к а к управление “течением мыслей” кучки сторонников превращается в манипулирование поведением миллионов? И почему такое манипулирование удается тем, кто влечет человечество в тупики, откуда нет мирных выходов (Ленин, Гитлер, Хомейни...)? Будем надеяться, что весь солженицынский замысел в целом поможет нам увидеть, как и почему это происходит.

## ВЕЛИКОЛЕПНОЕ БУДУЩЕЕ РОССИИ

Заметки при чтении "Августа Четырнадцатого" А. Солженицына

*"Вишь ты", сказал один другому: "вон какое колесо! что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву, или не доедет?" — "Доедет", — отвечал другой.*

Гоголь

I

Исторические романы, как гласит ходячая мудрость, обычно пишутся, чтобы свести счеты с настоящим. Изредка они действительно изображают события прошлого. Книга Солженицына, заглавие которой отсылает нас на семьдесят лет назад, на самом деле есть книга о будущем. Тысячестраничный "Август Четырнадцатого" — не роман, а лишь вступительная часть ("узел первый" в терминах автора) эпопеи ("повествования в отмеренных сроках" по той же терминологии). Все сочинение в целом называется "Красное колесо".

Нам предстоит знакомство с прозаическим произведением беспрецедентным, прежде всего, по размеру: вероятно, в десять-двенадцать тысяч книжных страниц. При этом, прочитав "Август Четырнадцатого", мы убеждаемся, что автор не лукавит, называя объемистый "узел первый" вступлением. Он не подсовывает нам законченный роман, который мог бы существовать и сам по себе, хотя бы иными сюжетными линиями и предстояло развиваться в будущих частях эпопеи (как в серийных романах типа "Человече-

---

*Статья профессора Л. Лосева предоставлена автором журналу "Континент" и опубликована в № 42 этого журнала. Журнал "22" перепечатывает статью профессора Л. Лосева с любезного разрешения журнала "Континент" и с некоторыми сокращениями.*

ской комедии”, “Ругон-Маккаров” или “Саги о Форсайтах”). Несмотря на внушительный размер, сама структура “Августа Четырнадцатого” свидетельствует о том, что это и правда лишь начало, завязка (“узел первый”). В законченном произведении была бы невозможна столь вопиющая диспропорция в распределении материала: около 40 процентов текста отведено описанию военных действий, примерно столько же политической истории России и лишь примерно одна пятая собственно героям книги: Лаженицыну, Воротынцеву, Томчакам, Ленартовичам. Большинство из этих персонажей лишь представлены в “Августе Четырнадцатого”, у читателя остается впечатление, что с ними еще не раз предстоит встретиться, что главное еще впереди...

## II

...В будущем чтении всего повествования, возможно, проявится общий ритм, начало, организующее сюжетно едва связанные, разно-стильные и едва ли не разноприродные секции. Пока же волей-неволей впечатление такое, что прочел как бы ряд отдельных вещей: во-первых, начало большого романа с вышеупомянутыми героями, во-вторых, беллетризованную хронику военных действий в Восточной Пруссии в начале первой мировой войны, а затем три повести — повесть о террористе Дмитрие Богрове, житие Петра Столыпина и памфлет, сатирическую повесть о Николае II. (Еще — сатирическую же новеллу о Ленине.)

Таким образом, мелькавшее в первых критических отзывах сравнение с “Войной и миром” представляется очень поверхностным. “Красное колесо” явно задумано по-другому. Военно-исторические и историософские главы в романе Толстого не имеют такого самостоятельного статуса, как сходные части в “Августе Четырнадцатого”. У Толстого они куда крепче вплетены в сюжет. Вставных (со-ставных) элементов у Толстого нет. Нет в “Войне и мире” повести о трудах и днях Сперанского, сатиры на Наполеона, жития Кутузова.

Настоящий жанровый прецедент “Красному колесу” все же можно отыскать в истории русской литературы. Только копаться придется куда глубже Толстого. Это — летописи. Вот в летописях действительно накапливались и притирались друг к другу и документ, и сбивчивый рассказ очевидца, и благочестивое житие, и ядовитое поношение...

### III

...В композиции первой части "Августа Четырнадцатого"... сейчас еще очень трудно уловить замысел автора — почему именно в этих двух местах, а не в иных, перебил он последовательность фронтовых эпизодов (большая часть первой половины) главами о Ленине и о прощании Сани и Коти с Москвой. В композиции второй половины, по крайней мере, легко просматривается симметрия. Центральная и основная (две трети) часть текста второй половины занята историческим отступлением ("Из узлов предыдущих" называет эти главы автор). Историческая часть обрамлена примерно одного размера кусками из романного "сегодня", то есть 1914 года. Причем эти "сегодняшние" куски разбиты в начале и в конце тоже симметрично: в начале — фронт, тыл, в конце — тыл, фронт.

Есть в таком построении прямая логика. В начале — картина окончательного военного разгрома. Затем, в тыловых сценах, разговоры об истории революционного движения, расшатавшего русские государственные устои — причина катастрофы. Затем начинается большое отступление, к 1911 году, к предыдущей катастрофе, предыдущему "узлу", перебитое в свою очередь двумя примерно одноразмерными вставными новеллами, поставленными в явную параллель историческими портретами. Апологетическое жизнеописание Столыпина начинается с отступа от 1911 года к началу его деятельности и заканчивается возвращением в 1911-й. Так же сатирическое жизнеописание Николая начинается с отступа к его первым шагам и постепенно возвращает нас, через 1911-й, к 1914-му, к "сегодня" романа, к концовке.

Причинно-следственная стройность в таком построении несомненно есть. Художественные связи между фрагментами менее убедительны. Возможно, они лучше проявятся в общей перспективе "Красного колеса".

### IV

Где композиционное мастерство Солженицына проявляется во всем блеске — это внутри центрального фрагмента. Отсюда у истории покушения Богрова на Столыпина особая законченность, завершенность, отдельность. Словно бы на стене строяще-



гося дома, где еще едва наведены первые этажи и во все стороны торчат балки и арматура, скульптор уже укрепил тщательно отделанный барельеф.

2 сентября 1911 года в киевском Городском Театре в присутствии царя 24-летний анархист Дмитрий Богров, сын местного богатого адвоката-еврея, застрелил председателя совета министров России П. А. Столыпина.

Это событие многие современники склонны были считать почти случайностью. Терроризм, казалось, уже сошел в это время со сцены. Известные террористические акты прошлого совершались подпольными группами революционеров как ключевые моменты их программы. Но покушение Богрова было делом одиночки, действовавшего на свой страх и риск и не имевшего за плечами никакой организации, кроме той, которую он сам нафантазировал, чтобы водить за нос охранное отделение.

Имело хождение несколько версий, объясняющих преступление Богрова (все они широко обсуждались в печати после покушения и снова в двадцатые годы, когда открылся доступ к полицейским архивам и когда старые подпольщики взялись за мемуары). Основных же версий было три, и все они вертелись вокруг несомненного факта связи Богрова с охранным отделением, где он в течение нескольких лет, вплоть до покушения, числился тайным агентом.

По первой версии, Богров совершил убийство премьера (а фактически и самоубийство), чтобы реабилитировать себя перед товарищами, когда его связь с охраной стала известной. Эту версию отвергло большинство старых подпольщиков. Да и по архивам выяснилось, что Богров фактически дурачил охранное отделение, никогда не предоставляя ему сведений, могущих действительно повредить подполью, хотя такими сведениями часто располагал.

По другой версии, построенной уже на чистых домыслах, Богров был орудием в руках охранного отделения и тех косных придворных кругов, которым мешал энергичный реформатор Столыпин.

Наконец, по третьей, которая весьма доказательно представлена в книге старшего брата убийцы, В. Богрова "Дм. Богров и убийство Столыпина" (Берлин, изд. "Стрела", 1913), Дм. Богров был настоящим фанатиком-анархистом, он тщательно продумал и спланировал свое преступление. Особенно продуман был именно выбор цели. Почему он стрелял в Столыпина, а не пытался убить

царя? Потому что смерть Столыпина была бы куда более страшным ударом по ненавистной молодому анархисту русской государственности, чем смерть заурядного царя. Кроме того, Богров опасался, что убийство царя рукой еврея вызовет еврейские погромы.

Во внешне-исторической канве своей повести о Богрове Солженицын придерживается именно этой, последней, версии. Он разрабатывает ее со свойственной ему доскональностью и с тем почти гипертрофированным почтением, которое свойственно его обращению с историческими материалами. (Характерно, что на самой последней странице книги уже после оглавления, он считает необходимым добавить своего рода "с подлинным верно": "Все заметные исторические лица, все крупные военачальники, упоминаемые революционеры, как и весь материал обзорных и царских глав, вся история убийства Столыпина Богровым, все детали военных действий, до судьбы каждого полка и многих батальонов, — подлинные".) В диалогах и внутренних монологах персонажей можно встретить прямые цитаты из опубликованных материалов о Богрове.

Но для художественного исследования истории, которое ведет Солженицын, не столь важен вопрос о том, как и почему Богров убил Столыпина, сколь — что убило Столыпина и что у б и л Богров.

Структура этого художественного текста сложна, исследование ведется в нескольких планах одновременно, и ответ дается не только вербализованный, но и, еще более, в подтексте. И там на разных уровнях: психологическом, мифологическом.

Прежде всего, известный по источникам облик Богрова, его психологический портрет, углублен скрупулезным психоанализом. Ненавязчиво обрисовывается болезненный, физически неполноценный отпрыск буржуазной семьи: "Он был высоковат, всегда худ, бледен, или с нездоровым румянцем, неестественно моложав — к двадцати годам никакой растительности на лице" (II, 116), "телесной силы совсем не было в нем..." (там же), "а любимой женщины у него не бывало" (II, 124). В основе его революционности, усердно в себе разжигаемой, рационализируемой, лежат компенсаторные механизмы, ущемленное "я" стремится быть в центре всеобщего внимания, над всеми.

Это закрепляется в тексте развернутой, стержневой метафо-

рой цирка и взбирающегося по шесту акробата. Богров начинает непосредственную подготовку к покушению:

*“Все это выглядело как колоссальный цирк, где зрителями был создан весь Киев, да по сути – вся Россия, да даже и весь мир. Сотни тысяч зрителей глазели из амфитеатра, а наверху на показной площадке, под самым куполом, в зените, выступали – коронованный дурак и Столыпин. А маленькому Богрову, чтобы нанести смертельный укол одному из них, надо было приблизиться к ним вплотную – значит вознестись, но не умея летать, взлезть, но не имея лестницы и в противодействии всей многотысячной охраны.*

*Образ цирка вызывает образ центрального шеста, поддерживающего вершину шатра. Вот по такому шесту – совершенно гладкому, без зазубрины, без сучка, надо будет всползти, никем не поддержанному, но всеми сбрасываемому, всползти, ни за что не держась” (II, 137–138).*

Вот версия, излагаемая Богровым охранникам, заколебалась:

*“О, какой скользкий гладкий шест! Прижаться к его палочному телу самим собою, всем телом своим тереться и переползть по неправдоподобностям” (II, 141).*

Но нет, наживка проглочена:

*“И отважный увидел себя – уже на половине шеста, нет – выше половины: уже мелкими кажутся те бесправные муравьи, из которых пополз три часа назад. И уже совсем не так далеко вверху заветная площадка!” (II, 144–146).*

Вот его хитросплетение снова заколебалось:

*“Коченеет, онемела вся долгота тела, вот – свалится со всей высоты (...) Почему все оступки, оскользы и срывы не постигают нас в плавной жизни, а только – на самом крутом опасном месте?” (II, 149).*

И так далее вплоть до вождя момента, когда он очутился, с браунингом в кармане, в одном зале со Столыпиным:

*“Эта публика не видела, как взбираются под купол, под верхнюю площадку, – она увидит только последний фокус” (II, 164).*

Под внешностью инфантильного недотыкомки – ловкий пацан, ради эффектного трюка играющий судьбой великого народа. Но

под этим внутренним Богровым, под этим богровским “супер-эго”, Солженицын вскрывает еще и третью, самую углубленно-запрянную из сущностей Богрова. Что же это такое таится в самой глубине личности Богрова, в такой глубине, где личность уже и перестает быть личностью, превращается в явление родовое?

А вот что. Не только бесстрашно-гибким акробатом представляется себе Богров. Вот он любит себя собственной изворотливостью:

*“...как это удалось: проползти бесшумно, невидимо, между революцией и полицией, разыскать там щель и точно в нее уложиться (II, 124).*

Еще один портрет — каким увидел Богрова старый эсер Егор Лазарев:

*“...полуболезненный, утомленный безусый юноша в пенсне, с передлинными верхними двумя резцами, они выдвигались вперед, когда при разговоре поднималась верхняя губа...” (II, 131).*

И не связано ли с этими резцами — “нанести смертельный укол” (II, 138)? И дальше, еще точнее:

*“В душевой заперти Богров сидел, с в о р а ч и в а л с я , лежал, ходил, сидел, раскачивался — обдумывал. Те несколько нужных капель для рокового мига должны были накопиться, насочиться — в мозгу? в зубу? в зубу? (II, 146; курсив мой. — Л. Л.).*

Змея. Слово ни разу не названо, но, по тонко отмеченному Герценом закону литературы, “подразумеваемые слова увеличивают силу речи”. Да и в самом “Августе Четырнадцатого” Варсонофьев предупреждает Саню и Котю, а заодно и читателя:

*“Полная ясность бывает только в простячком. Лучшая поэзия — в загадках. Вы не замечали, какой там тонкий кружевной ход мысли?” (I, 405)\*.*

---

\* Как мы знаем из воспоминаний Л. Чуковской, когда Солженицын прочел Ахматовой свои стихи, она деликатно заметила, что в них мало загадочности. На это будто бы Солженицын возразил, что в ее собственных стихах загадочности слишком много. Это верно: загадочность в природе ахматовской поэзии. Но, видно, поэтический урок Ахматовой Солженицыным все же был усвоен. Вообще же идеологически между ним и поэтессой, сказавшей: “...невинная корчилась Русь”, — не мало общего.

Заметили. И, вкравшись в читательское сознание, слившись с образом нездорового молодого еврея, образ змеи реализуется в новых и новых деталях. Вот Богров идет в Купеческий сад — напряженный, решительный — на охоту за Столыпинам. И вдруг непредвиденное обстоятельство — оркестр:

*“Как разбирают эти скрипки! А может быть отдаться музыке...”* (II, 150).

Как известно, музыка — старое верное средство завораживания змей. Но в следующем эпизоде уже Богров гипнотизирует расслабленного, сонного Кулябку.

То, что в читательском сознании накапливается постепенно, постепенно проясняется как змеиная ипостась Богрова, — сотней страниц дальше мгновенно, с первого взгляда распознает его жертва, Столыпин.

Это второе описание момента убийства в романе. В первый раз оно дано через сознание убийцы, второй раз — жертвы. В антракте спектакля Столыпин стоит, облокотившись на барьер оркестровой ямы лицом к проходу.

*“...проход пуст до самого конца. По нему шел, как и з в и в а л с я , у з к и й , д л и н н ы й , во фраке, чер н ы й...”* (II, 248; курсив мой. — Л. Л.).

И только после роковых выстрелов вплетается в повествование наконец и само слово:

*“Террорист”, з м е я с ь черной спиной, убежал”* (II, 249; курсив мой. — Л. Л.).

“Эко дело, — скажет иной читатель, — змея — расхожий нарицательный образ, ругательство. Только что у Солженицына эта метафора протянута через большой кусок текста”.

Это неверно. Солженицын возвращает заштампованной употреблением метафоре первоначальную силу. Он подкрепляет ее целым рядом приемов, которые полностью проявляются только в рамках противопоставления: Богров—Столыпин. На этом противопоставлении, как на каркасе, и держится сюжет повести о Богрове.

Столыпин — столп отчизны, воплощение лучших национальных черт, вершина органического развития русской истории.

Богров — космополит, русского у него ни в крови, ни в характере ничего нет, он выродок беспочвенного радикализма.

Мы помним, каким бестелесным, противоприродным изображен Богров, "полуболезненный", "с голосом надтреснутым". Впервые он сталкивается с премьером в Петербурге случайно:

*"Крупной фигурой, густым голосом и как он твердо ступал и как уверенно принимал решения – Столыпин еще усилил то впечатление крепости, несбиваемости, здоровья, какое улавливалось и через газеты..."* (II, 129–130).

Это противопоставление актуализируется в сознании читателя по мере чтения входящих одно в другое повествований о Богрове и Столыпине и достигает апогея в повторной сцене убийства.

Твердый крупный Столыпин стоит, опершись на барьер, в белом сюртуке.

Тонкий узкий убийца извивается по направлению к нему весь в черном.

*"Столыпин стоял, беседовал...", "Столыпин стоял...", "Столыпин стоял все один...", "Столыпин поднял левую руку – и ею, мерно, истоиво, не торопясь, перекрестил Государя"* (II, 248–249).

Во всей сцене убийства Столыпин описывается простыми личными предложениями: подлежащее – сказуемое, имя – глагол.

Приближающийся убийца лишен существительного имени: "По нем шел, как извивался, узкий" и т. д. \*

Взглянем еще раз на эти четко прочерченные оппозиции:

<i>Столыпин</i>	<i>Богров</i>
крепко стоит.....	движется, извиваясь
плотный.....	бестелесный
сильный.....	слабый
мужественный.....	бесполой
патетичен.....	ироничен
светлый.....	черный
имя существ. (собственное) .....	лишен имени существительного
под знаком креста.....	
...а Богров?	

---

\* Отметим попутно, что в данном контексте семантическая нагрузка неопределенно-личного предложения совсем другая, нежели в ранее цитированном примере.

Отчетливо прорисовывается мифологема противоборство Добра и Зла (причем последнее по христианской традиции характеризуется признаком бестелесности, бесхребетности), Света и Тьмы, Креста и Змия.

## V

Можно ли полагаться на "Август Четырнадцатого" как на источник сведений по русской истории?

У критика и военного историка Н. Рутыча даже вопроса такого не возникает. В своей обстоятельной статье ("От Воротынцева к Столыпину", "Русская мысль", 27 октября 1983) он лишь отмечает, где Солженицыным выполнено самостоятельное историческое исследование (победа корпуса русского генерала Мартоса под Орлау и ее роль в ходе европейской войны), а где Солженицын компилирует известные материалы.

Английский историк и литературный критик Джеффри Хоскинг, подтверждая в основном достоверность изображенных Солженицыным событий, ставит под сомнение объективность некоторых оценок писателя. Он, в частности, показывает, что борьбу Столыпина с думской оппозицией Солженицын подчас описывает упрощенно, а подчас и просто неверно.

*"Нет сомнения, на мой взгляд, — пишет Хоскинг, — что Столыпин был выдающимся государственным деятелем России начала XX века, и именно по тем причинам, которые выдвигает Солженицын. Что, однако, тревожит в его историческом портрете — это недостаток нюансов, полное отсутствие ощущения сложности событий" ("Обрыв в хаос", "Таймс Литерари Сопплмент", 3 февраля 1984).*

Да, соглашается с Солженицыным Хоскинг, Столыпин ставил своей исторической задачей превратить Россию в правовое государство, но он сам же и подрывал слабый, еще только зарождающийся парламентаризм, "Закон о выходе из общины", потрясение вековых устоев, катаклизм в русской истории, он провел по ст. 87, о "чрезвычайных обстоятельствах", то есть в обход Думы.

*"Солженицын утверждает, что аграрная реформа была неотложно нужна, а Дума дебатировала бы ее до скончания веков. Совер-*

*шенно верно, — пишет Хоскинг, — иными словами, налицо была подлинная дилемма, и представлять дело таким образом, будто для нее имелось простое и очевидное решение, не угодное лишь злонамеренным элементам, значит исказить сложность исторической ситуации” (там же).*

Другой важнейший вопрос — о местном самоуправлении, о земствах, так же неправильно представлен Солженицыным, по мнению Хоскинга. Ибо не левые депутаты завалили законопроект — Дума как раз приняла предложения Столыпина по вопросу о земствах, — а русские помещики при обсуждении законопроекта на местном уровне, так как самостоятельность земств грозила им серьезным ущемлением их прав.

*“Солженицын, — заключает Хоскинг, — фактически не уделяет достаточного внимания тем политическим и общественным силам, которые поддерживали Столыпина и лишь колебались по поводу отдельных пунктов столыпинской программы. Он создает образ Столыпина как одинокого отстаивателя прогресса и национального достоинства, храброго воина в неравном бою. Все это повествование мелодраматично, чересчур сосредоточено на покушении и в нем упущены сложности и противоречия, которые и составляют подлинную драму истории” (там же).*

Итак, по мнению Н. Рутыча “Август Четырнадцатого” — безупречный исторический источник, а по мнению Дж. Хоскинга — не вполне. Еще один автор, написавший об “Августе Четырнадцатого” интересную статью, Юрий Кублановский, не вдается в оценку качества солженицынской историографии, но просто констатирует в начале:

*“Задача Солженицына не только “истолковать”, но и впервые написать нашу новейшую историю, тщательно скрываемую, глубоко погребенную большевизмом. Соответственно тут мало одной художественной “трактовки”, одного “образа”, — надо воскрешать сам предмет: тут невозможно обойтись без больших документальных фрагментов” (“У истоков стиля”, “Русская мысль”, 20 октября 1983) \*.*

---

\* Цело, конечно, не в воскрешении предмета. Ситуация здесь не та, что была с ГУЛагом, о котором до Солженицына знали очень мало. И о Столыпине, и об эпохе существует обширная литература по-русски и на других



Таким образом и этот автор рассматривает “Август Четырнадцатого” как исторический источник, точнее как некую комбинацию художественных кусков прозы и документальных (он так и определяет: “документально-художественная эпопея”).

Вероятно, говоря о документальности, Кублановский не имеет в виду десять небольших вставок под рубрикой “Документы”. Сатирическое значение этих интерполяций самоочевидно. Как, например, в финале, где иронической виньеткой, завершающей трагедию, дана телеграмма главнокомандующего царю: “Счастлив порадовать Ваше Величество...” Нет, согласные и не согласные между собой критики под историческими разделами “Августа Четырнадцатого” имеют в виду сводные очерки деятельности Столыпина и Николая II, описание военных действий, очерк истории революционного движения (в рассказе тетушек). И сам автор подталкивает к такому пониманию, предваряя очерк о Столыпине извинением, что нарушает, мол, романную форму, вынужден давать историю.

Однако не вводит ли автор критиков этим слегка в заблуждение, не слишком ли охотно критики соглашаются играть по предлагаемым правилам, забывая правила собственного критического ремесла? Не шлют ли они в результате и свои похвалы, и свои несогласия с отклонением от цели?

Мне-то, по ученичеству моему у Бахтина, кажется, что в художественном тексте у всех, чьи слова, мысли и поступки представлены, одинаковый статус — персонажей, а ценностные отношения по шкале морального и аморального, правдивого и ложного, исторического и фантастического определяются только модуляциями авторского голоса: что из описываемого дается всерьез, а что иронически, что как объективная реальность, а что как пристрастное мнение.

С этой точки зрения и тот, кто представлен автором на странице 169 второй половины “Августа Четырнадцатого” как Автор (“Автор не разрешил бы себе такого грубого излома романной формы...”), независимо от намерений автора, не обладает в глазах читателя авторитетом большим, чем, скажем, другой персонаж — Варсонофьев. С первых же слов монолога Автора (“Не все дают

---

языках: исследования, публикации, мемуары. Кублановский, видимо, хотел сказать, что современной русской публике большинство из этих материалов недоступны, что ей известны лишь фальсифицированные сведения из советских учебников.

себе труд...") мы видим, что он полемичен, пристрастен, запальчив, то есть проявляет в своем "историческом очерке" все качества, противоположенные историку. Таким образом, подлинный автор, скрытый deus повествования, как бы приглашает нас относиться к данному монологу не то что критически, но брать его в сопоставлении с другими высказываниями на ту же тему в романе.

Солитарный со своим героем, Столыпиним, Автор "исторического очерка" очень рационально показывает, как можно было выправить русскую историю. А на это из середины романа доносится возражение Варсонофьева:

*"История — иррациональна, молодые люди. У нее своя органическая, а для нас может быть непостижимая ткань (...) История растет как дерево живое. И разум для нее топор, разумом вы ее не вырастите"* и т. д. (I, 410).

Нет, относиться к эпопее Солженицына как к прямому описанию русской истории начала века нельзя. Дело не только в том, что Солженицын часто субъективен, тогда как за историком предполагается объективность. В рамках своего повествования Солженицын вполне объективен, но воспринимаемый неправильно, как историк, он избирателен и пристрастен, а следовательно ненадежен. Как писатель он должен быть избирателен и пристрастен, ибо без стиля нет литературы, а стиль, в конечном счете, это и есть разборчивость, пристрастность, страсть.

## VI

Вычитывание из "Августа Четырнадцатого" исторических фактов бесконечно обедняет, почти уничтожает художественное содержание книги. Не в эпизодах, деталях, высказываниях, оценках дает автор историю, а в сложных взаимоотношениях оценок, высказываний, деталей, эпизодов. Вычитывание из романа отдельных исторических суждений может быть и просто опасно: вытащи камень с одной стороны — арка рухнет. Если вычитать из "Преступления и наказания" отдельно изначальные резоны Раскольникова, можно получить гнусный вывод: убийство допустимо. Если вычитать из "Августа Четырнадцатого" отдельные куски повести о Богрове, можно получить гнусный вывод: антисемитизм.

Подготавливая эти заметки, я читал разные материалы, в том

числе цитировавшуюся выше книжку брата Богрова. Книжка редкая, экземпляр достался мне затрепанный и обильно прокомментированный на полях каким-то преклонных лет, судя по орфографии, читателем вскоре после войны. Маргиналии моего предшественника были весьма однообразны. Расписывает, к примеру, автор душевные качества покойного (брат, все-таки!) : "Тонкая духовная организация, душевная мягкость..." – "Еврейское лицемерие", – комментирует карандаш на полях. "По его глубокому убеждению он должен был осчастливить мир..." – "Еврейский". "Что побудило сына состоятельных родителей поступить в охрану?" Тут карандаш даже задыхается от возмущения: "Еврей он или нет?" И, наконец, решительное резюме на все решаемые в брошюре "тайны" и "загадки": "Никакой тайны нет. Еврей одурачил хохла Кулябко".

Конечно, такая непреклонность способна во всем различить козни мирового кагала. Как писал Олейников:

Если в кране нет воды,  
воду выпили жида.

Немало может почерпнуть так целеустремленный читатель и из повести о том, как еврейский хлюст, повинувшись "трехтысячелетнему тонкому зову", коварно убил спасителя России.

Солженицын подчеркивает мотив еврейского национализма в истории Богрова. Он тут вполне следует за самим Богровым, который называл в числе своих побуждений месть правительству за еврейские погромы:

*"...позвольте вам напомнить, до сих пор живем под господством черносотенных вождей. Евреи никогда не забудут Крушеванов, Дубровиных, Пуришкевичей. А где Герценштейн? А где Йоллос? Где тысячи растерзанных евреев?" (II, 132).*

Это лишь слегка сокращенная цитата подлинных слов Богрова, приведенных в воспоминаниях Егора Лазарева\*. С самого начала имя Богрова в повести окружено почти исключительно еврейскими именами. Наум Тыш, бр. Городецкие, Саул Ашкинази, Янкель Штейнер, Роза 1-ая Михельсон, Иуда Гроссман, Хана Будянская, Берта Скловская, Шейна Гутнер, Ровка Бергер, Эндель

\* Опущено после "растерзанных евреев" : "...мужчин, женщин и детей, с распоротыми животами, с отрезанными носами и ушами".

Шмельте — щедрой рукой набросаны на первые страницы расказа о Богрове, Нееврейских имен вокруг Богрова почти нет, тогда как в документах их больше половины: Сальный Емельян Емельянов, Макаренко Лука Гаврилов, Ипатов Евстафий Михайлов, Базаркин Степан Алексеев, Просов Афанасий \*..

В документальных своих источниках Солженицын пренебрегает кое-каким красочным материалом, за который ухватился бы любой писатель. Например, удручающе пошлыми стихотворениями Богрова: "Твой ласкающий, нежно-чарующий взгляд, Твои дорогие черты Воскресли давно позабытые сны... Мне не зажечь холодные сердца, Ах, как прожорливый паук, Из сердца кровь сосет гнетущая тоска..." (цит. соч., стр. 93—94). Для Солженицына не так важно, что Богров пошляк, как то, что он еврей.

Наконец в самом образе змеи, смертельно ужалившей сотворяющего крестное знамение славянского рыцаря, антисемит без труда может усмотреть параллель со своей любимой книгой, "Протоколами сионских мудрецов".

*"Эти мудрецы решили мирно завоевать мир для Сиона хитростью Символического Змия, главу которого должно было составлять посвященное в планы мудрецов правительство евреев (всегда замаскированное даже от своего народа), а туловище — народ Иудейский. Проникая в недра встречаемых им на пути государств, Змий этот подтачивал и пожирал (свергая их) все государственные, нееврейские, силы по мере их роста \*\*.*

Я совершенно уверен, что такие читатели у Солженицына есть. Как найдутся и такие, кто станет утверждать, что еврейство Богрова — случайный фактор, не имеющий отношения к гибели Столыпина.

За антисемитское прочтение его книги Солженицын несет не больше ответственности, чем Шекспир за подобную трактовку "Венецианского купца". Пьеса правдива, потому что еврейское ростовщичество было фактом жизни, и гуманистична, потому

---

\* Всего из 25 имен подпольщиков, известных Богрову и якобы выданных им, еврейских 11 (цит. соч. 84).

\*\*Цит. по сб. "Луч света", вып. III, Берлин, б/д. стр. 218. О мифологическом змие существует обширная литература (см. статью С. Аверинцева и М. Мейлаха в энциклопедии "Мифы народов мира", Москва, "Советская энциклопедия", 1980, т. 1).

что в ней с большой поэтической силой сказано: “И еврей — человек”, — революционно смелое утверждение по тем временам, от которых мы не так уж далеко ушли.

У Солженицына “и Богров — человек”. Как ни отвратителен Богров своему автору, но даже этот пошляк и убийца с вывихнутыми представлениями о морали являет собой какой-то человеческий тип, полярный Столыпину, но принадлежащий человечеству.

Почему так неожиданно в предельно напряженных обрывистых абзацах сцены убийства возникает тема остроумия?

*“Это был долголицый, сильно настороженный и остроумный — такие бывают остроумными — молодой еврей” (II, 248), “...и что-то косо дернулось в его лице — не торжество, не удивление, а как бы невысказанная острота” (II, 249).*

Почему так долго исподволь подготавливавшийся образ змеино-го естества Богрова не заканчивается метафорой укола, укуса, ядовитого жала? Совсем другого плана, совершенно неожиданное, казалось бы, сравнение использовано Солженицыным в описании рокового момента:

*“...вытянул браунинг свободным даром...” (II, 167; курсив мой. — Л. Л.).*

“Свободный дар”, как известно каждому русскому читателю, это цитата из элегии Лермонтова “Смерть поэта” (1837) (“Не выль сперва так злобно гнали / Его свободный, смелый дар...”). Так к концу жизнеописания террориста загадочно откликается та, казалось бы необязательная, отчасти анекдотическая заметка, которой это жизнеописание начато:

*“Он родился в день, когда умер Пушкин. День в день, но ровно через 50 лет, через полоборота века, на другом конце диаметра” (II, 114).*

Какая связь между свободным даром величайшего национального поэта и истерическим преступлением киевского белоручки? Казалось бы, если уж вспоминать Лермонтова, то параллель должна быть иной: Богров-Дантес (“Заброшен к нам по воле рока, / Смеясь он дерзко презирал / Земли чужой язык и нравы; / Не мог щадить он нашей славы; / Не мог понять в сей миг кровавый, / На что он руку поднимал!..”). Но в описании Солженицына нет

бьющегося ровно пустого сердца, не дрогнувшего в руке пистолета — что было бы логично для писателя-ксенофоба. Есть “невывисказанная острота” и — даже! — пушкинский “свободный дар”.

Эта “острота”, этот “свободный дар” открывают еще один план повествования: за историческим планом открывается философский, за политическим — антропологический. В глубине глубин речь идет уже не о Богрове и Столыпине, не о революционерах и реформаторах, не о русских и евреях, а об экзистенциальном конфликте, заложенном в самое человеческую природу. Мы присутствуем не только при нападении еврея-террориста на русского государственного деятеля: здесь взбесившийся “чистый разум” нападает на “органическое начало”.

На этом фоне нелепы, да, пожалуй, и оскорбительны для автора выкладки, сколько у него “плохих” евреев, а сколько “хороших”. Здесь не так важно, что среди самых близких сердцу автора персонажей есть и еврей Архангородский, как важен его христианско-гуманистический взгляд на дела людские\*.

Именно в финале повести о Богрове Солженицын принимается за труднейшую для художника и моралиста задачу изображения смертной казни. Вопросы были им поставлены давно:

*“Как это все происходит? Как люди ждут? Что они чувствуют? О чем думают? К каким приходят решениям? И как их берут? И что они ощущают в последние минуты? И как именно... это... их... это...?”* (“Архипелаг ГУЛаг”, т. I-II, Париж, YMCA-Press, 1973, стр. 443).

Тогда же Солженицын писал, что этого не знает до конца никто — ни помилованные, ни палачи.

*“Еще, правда, художник — неявно и неясно, но кое-что знает вплоть до самой пули, до самой веревки”* (там же, стр. 446).

Явно и ясно Солженицын отвечает на эти вопросы, повествуя о последних часах Богрова. Окончательный ужас смертной казни сосредоточен для него не в пляшущем на виселице теле, которое

---

\* блестящий анализ еврейского вопроса у Солженицына содержится в книге Эмиля Когана “Соляной столп, Политическая психология А. Солженицына” (Кретей, Франция, “Поиски”, 1982, особенно стр. 188–190). Соглашаясь не со всеми выводами Э. Когана (который имел дело с неполной версией “Августа Четырнадцатого”), автор настоящих заметок считает себя во многом обязанным этому кропотливому и, хочется добавить, проникнувшему и искренней добротой труду.

уже перестало быть живым человеком, перешло в неодушевленность, в средний род: "Тело, поплясавшее вначале, — висело пятнадцать минут по закону..." — а в человеческих существах, получающих удовлетворение до этого зрелища (члены антисемитского "Союза русского народа", присутствующие при казни Богрова).

*"Кто-то из союзников сказал: "Небось, стрелять больше не будет". А ему уже и не надо было" (II, 321).*

Это вам не высунутые языки Леонида Андреева. На это и Толстой не сказал бы: "Он пугает, а мне не страшно". Страшно.

## VII

Взятые вне контекста герои Солженицына однозначны. В этом ключевое различие между Солженицыным и реалистами XIX века. Раскольников — убийца и совестный страдалец за человечество. Богров — убийца и точка. Аркадий Долгорукий то гнусно пристает к незащитной девушке на бульваре, то совершает подвиги благородства. У Солженицына за Саней, Ярославом — одно благородство, за Сашей Ленартовичем — одна подлость.

Однозначность персонажей продиктована сверхзадачей романа: противопоставить неправильной русской истории правильную русскую утопию.

Утопия — великий двигатель литературы. Утопия — также великое средство воздействия автора на читателя: в сознании восприимчивого читателя она перестраивает систему нравственных и политических ориентиров, укореняет новые стимулы поведения.

В центре "Августа Четырнадцатого" рассказана историческая попытка осуществления русской утопии. Столыпин пытался поставить на практические рельсы то, что веками было утопической мечтой мужика о Руси обетованной — о Беловодье, Мамурреке, Китеже.

В истории все пошло неверно, неправильно. Выродка допустили убить Столыпина, а с ним и великие реформы. Армию доверили не тем генералам. Глупый царь досиделся под башмаком у вздорной царицы до потери трона.

Но в искусстве художественное изображение неправильности выступает как своего рода матрица, отпечатывающая в сознании читателя картину правильного мира.

Останься Столыпин жив или имей он достойных преемников, он осуществил бы свои пятилетние планы, так позорно окарикатуренные большевиками (большевики подрядились осуществить утопию, а осуществили кошмарную антиутопию — Архипелаг ГУЛаг). Столыпин превратил бы страну в здоровую конституционную монархию. Он удержал бы ее от вступления в мировую войну. Он переместил бы экономическое, а также культурное — национальное, одним словом, — ядро на безопасные и щедрые просторы Сибири. При самодостаточной экономии Россия развивалась бы как могучее и мирное государство в заботах об охране своей природы, физического и духовного здоровья народа. Она поддерживала бы мирные экономические и культурные отношения с соседями без притязаний на их территорию (своей хватает!) и с дальними державами.

Подробнее... Подробнее — в известном солженицынском “Письме вождям”<sup>\*</sup>.

Письмо это адресат читать не захотел.

Судя по его могучему началу, “Красное колеса” — это письмо всему русскому народу. Докатится колесо до Москвы, будет письмо прочитано и принято к сердцу — тогда можно не сомневаться, что будущее России будет великолепно .

---

\* Б. Парамонов обратил мое внимание на парадоксальное сходство “Письма вождям” со многими пунктами программы Зеленой партии в Германии. Дело тут, видимо, в общей тревоге человечества во второй половине XX века в связи с угрозой гибели природы и национальных культур.

**Вышла в свет новая книга**

**“Стихотворения Михаила Генделева” (тексты 1982–1984 годов)**

(изд-во “Лексикон”, Иерусалим, 1984. Художник Г. Блюгер). Общий тираж книги 1000 экземпляров. Первые 100 экземпляров отпечатаны на тонированной бумаге, пронумерованы и подписаны автором. Цена обычного экземпляра 7 долларов, именного — 10 долларов.

В том же издательстве отпечатан дополнительный тираж книги того же автора “Послания к лемурам” (тексты 1979–1981 гг.). Художник М. Байер. Общий тираж книги 1000 экземпляров, цена — 10 долларов.

Книги можно приобрести в Израиле по адресу: М. Генделев, улица Мордехай Бен-Хиллель 8/8, Иерусалим. В Европе и Северной Америке книги распространяются фирмой Milev Jeneral Systems C<sup>o</sup>”, P. O. Box 2351, New-York, N-Y. 10116, USA.





*Альфреду Шнитке –  
к 50-летию*

---

*Феликс Розинер*

**СИМФОНΙΑ ЛЯ-МАЖОР "ЮБИЛЕЙ"**

Альфред Шнитке мало известен широкому читателю, не специализирующемуся в музыке, о нем почти не пишут в СССР, и предлагаемая ниже статья Ф. Розинера является, быть может, первой серьезной попыткой познакомить публику с творчеством композитора и его местом в современной культуре.

Автор избрал для своей статьи своеобразный жанр, адекватный ее предмету, симфонической музыке. Он предлагает читателю имитацию "серьезного" музыковедческого анализа воображаемой симфонии "Юбилей", посвященной 50-летию А. Шнитке. В первых разделах он со всей видимой "научностью", оперируя специальными терминами, излагает "партитуру" симфонии, начиная с ее "ключа" (каковым являются зашифрованные в нотной записи инициалы композитора АГШ) и кончая содержанием четырех ее частей (аллегро, анданте, скерцо и финал). Не следует тотчас бросаться в музыкальный словарь: преодолев непривычную терминологию, нетрудно заметить, что перед нами — ироническое обыгрывание музыковедческих лекций, переплетенное с пародированием собственного авторского текста.

Постепенно, однако, эта пародийная игра профессионального музыковеда (Ф. Розинер является автором монографий о творчестве Грига, Прокофьева и т. д.), более любопытная, вероятно, для музыкантов-профессионалов, перерастает в серьезные и интересные для самого широкого читателя размышления о судьбах современной музыки и культуры вообще.

Цель этих строк — не только предупредить читателя о своеобразии текста, требующего (и, на наш взгляд, заслуживающего) некоторого усилия, но и присоединиться к автору в поздравлениях Альфреду Шнитке, который является сегодня крупнейшей величиной в музыкальной культуре современной России.

## АНАЛИЗ

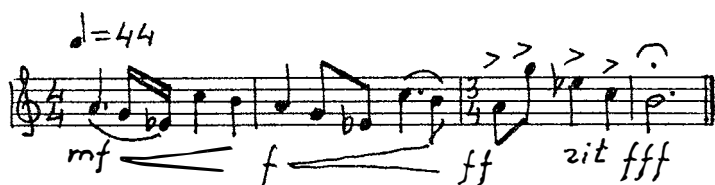
### *Общий план*

Композиция симфонии "Юбилей" — традиционный четырехчастный сонатно-симфонический цикл с типичными для него отдельными частями: 1 часть — сонатное allegro; 2 часть — анданте; 3 часть — скерцо; 4 часть — финал.

Тональность ля-мажор (А), хотя и является доминирующей, тем не менее всякий раз имеет место ее модуляция в тональную последовательность, которая, вместе с главной, дает картину AGSCH. При этом S понимается как Es (в соответствии с "эс", то есть названием латинской буквы S). Заметим, что такое прочтение "S" стало общепринятым. Например, как сам Бах (а затем Лист, Шнитке и другие) писал на буквенную тему BACH, так Шостакович (а также Шнитке) сочинял на тему последовательности DSCH — то есть Д. Ш. (Дмитрий Шостакович) в русском написании, — где "S" также читается как "es", то есть ми-бемоль. Сочетание букв AGSCH при замене их кириллицей выглядит как АГШ. И в латинском и в русском написании это ни что иное, как инициалы имени, отчества и фамилии композитора Альфреда Гарриевича Шнитке.

На той же последовательности AGSCH, но уже не тональной, а звуковой (нотной), то есть пяти звуков А (Ля), G (Соль), Es (Ми-бемоль), С (До) и Н (Си) построены вступление и основной тематический материал всех четырех частей симфонии, и, таким образом, AGSCH становится сквозной лейт-темой произведения. Во *вступлении* первой части эта последовательность проводится трижды:

#### ТЕМА AGSCH



Первая часть. Сразу за уже приведенным выше вступлением следует *экспозиция* сонатного аллегро. Ее главная партия построена на теме "Будьте трезвы и бдительны" и сжато излагает содержание "Фауст-кантаты" Альфреда Шнитке. Связующий раздел экспозиции представляет собой ряд вопросительных фраз, подготовляющих появление новой тональности. В коротком вводном эпизоде (цитата из А. Шнитке) пульсация аллегро замедляется, после чего следует побочная партия. Умеренный темп модерато соответствует идее темы и всей побочной партии, которая призвана явить традиционное у романтиков "жизнеописание героя", правда, в данном случае, без внешних "бурь" и "страстей", что

составляет явный контраст романтическому симфонизму и соответствует более "сухому" современному письму. Эта "сухость", тем не менее, имеет вполне функциональное значение и драматургически вполне оправдана: умеренный характер побочной партии противопоставлен, как это и принято в традициях сонатной формы, главной партии, что и позволяет создать в последующей разработке напряженность и неустойчивый драматизм.

*Разработка* строится на темах главной партии и возвращает нас к "Фауст-кантате", которая служит здесь демонстрацией редких особенностей и возможностей А. Шнитке как композитора. Таким образом, разработка, обычно призванная передать перипетию "борьбы", и рисует эту "борьбу" — как путь "героя", поскольку тема "Фауст" ставит перед современным композитором задачи особой сложности.

*Реприза* — возвращение к экспозиции — имеет вид так называемой неполной репризы, когда опускается главная партия экспозиции (подобно тому, как это имеет место в сонатах h-moll и b-moll Шопена и в финале Четвертого концерта Рахманинова). Тема "жизнь героя" (побочная партия) трансформируется в репризе в автохарактеристику композитора, выступающую из цитат. Краткая кода, напротив, как это и принято, связана с главной партией. Необязательная сама по себе и обычно относящаяся к финалам, а не к начальным частям сонатного цикла, кода, завершающая первую часть симфонии "Юбилей", сжато повествует о двух триумфах "Фауст-кантаты" — в Вене и в Москве.

**Вторая часть.** Анданте, представляющее собой вариации на тему АВАНГАРД. С достаточной долей условности вариационная форма второй части симфонии "Юбилей" может трактоваться как рондо. Однако АВАНГАРД не является здесь единственным тематическим рефреном. Тема AGSCH также неоднократно появляется в Анданте, хотя поначалу только скрытно, в гармонических ходах. Она также носит характер рефрена, уже второго, что форме рондо не свойственно. Кроме того, не свойствен рондо и столь замедленный темп "размышления", в котором написана вторая часть. Вероятно, здесь уместно процитировать А. Шнитке: "**Системными** свободными формами мы называем такие, в которых имеется известный порядок в расположении частей, отличающийся от всех других форм... Музыкальные произведения, созданные в таких формах, иногда называются рондо, приближаясь к нему

по жанру, однако по своему строению они существенным образом от рондо отличаются". ("Музыкальная форма", гл. 11, М., 1974.)

**Третья часть.** Скерцо. Автор возвращается здесь к старому, первоначальному смыслу скерцо (в переводе с итальянского — шутка), однако избирает для этой части весьма новую форму — графическое изложение. Этот способ записи партитуры нередко используется композиторами-авангардистами, в их числе и Альфредом Шнитке. Содержание и тематизм Скерцо тесно связаны с предыдущей частью — Анданте. Поэтому вторая и третья части симфонии "Юбилей" могут идти без перерыва между ними. В этом случае Скерцо удобно трактовать как свободную коду второй части симфонии.

Укажем, что много примеров графической музыки приведено в книге Р. С. Бриндла "Новая музыка". В работе Ц. Когоутека "Техника композиции в музыке XX века", в главе "Проявления творческой и исполнительской эксцентричности" можно найти следующее изложение мыслей крупнейшего представителя современного музыкального авангарда Карлхайнца Штокхаузена:

"Если в прошлые столетия музыканты были чаще всего универсалами, то теперь они все более четко делятся на композиторов и исполнителей, все дальше творческая идея отходит от ее разработки и конечной реализации. Обработка определенной музыкальной мысли, импульса может быть выражена *графической записью*, принимаемой помимо всего и за *художественное произведение*. (Кейдж даже организовал в Нью-Йорке выставку таких партитур!)

Развитие направлено к эскизному, символическому музыкальному письму, которое вместо точных указаний передает исполнителю только общий авторский музыкальный замысел. Кроме того, по Штокхаузену, "музыка уже не понимается исключительно как звуковой феномен", но начинает делиться на музыку *для прослушивания и для чтения*".

**Финал.** Заключительная часть симфонии "Юбилей" написана в несистемной свободной форме. А. Шнитке объясняет: "Несистемные свободные формы чрезвычайно многообразны, индивидуальны по своей структуре, и поэтому не поддаются определенной классификации. Используются они преимущественно в крупных инструментальных произведениях и содержат большое количество тем и разделов". ("Музыкальная форма", гл. 11, М., 1974.) Как следует из сказанного, таковая форма может быть сколь

угодно нетрадиционной. Однако Финал имеет по крайней мере одну связь с известными традициями, берущими начало от хоровой финальной части 9-й симфонии Бетховена: в Финал симфонии "Юбилей" также вводятся большой смешанный хор и солисты. Литературным текстом для хорового финала служит акростих АЛЬФРЕД ШНИТКЕ. Текст исполняется на музыку, широко и весьма свободно развивающую сквозную лейт-тему симфонии AGSCH. Непосредственно за этим развитым разделом, в котором используется сложное полифоническое письмо (фугато в разработке на словах "не то галоп, не то рысца"), следует "апофеозное" завершение симфонии: торжественное, аффектированное чтение списка произведений Альфреда Шнитке. В соответствии с тремя идеями (1. список не завершен; 2. текст акростиха провозглашает: "Есть музыка. Ей нет конца"; 3. исповедуется формальный принцип "нон финито"), — Финал не имеет завершающей каденции, и ход музыкальной мысли не разрешается в тонику.

#### ТЕКСТ

I. "Будьте трезвы и бдительны" — "Фауст-кантата" Альфреда Шнитке для контральто, контратенора, тенора, баса, хора и оркестра в десяти частях — рассказ об ужасной, устрашающей кончине доктора Фауста, который пусть послужит зеркалом и предостережением для каждого христианина, рассказ, который мы находим в последних главах "Истории о докторе Иоганне Фаусте, знаменитом чародее и чернокнижнике" — в так называемой "Народной книге" Иоганна Шписа, напечатанной им во Франкфуртена-Майне в 1587 году, — кантата и начинается с хора, который так и поет: "теперь — рассказ об ужасной, устрашающей кончине доктора Фауста", и эта фраза, мрачная, звучащая на фоне угрожающего ритма ударных и рояля являет собою пролог и первую из десяти частей кантаты А. Шнитке, которая без перерыва, лишь с короткой паузой, сразу же переходит к части второй, где рассказчик-тенор повествует о том, как 24 года прошли, отпущенные дьяволом по договору, и дух явился к Фаусту и сообщил, что следующей ночью возьмет его тело — пусть Фауст имеет это в виду! — и доктор Фауст, зная, что должен платить теперь дьяволу собственной шкурой, пошел к своим друзьям — магистрам, бакалаврам и студентам и просил их пойти в село Римлих, чтобы вкусить там с ним вместе трапезу, и они пошли, как распевает

об этом (в третьей части кантаты) беспечный хор студентов, и насладились вкусными яствами и винами, а потом, повествует опять рассказчик, доктор Фауст просил своих друзей еще и отужинать с ним и провести с ним вместе ночь, поскольку хочет сообщить он нечто важное, а когда и с этим они согласились, обратился к студентам Фауст с признанием (часть четвертая), поведав о том, как обещал отдать дьяволу душу и тело, и вот он меня заберет в эту ночь ("ах, Фауст, ах, Фауст!" — поют сокрушенно студенты), и предо мной стоят песочные часы, напоминая, что время мое истекло, он придет за мной, потому что отдал ему я тело и душу, дважды в том расписавшись собственной кровью, и я позвал вас затем, чтоб испытать Иоганнесову поминальную чашу с вами, чтобы не утаить, каков был мой конец — "ах, мой Фауст!" — поют студенты (часть пятая) — теологи могли бы вас спасти, но это поздно, отвечает Фауст, я хотел обратиться к Богу, но дьявол пришел и сказал, что если я решусь на это, он тут же меня прикончит, и стали студенты благословлять его и обнимать и плакать, и доктор Фауст стал плакать и жаловаться, так что дух явился ему и сказал (часть шестая, в которой поет Мефистофель в два голоса): "Фауст мой, не будь малодушным, ведь сейчас ты теряешь лишь тело, а до суда еще далеко, в конце концов, все должны умереть, ведь должны же умереть и турки, и евреи, и другие нехристианские цари, которые тоже прокляты, будь мужественен и не отчаивайся!" — и (часть седьмая, голоса Мефистофеля, хор и оркестр) случилось меж полночью и часом ночи, что нашел на дом неистовый ветер, казалось, рушится все, студенты вскочили с постелей, раздались шипенье и свист как будто от множества гадов и тварей, доктор Фауст начал взывать о помощи, но голос его был слаб, а вскоре и затих, и когда явился день и вошли студенты к Фаусту, то увидали комнату, забрызганную кровью, мозг, прилипший к стене, глаза и несколько зубов, лежавших тут и там — ужасное и жуткое зрелище! — а тело само нашли за домом на навозной куче, и далее (в части восьмой) повествует рассказчик, что студенты похоронили Фауста, вернулись в дом его в Виттенберге, где оставался Вагнер, его ученик, совсем расхворавшийся, а в доме самом так было страшно, что никто не стал там жить, и как-то ночью доктор Фауст явился ученику и сообщил ему многое из сокрытого, и видели еще, как смотрел он ночью из окна на проходящих мимо... — так (часть девятая, хор) кончается правдивая история и волшебство доктора Фауста, из чего

каждый христианин должен вывести, как бояться Бога, как избежать колдовства, заклинаний, как не вздумалось бы приглашать в гости дьявола и не давать ему приюта, подобно Фаусту, а любите одного лишь Господа от всего сердца — амен, амен, этого желаю каждому из глубины сердца, амен, амен (заключительная часть), будьте трезвы и бдительны, ибо дьявол ходит кругом, аки лев рыкающий, выискивая, кого бы ему проглотить, противоборствуйте же ему, будучи твердыми в вере...



### Фауст пирует со студентами.

*Стенная живопись в Ауэрбаховском погребке*

Итак, в который уж раз доктор Фауст — зачем?! И почему не Гете, а архаичный и наивный Фауст времен еще Лютера? Не было ли у Шнитке сюжета “поближе”, если задумался он о кантате? Сюжет — воплощение — автор... — является ли вечный фаустовский сюжет для композитора нарочитым вызовом? Старался ли он взвалить на себя груз столетий, не посчитавшись с множеством помех в лице всех тех, кто писали на тему “Фауст” — Берлиоз, Лист, Гуно, Вагнер, Мусоргский, Бойто, Малер? Боялся ли он их, “чужих” влияний, или приступил к работе так, будто их и не было?

“Может быть, больше всего проявляется индивидуальность художника в той бесстрашной открытости чужим воздействиям, когда все извне приходящее становится своим, подчиняется неуловимому для измерения субстрату индивидуального, который окрашивает все, к чему рука художника прикасается”. (А. Шнитке о Д. Шостаковиче.)



Альфред Гарриевич Шнитке родился 24 ноября 1934 года в городе Энгельсе (в то время столица Республики немцев Поволжья, сейчас районный центр Саратовской области РСФСР). "Мое немецкое имя я получил от своих родителей: мой отец, еврей, родившийся во Франкфурте-на-Одере (дядя Альфреда, Анатолий Викторович, уточняет, что это был Франкфурт-на-Майне. — Ф. Р.) приехал в 1926 году в СССР (А. В. Шнитке: в 1927-м) со своими родителями российского происхождения (А. В. Шнитке: они были евреями из Либавы. — Ф. Р.) и женился на родившейся в России немке (А. В. Шнитке: из поволжских немцев. — Ф. Р.). В детстве я говорил на немецком — на "волжском немецком" моей матери" (А. Г. Шнитке. Буклет к исполнению "Фауст-кантаты" в Вене, 1983).

Во время войны 1941—1945 годов отец Альфреда был военным переводчиком в разведке, а в 1946—1948 году работал в Вене в издававшейся на немецком газете советской военной администрации. В эти послевоенные годы в Вене жила вся семья Шнитке. Там Альфред, уже довольно поздно, в возрасте 12—14 лет, начинает заниматься музыкой и, как он шутливо пишет о себе, "с высоким воодушевлением стал сочинять". Семья возвращается в СССР, живет в Подмосковье, и только позже перебирается в Москву. Стоит отметить, что музыкальное образование подростка не шло по обычным путям: он уже перерос тот возраст, в котором принимают в детские музыкальные школы. Все же после различных перипетий (Альфред, например, хотел было обучаться игре на баяне), он поступает на дирижерско-хоровое отделение музыкального училища, параллельно с обучением там занимается с педагогом гармонией и музанализом. В 1953—1958 гг. Шнитке учится композиции в Московской консерватории, а позже занимается в аспирантуре у Е. К. Голубева. Уже написанная в качестве дипломной работы оратория Шнитке "Нагасаки" (1958) обратила на себя внимание московских музыкальных кругов. Чуть позже, с начала 60-х, то и дело говорят о трех авангардистах-москвичах: Денисов, Шнитке, Губайдуллина (но автор этих строк всегда предпочитал иной порядок: Шнитке, Губайдуллина, Денисов). К середине — второй половине 60-х становится видно, что дарование Альфреда Шнитке таит в себе мощный творческий потенциал: он пишет много и в разных жанрах — и ничего банального, "проходного", все у него насыщено новизной музыкальной мысли. В начале 70-х годов композитор уже встает в полный рост

(и автор этих строк, услышав недавно: “некоторые его считают гением”, — ответил с гордостью, пусть и не слишком умной: “я это утверждал еще лет десять с лишним назад”); в 80-х музыка Шнитке для Москвы — то же, что и, положим, театры “Современник” и “Таганка” в не столь отдаленные времена. В Европе его музыка звучит на лучших концертных площадках в исполнении великолепных оркестровых коллективов и солистов. Одна из четырех написанных Альфредом Шнитке симфоний была ему заказана оркестром Би-Би-Си, “Фауст” — для Венского фестиваля 1983 года.

Мы возвращаемся к “Фауст-кантате” — к примеру того, как пишет А. Шнитке.

“Кантата “Будьте трезвы и бдительны” писалась в 1983/83 гг. и предваряет собой работу над будущей оперой. Идея оперы исходит от Юрия Любимова, режиссера Московского театра на Таганке, который в течение многих лет мечтал получить оперу на тему второй части гетевского “Фауста”, однако мы год от году все откладывали осуществление этого несомненно опасного предприятия.

Но вот было получено от Венского концертного общества предложение написать музыку для Венской певческой академии к Фестивальной неделе 1983 года. При этом я, ничего не зная о том, что “Фауст” явится центральной темой концертов фестиваля, сразу же обратился к мысли приготовить оперный план по “Народной книге” — “Истории доктора Фауста”... В какой степени кантата окажется родственной опере, еще сказать невозможно, во всяком случае опера будет иметь другой состав действующих лиц и действие будет развиваться более активно... Кантата — “негативный” пассион\*, потому что тут речь идет о пути страданий если не анархиста, то во всяком случае “плохого” христианина (при том, что и Фауст у Шписа говорит: “я умираю как дурной и добрый христианин”). Отсюда и некое родство с формой пассиона, где есть Рассказчик (тенор), Фауст (бас), Мефисто (двуликий и, соответственно, двуголосый: лицемерно-преданный контратенор и торжествующий глубокий женский голос) и хор”. (Из буклета к исполнению “Фауст-кантаты” в Вене, 1983.)

---

\* Пассион (“страсти”) — музыкальное произведение, обычно ораториального плана, на евангельские тексты, повествующее о мучениях Христа (например, “Страсти по Матфею” и “Страсти по Иоанну” И. С. Баха).

“Фауст” Шнитке, длящийся менее сорока минут, — сфера поразительных по своему многообразию и силе музыкальных впечатлений. В десяти частях кантаты — границы между ними почти неощутимы — поскольку все развивается стремительно и напряженно, — притом, что рассказчик — ему во времени отведена наибольшая доля — повествует сдержанно-спокойно — и это постоянный грозящий взрывами контраст всему происходящему — гипноз, волшебство новизны, которым поддаешься с легкостью и не противясь, поскольку опьяняющие травы новшеств приготавливают для тебя в тиглях привычных форм, и Шнитке — сам двуголосый, но не двуликий, а многоликий Мефисто, соблазняющий Фауста, и слушатель — этот Фауст, отдающий душу разительной музыке. Как Мефисто в монашеское одеяние, так музыка скрывает свое дьявольское нутро в одежды грубые, простые, примитивные — в стучащие ритмы рояля и литавр, в архаичные хоровые каноны, в скучноватый, затянутый, как вервием по чреслам, узким диапазоном, речитатив Рассказчика, в банальщину немецкого мужского песнопения пьющих и закусывающих жирной ветчиной студентов, в сладчайшее оперное ариозо — типа “сказочных”, — когда Мефистофель поет на манер Царевны-лебеди, — и есть все те же узнаваемые двенадцать ударов колокола в полночь — и вдруг!!! среди всего — это столь необходимое, пугающее “вдруг”! — разнузданное, страстно-пошлое, орущее и шепчущее **ТАНГО МЕФИСТОФЕЛЯ** — из Царевны-лебедя оборотившегося в Секс-девицу все-вселенского полублатного шоу — и мощный звук надмирного органа, и слабый звук земного клавиесина, и тенор — Рассказчик ведет свою повесть к концу: “эти... у-по-мя-нуты-е ма-гист-ры... и студен-ты...” — и долдонящее бормотание церковных прихожан — “любите одного лишь Господа” — и шарманистый вальсик, и в нем — благочестивейшее “амен, амен”... Намеренно или нет — но кажется, что есть и краткая, в три ноты, цитата марша из Седьмой симфонии Бетховена, кажется, что есть и еще что-то почти цитатно-знакомое, то, что на слуху, — но все это обман, соблазн, завлекательство слуха, призванное для того, чтоб взять твоё сознание, твою чувствительную душу в такой оборот, в такие тиски, что уже с первых минут ты весь в напряжении, и оно не отпускает ни на миг, до самого конца. Потому что композитор знает, как это делать, и не только знает, но и умеет, и не только умеет, а только этим умением мыслит и чувствует сам, он не надумывает свою музыку — он так ее творит, что все

в ней будто и знакомо — и все удивительно ново в каждый миг ее звучания. Под равномерным, даже равнодушным — традиционно-равнодушным голосом Рассказчика из пассиона — адские глубины. Там — оркестр. Бесчисленный набор ударных, духовые, электрогитара, внушительная группа струнных, — и все это живет насыщенной жизнью, дышит, клубится и ворочается, обволакивает голос Рассказчика, соперничает с ним, издевается, страдает, повизгивает и рыдает, и не всегда удается понять, что тут всерьез и что с настоящей, а не наигранной страстью, тоской и трагедией, — как в “Петрушке” Стравинского или в подпрыгивании, кривлянии иных скерцовых фраз у Шостаковича. Инструментальной массой создаются токи, в которых и не ищешь, и не ждешь уже мелодики, а часто и вообще читаемых и различаемых по их высотам звуков — создаются колышющиеся, как приливной и отливной шум волн, или ветра, или толп людей, с отдельными тут и там внезапными возгласами, — создаются звуковые поля, великолепные в своей захватывающей меняющейся красоте — поля с пылающими и сгорающими яркими цветами, с мерцанием сумрака и с мраком ночи, с бреднями, страхом, плачем и смехом. Какие-то не то пугающие, не то иронические “а! а! а!” — внезапные, протяжные, как волчий вой “о-о-о-о!” — отрывистые, издевательские “и, и, и” и “у, у, у” у голоса за сценой — контратенора — Мефистофеля-оборотня, поющего вместе со своей второй мефистофельской ипостасью — женским альтом (контратенор, если нужно здесь пояснение, тоже высокий, почти женский голос “с сильным, почти инструментальной чистоты тоном”); ритмичные, короткие, как стуки барабана, вскрики хора — в танго, которое среди этих двух стихий оркестро-хорового ритма танцует в голосе певицы (она поет, описывая смертные мучения Фауста как жуткий шлягер — в микрофон, с пришептыванием, с воплем), взвиваясь до оргастического задыхания. И отзвук вальсика — шарманки “амен, амен”; и мерный стук — деревянный брусочек стучит свое тук... тук... тук... затихает и тает и длится уже за пределами слышного — стук мертвых костей друг о друга —

И острый яд привычно-светской злости  
С нездешней злостью расточает он...  
”Как он умен! Как он в меня влюблен!”  
В ее ушах — нездешний странный звон:  
То кости лязгают о кости.  
(А. Блок. Пляски смерти)

*А. Шнитке:*

— Мое музыкальное развитие, как и у моих друзей и коллег, шло через клави́р-концертную романтику, опыты эклектического синтезирования (Орф и Шенберг), и я также прошел неизбежное испытание своего мужества: познал серьезное самоотрицание. Достигши сей последней станции, я решил сойти с переполненного поезда. С тех пор я пытаюсь продвигаться дальше на собственных ногах.

— Я смешиваю стили, перерабатывая их, но не для того, чтобы получить их синтез, а для создания **полистилистики**, в которой все разнообразие стилей используется в качестве клавиш одной большой клавиатуры.

— Благодаря принципу функциональной изменчивости каждый голос выполняет несколько разных задач, каждая деталь партитуры становится "многозначной"... Подобные явления нередки в литературе нашего времени. Усилившееся в последнее время внимание к поэтической форме привело к большей емкости каждого слова — слово не только несет конкретный смысл, но становится и компонентом ряда аллитераций и ассонансов, ритмов и структур. Это рождает какие-то параллельные планы эмоционального восприятия — одно слово воздействует на читателя и как носитель смысла, и как элемент фонетической "музыки", и как звено формальной структуры — в силу своей многозначности.

— Итак, мы сталкиваемся с поразительным явлением — схема выглядит сложнее самого явления. Невольно напрашивается аналогия: разница в соотношениях схемы и явления... подобна разнице между кристаллом и клеткой, между машиной и человеком.

— Детальное исследование музыки Шостаковича по отдельным измерениям (гармония—полифония—форма—оркестровка) крайне сложно, а в этом случае особенно сложно ввиду специфичной для автора техники.

Сказанное А. Шнитке о Шостаковиче неизбежно оборачивается на него самого, и в частности на музыку "Фауст-кантаты". Добавим, что она была исполнена с триумфами в Вене (лето 1983 года, дирижер Г. Рождественский, Венский оркестр, хор Академии пения, — текст немецкого оригинала) и в Москве (осень 1983 года, Госоркестр, камерный хор, дирижер В. Полянский, — русский текст в переводе Виктора Шнитке — брата композитора).



### Чудо с бочкой.

Стенная живопись в Ауэрбаховском погребке

II. Стихи, которые не то что не заучивают наизусть, а просто не читают. Живопись, на которую не смотрят. Музыка, которую не слушают. Такова несчастная судьба всего того, что названо в искусстве великолепным словом АВАНГАРД. Когда говорят о кризисе искусства XX века, то, по сути дела, имеют в виду кризис авангарда. Так уж получается, что все (почти все) творящееся в поэзии, живописи, музыке наших дней с фатальной неизбежностью проигрывает в состязании за право на жизнь искусству прошлого. И это при том, что интерес к новому искусству не угасает. Но новые произведения встречают с интересом – и вскоре с равнодушием провожают их в небытие. Почему?

Обозначим условно две категории всего того, что составляет мир искусств, как искусство "музейное" и искусство "рождающееся". Сами словесные выражения – музейное и рождающееся – не важны, важно, что эти два понятия должны обозначать. *Музейное* – то, что составляет неотъемлемую часть сложившейся культуры, то, что уже вошло в общепринятый культурный обиход и что в сознании людей связано со множеством культурных знаний и чувствований, с памятью, вкусами, привычками и привязанностями в искусстве, вызывающими при взаимодействии с произведениями искусств цепи аналогий, ассоциаций и сравнений с тем, что уже отложилось в культурный багаж личности или общества в целом. *Рождающееся* – то, что стремится оторвать личность от привычного культурного багажа, увлечь сознание и чувство в сторону, порвать те или иные цепи, связывающие нас с прошлым и знакомым опытом искусства, и стремится предложить достаточно непробированное. Понятно, что не все новое и созданное сегодня должно быть отнесено к категории рождающегося: например, симфония, написанная в ноябре 1984 года в стиле и традициях Гайдна или Моцарта, никак не будет принадлежать к рождающемуся искусству. Говоря более формально, музейное искусство

то, которое предлагает сознанию и чувству достаточно легко читаемые, узнаваемые "знаки" – в силу их привычности; рождающееся искусство то, чьи "знаки" требуют при их прочтении сложной внутренней расшифровки и потому особого рода усилий сознания и специфического настроя чувств – в силу новизны самих "знаков".

Можно ли говорить о категориях музейного и рождающегося искусства с оценочных позиций, говоря, например, что музейное – хорошо, а рождающееся – плохо, или наоборот? Или поставим вопрос иначе: что нужнее в искусстве для человека, для каждой данной личности – музейное или рождающееся?

Живой, здоровый и деятельный человек в любое мгновение своего бытия воспринимает неисчислимое количество впечатлений, внешних воздействий (так хочется избежать надоевшего "информация"! ). Не всегда человек физически готов воспринять весь этот поток впечатлений (и потому на концертах спят), не всегда он готов воспринять именно те впечатления, которые ему предлагают (и поэтому тоже на концертах спят или, напротив, активно возмущаются). И в процессе воздействия впечатлений на человека есть одна особенность: нашему сознанию, нашей психике в целом, требуется некое равновесие между впечатлениями привычными и впечатлениями новыми. Не будем приводить здесь доказательств этому и соответствующих ссылок на научную психологию: здравый смысл и жизненный опыт каждого говорит нам, что это наблюдение верно. Мы чувствуем себя дискомфортно, нас одолевают тоска и скука, то английское состояние, которое и в русской литературе названо "сплин", если нас подавляет привычное, знакомое, неизменное и застойное, если нового нет или почти нет. Мы также чувствуем дискомфортность, нам неуютно и беспокойно, мы раздражаемся и быстро устаем, хотим забиться в тихую нору, чтоб ничего не видеть и не слышать, если все вокруг нас непривычно, незнакомо, поражает и подавляет разнообразной новизной и множеством неизвестных прежде явлений. Психика у людей не одинакова, и для каждого ощущение внутреннего равновесия между привычным и новым свое. Один более склонен пребывать в стабильном мире знакомого, и перемены, новизна ему нужны лишь в сравнительно малых дозах. Такой человек обычно домосед, он с подозрением относится к новым блюдам, он любит перечитывать одни и те же книги, резкая перемена образа жизни для него – настоящая катастрофа. Другой, наоборот, постоянно жаждет перемен, он необычайно охоч до нового, на месте ему не сидится, и он сходит с ума от житейского однообразия. Эти два типа – крайности. Психика большинства стремится к неким естественным, так сказать, пропорциям новизны и привычного. И желание это стремление осуществить не в последнюю очередь относится к восприятию искусства. Рискуя быть неосторожным, можно даже утверждать, что, в первую очередь именно к восприятию искусства, потому что все-таки большинство жизненных ситуаций человеку чаще всего диктуется обстоятельствами (общество, социальные отношения, работа, быт и т. д.), тогда как выбор тех или иных отношений с искусством зависит прежде всего от самого человека. Хочет он – слушает эту музыку по радио, не хочет – выключает приемник, хочет – покупает пластинку, не хочет – не покупает, идет на концерт с такой-

то программой, не хочет – не идет. И вот на этом пункте полезно задержаться и понять: что именно из музыки мы склонны выбирать?

Проглядев абонементные программы некоего филармонического оркестра за несколько лет, можно увидеть, чего хотят слушатели этого оркестра, жители того города, которому оркестр принадлежит. Моцарт, Мендельсон, Дворжак, Малер – из года в год не только одни и те же композиторы, но и, в своем большинстве, одни и те же сочинения. Баланс в сторону привычного, знакомого. Новое – редко. Публика, таким образом, достаточно консервативна. Ориентируясь на нее и стремясь к тому, чтобы абонементы на концерты были распроданы еще до начала сезона, руководители оркестра и составляют программы. Итак, эта публика предпочитает иметь дело прежде всего с тем, что мы назвали музейным искусством, в данном случае – с музейной музыкой.

Тот же оркестр, выступая на других площадках, в других городах и странах, может столкнуться с другой публикой, которая не стала бы раскупать абонементы с музейными программами, руководству пришлось бы ориентироваться иначе, в программах концертов появилось бы больше музыки, положим, Стравинского, Шенберга, Прокофьева и Шостаковича, а там и Мессиан, Булез, Штокгаузен – до авангардистов новейшего толка. То есть музыка "полумузейная" (да простят нас великие Стравинский и иже с ним!) и рождающаяся.

Итак, мы пришли к неизбежному заключению, что каждый из нас, получая впечатления от искусств, в частности от музыки, нуждается в индивидуального рода равновесии между впечатлениями привычными и впечатлениями новыми, которые, соответственно, дает нам музыка музейная и рождающаяся. И таким образом, на поставленный выше вопрос, что нужнее в искусстве для человека, следует ответить: и музейное и рождающееся в необходимых, естественных для каждой личности пропорциях. Авангард в искусстве, следовательно, – жизненная необходимость не только для саморазвития искусства, для самих творцов искусства, но он также необходимость для общества, потребляющего это искусство, потому что без искусства рождающегося обществу грозит опасность со временем задохнуться от тоски по новым эстетическим впечатлениям.

Констатируя столь утешительный для авангарда вывод, мы, однако, должны задаться и следующим вопросом: почему же, в таком случае, авангард обычно не приемлют? Почему, обращаясь к авангарду за новыми впечатлениями, публика склонна его отвергать? Почему авангардистские произведения идут от одной несчастливой судьбы до другой, по тяжелой дороге на пути к признанию? Виновато ли общество? Или авангардизм?

Об обществе уже сказано: ему присуща известная, вполне необходимая и достаточная для данного общества, доля интереса к авангарду – в общем балансе интереса к искусству. Виновато ли каждое конкретное общество в том, что баланс такой, а не иной – вопрос, способный завести нас далеко за пределы темы.

Что же до вины авангардизма, то тут мы вступаем в сферы неизведанного.

Само понятие авангарда в искусстве появилось лишь в десятих-двадцатых годах. Любопытно, что ни авторитетнейший и весьма серьезный гарвард-



ский музыкальный словарь, ни более общего характера оксфордский не дают статей "авангард", "авангардизм". Это понятие имеется, однако, в советской шеститомной "Музыкальной энциклопедии" (1973) и в более раннем и кратком "Энциклопедическом музыкальном словаре" (1966). В книге Ц. Когоутека "Техника композиции в музыке XX века" (1965) авангардизм упоминается лишь дважды, хотя весь этот объемистый, рассчитанный на профессионалов труд и посвящен, собственно, принципам сочинения, разработанным композиторами-авангардистами. Напротив, Р. С. Бриндл, автор книги "Новая музыка" (1977) на каждом шагу говорит об авангарде и авангардизме как о явлении всем понятном и всем известном. Что же оно, это понятие, выражает, и почему оно появилось лишь в начале XX века? Ведь действительно, трудно было бы Бетховена назвать авангардистом своего времени или Вагнера – времени своего, хотя разительных новшеств в творчестве и того и другого появилось великое множество. Меж тем, Стравинский со своей "Весной священной" (1913) и Прокофьев со "Скифской сюитой" (1916) выглядят, безусловно, авангардистами, и недаром премьеры этих сочинений сопровождались крупными скандалами. Художников французского импрессионизма конца прошлого века к авангардному искусству никак не причислишь, а творения чуть более позднего времени – кубизм Пикассо, Брака, Гриси, абстракции Кандинского, супрематизм Малевича, конечно же, авангардизм. Так в чем же основные признаки авангардизма, позволяющие сравнительно легко относить к нему те или иные произведения искусства? Предваряя дальнейшее, скажем, что появление авангарда связано, помимо прочего, с реакцией на количественное накопление музейного искусства, ставшее особенно явным именно к началу XX века. Что же до сути самого явления авангарда, то представляется полезным (по крайней мере для данного рассуждения) определение авангардизма, как стиля, который сознательно предлагает достаточно полный разрыв с впечатлениями привычными, известными, резко и далеко уводит в сторону от сложившегося культурного багажа и составляет в искусстве рождающемуся крайне новую, неапробированную во всех (почти всех) аспектах "площадку", некий выделенный, изолированный ареал. Отсюда следует, что "похожесть" не является свойством авангарда, и если в "музейном" искусстве мы легко видим и легко принимаем сродство симфоний двух авторов (положим, Гайдна и Моцарта или Моцарта и Бетховена), то сродство двух произведений авангарда говорит о том, что по крайней мере одно из них не авангардное. (Если Хлебников – авангард, то кто-то сродственный Хлебникову уже не авангард, да и вообще – никто, подражатель.)

Сколь готово общество в целом воспринимать авангард? Дать ответ на это не составляет труда, если принять во внимание все вышесказанное о естественном балансе в приятии привычных и непривычных впечатлений от жизни, в частности от искусства. Только крайне любознательные, только единицы, обычно из числа самих сверхискушенных профессионалов-художников, способны жить постоянным интересом к авангарду, тогда как люди в массе своей лишь "падки" на новизну, но отступают от нее, не видя в крайней (авангардной) новизне возможности связать ее с привычным. Психика же нуждается в связи нового с привычным, незнакомого

со знакомым, поразительного – с банальным. “Количество новизны” близкое к ста процентам вызывает в психике торможение процесса восприятия, и эстетическое чувство отказывает (“Поэзия должна быть глуповата” – Пушкин; “в мелодии должно заключаться банальное” – Чайковский; эти две неточные цитаты своеобразно говорят о том же). Авангард же по определению, по самой своей природе стремится к стопроцентной новизне, и как каждый человек, в силу своих свойств, сам виновник своей судьбы, так авангард, в силу своих качеств, виновник своей драмы, виновник того кризиса, того тупика, в который с трагическим постоянством попадает искусство XX столетия.

Виден ли выход?

Музыка – самое свободное и одновременно самое умное и самое чувственное из искусств. В ее магических сферах происходили и происходят непредсказуемые, удивительные мутации рождающихся искусств.

Альфред Шнитке, заиграв на своей “большой клавиатуре полистилистики”, сломал стену, безнадежно, казалось бы, разделившую музыкальный авангард и музыкальное искусство привычное. Слушая его “Фауста”, его “Концерто-гроссо”, его Квинтет, его “Реквием” или его симфонии, ощущаешь нечто совершенно необыкновенное: острую новизну, которая входит в сознание как нечто нужное ему, желанное и ожидаемое в своей яркости и свежести впечатлений – при том, что эти впечатления обычно до предела экспрессивны, драматичны и часто глубоко трагичны.

Творчество Альфреда Шнитке – “Эврика!” современного искусства, искусства вообще, вне зависимости от того, музейное оно или рождающееся, авангардное или привычное: композитор творит на мосту между ними, на мосту, который он сам вообразил и выстроил. “Непривычное в привычном” и “привычное в непривычном” – вот, если не вдаваться в музыковедческий анализ, то, что дает музыке А. Шнитке столь разительную силу воздействия на слушателя. К *такой* новизне слушатель потянется – и уже никогда не уйдет от нее, он будет жаждать ее снова и снова с наркотической жадной, как, собственно, уже и происходит – и в Москве и в Европе.

Но есть во взгляде на ту картину, какую являют собой авангард и стена, его окружающая, еще один ракурс, который, может быть, более важен, чем проблемы новизны, то есть – впервые упомянем – проблемы формы. Речь идет о содержании, точнее – о *содержательности* произведения искусства. Никак и ничем не желая авангард поставить на уничижительную ступеньку, следует кон-

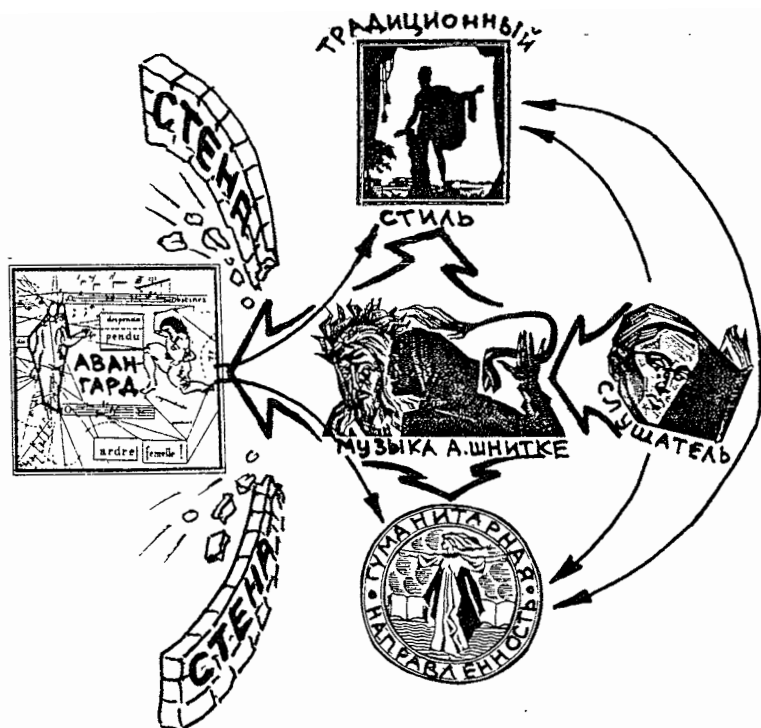
статировать, что уже само стремление достигнуть максимума новизны закрывает пути к воплощению значимого — в общечеловеческом, общекультурном, гуманитарном смысле — содержания. Авангард и гуманитарная направленность изначально находятся в глубоком противоречии уже хотя бы потому, что максимум новизны означает минимум “читаемости”, и такие знаки общечеловеческого сознания, как “жизнь”, “смерть”, “любовь”, “страх”, “радость”, “победа”, “поражение” и другие подобные символы, на которых зиждится искусство, а музыка более всего, авангардизм, даже и стремясь их воплотить, передать почти не способен — в силу все той же своей несчастной некоммуникабельности. Как бы понимая это, авангард по большей части и обходит эту задачу и занимается прежде всего задачами творчества новых форм. И в этом смысле **можно говорить о сильной формальной направленности и слабой гуманитарной направленности авангарда.** В месте этого разрыва между формальным и гуманитарным протянулось продолжение все той же стены непонимания и неприятия искусства авангарда. В музыке именно на этом поприще гуманитарной, общекультурной содержательности музейное искусство прочно держит свои позиции. Ни Стравинский, ни Шенберг, ни даже часто такой человечный Прокофьев не сравнятся здесь с теми же Моцартом, Бетховеном, Малером, а из современников — уже классиком Шостаковичем (особое явление — абстрактно-, до кристального духовный Мессиян). Справедливость требует указать на совершенно уникальное явление в современной музыке: рок-оперу Веббера “Иисус Христос — суперзвезда”, блестяще, с редкой эмоциональной силой воплотившую вечную тему пассиона средствами масс-музыки. Веббер, может быть, первый показал, что традиционный стиль — не единственная возможность воплощения гуманитарного содержания в музыке. И все-таки!.. Страшно сказать, но за последние лет пятнадцать стало казаться уже, что вообще все возможности исчерпаны, традиционные или новые, даже поздний Шостакович уже не потрясал, а лишь “привлекал” к глубокому слушанию, и казалось, все было выражено, все было воплощено, и не музыка, а, положим, кино феллиниевского или бергмановского плана берет на себя роль того этического и эстетического бога и наставника, каким была еще столь недавно великая музыка.

Однако музыка, как мы убеждаемся, этой роли не оставляет. Что-то значительное произошло внутри ее сфер, если сегодня

возникает в ней то, что мы слышим у Альфреда Шнитке. Язык его музыки, несущей на себе все атрибуты авангардизма, говорит с людьми о людском же, говорит сильно и страстно, с пафосом и иронией, зовет и предупреждает, приемлет и отрицает, по-детски веселится и скорбно рыдает.

Может быть, повторим здесь, *этот* мост Шнитке имеет значение еще большее, чем тот, который соединил авангардизм с традиционным стилем. Речь идет не только о путях, проложенных сквозь стену к авангарду, а о возвращении всей музыке ее подлинной новизны и истинной — высокой духовной содержательности.

III. Указания. Переходы от модуля к модулю указаны стрелками. Переходы могут исполняться в любой последовательности и в любом направлении, однако только триадами и так, чтобы модуль "Музыка А. Шнитке" оказывался в середине каждой триады. Указание к динамике: на каждом переходе через стену следует кульминация. Общее число переходов не ограничивается.



IV. Солисты и хор, симфонический и духовой оркестры, электронная группа и орган.

А время, движась непрерывно,  
Льет воды, годы и песок.  
Фаустианство, как ты дивно!  
Разумному судьба противна,  
Ему не страшен жалкий рок:  
Душа и в муках неизбежна.

Шаги Мефисто брякнут сухо —  
Не то галоп, не то рысца.  
И в нем есть кое-что для слуха:  
Твори, не поднимай лица!  
Как бы ни стало позже глухо,  
Есть музыка. Ей нет конца.

4 симфонии, Реквием, Фауст-кантата, Желтый звук (по В. Кандинскому), Концерто-гроссо, Три стихотворения Марины Цветаевой, Прелюдия памяти Д. Д. Шостаковича, 4 скрипичных концерта, 2 фортепианных концерта, Одиннадцатая заповедь, Тихая музыка, Голоса природы, Вариации на один аккорд, 2 скрипичных сонаты, Виолончельная соната, Диалог, Квintет, Поток (электронная музыка), Нагасаки, Канон памяти И. Ф. Стравинского, 2 квартета, Гимны, Моц-Арт, Мадригалы, Лабиринты — — — — —

*Ноябрь 1984*

---

В текст публикации М. Генделева "Война в саду" ("22" № 38) вкрались две досадные опечатки: вместо "с неба свод" следует читать "в неба свод" и вместо "Господь нам не знает по-русски" — "Господь наш не знает по-русски".

*Зеев Бар-Селла*

### К ВОПРОСУ О ДРЕВНЕЙШЕЙ ИСТОРИИ ЕВРЕЕВ КАВКАЗА

*(Б. Б. Маноах "Пленники Салманасара (Из истории евреев Восточного Кавказа)". Иерусалим, 1984. 160 с.)*

"Израильское общество почти ничего не знает о евреях Кавказа", — так начинает Б. Маноах своих "Пленников Салманасара". Можно оспорить слово "ничего", но приходится признать, что в Израиле (да и не только здесь) о евреях Кавказа знают мало. Восполнить этот досадный пробел и призвана данная книга. Б. Маноах обладает качеством в высшей степени похвальным — он любит свой народ. Быть может поэтому впервые со времени выхода монографии И. Анисимова (Нисим-оглы) "Кавказские еврей-горцы" (1888) появляется исследование, затрагивающее практически все аспекты истории и жизни этой еврейской общины. Уникальной ценностью обладают впервые собранные в книге свидетельства о советском периоде, дающие автору возможность убедительно опровергать фальсификации нынешней дагестанской публицистики и единственного официального "специалиста по горским евреям" М. Ихилова. Легко можно понять негодование Б. Маноаха, и в Израиле натолкнувшегося на "факты отрицательного отношения к кавказскому еврейству" (с. 2). Печально только, что стремясь преодолеть эту неприязнь, автор обращается к аргументам, единственным основанием которых является наивный шовинизм.

Только этим можно объяснить следующее странное умозаключение: "...кавказские евреи пользуются так называемым "сефардским носахом" (...) Нетрудно поэтому прийти к предположению, что еврейские религиозные предписания появились на Кавказе за много веков до появления самого ашкеназийского течения" (с. 122). Чтобы осмыслить такой удивительный факт, нет нужды погружаться в историю ашкеназов, можно ограничиться Иудой Черным, указавшим, что "сефардский носах" богослужения производится у горских евреев по ритуалу знаменитого раввина Хаима Йосефа Давида Азулая\*. Одного взгляда на даты жизни р. Азулая (1724—1806) достаточно, чтобы больше не спорить о старшинстве. Но Б. Маноах спорит: "Неоспорим факт эмиграции евреев на Восточный Кавказ и на стыке 15—16-го веков, когда евреи спасались от испанской инквизиции" (с. 4). Действительно, оспорить такой факт трудно, поскольку он существует только в

---

\*И. Черный "Горские Евреи", — "Сборник сведений о кавказских горцах". Вып. 3 Тифлис, 1870, с. 41.

воображении Б. Маноаха. Но даже если исходить из воображаемых возможностей, представить себе, что на всем расстоянии от Испании до Дагестана для испанских эмигрантов не нашлось места более удобного, чем Дербент...? Тем более были такие места — Оттоманская империя, Амстердам...

Автор останавливается и на исключительном Б-жьем благоволении, пребывающем на горских евреях. Размышляя, например, о причинах неудачи немецкой акции по уничтожению евреев Нальчика и Моздока, он заключает: "Очевидно, Богу Авраама, Ицхака и Якова не было угодно уничтожение этих общин" (с. 73). Из этого, очевидно, следует, что уничтожение общин Варшавы, Берлина, Парижа, Вены, Афин, Будапешта, Киева, Минска, Харькова, Белостока, Вильно, Риги и т. д. было Богоугодным делом. Желательно думать, что это утверждение автора продиктовано лишь недомыслием.

Утвердившись в настоящем и недавнем прошлом, Б. Маноах обрушивается на древнюю историю. Арабские — "дух" (р ю х ъ ), — "мыло" (с а б у ), — "пример" (м а с а л ), "маслина" (з е т у ), персидское — "сталь" (п у л а д , отсюда и русское "булат") и даже я р с а д — "поминки" (из идиш "йорцайт" — "годовщина смерти") — все это для него доказательство того, что горские евреи никогда не переставали говорить на иврите (с. 156—160). Отсутствие же у горских евреев фамилий Коэн и Леви, обстоятельство до сих пор и во всех известных случаях (иудейские общины Хайбара в Аравии, русские сектанты — "субботники" и др.), служившее доказательством прозелитизма, автор считает аргументом в пользу происхождения дагестанских евреев непосредственно от самаритян (с. 21—22). Возможность такого решения проблемы подсказал автору житель Гиват-Ольги Гавриил Исаков (с. 22), однако на родной кавказской почве советчики Б. Маноаху не нужны:

"Удивление и горькое сожаление вызывают утверждения некоторых современных еврейских историков о том, что якобы прикаспийские евреи (или даже евреи всего Кавказа) являются потомками хазарских племен, принявших иудейскую религию. Это утверждение противоречит всем историческим данным, бесспорно подтверждающим, что именно под влиянием евреев Восточного Кавказа (Прикаспия) хазарские цари и их приближенные приняли иудейскую религию. Утверждать обратное означает подтвердить вымысел, "братающий" нынешних советских историков— невежд..." (с. 19).

Конечно, брататься с советскими да и с любимыми другими невеждами-историками очень не хочется. Проблема, однако, в другом: как и в случае с испанской инквизицией, мнение автора не основывается ни на одном факте. Что же нам известно на самом деле?

"До нас не дошло никаких отрывков из скорбной летописи жизни Евреев на восточном Кавказе от 10-го до 18-го века", — пишет выдающийся исследователь еврейско-татского языка Всеволод Миллер \*. Можно поду-

\**Вс. Миллер "Материалы для изучения еврейско-татского языка. Введение, тексты, словарь". СПб, 1892, с. 15.*

мать, что об их истории до 10-го века нам известно больше. Но, правду сказать, скорбная летопись горских евреев одинаково ущербна с двух концов. Тогда откуда вообще взялся 10-й век в истории, начисто лишенной дат?

Эта переломная веха в жизнеописании безвестности пришла со стороны и есть порождение синтетической историографии. Утверждения строятся на соединении ряда бесспорных фактов: кавказские евреи — евреи; хазары исповедовали иудаизм; кавказские евреи живут на Кавказе; Хазарский каганат включал в свои пределы часть Дагестана; в этой части Дагестана сейчас проживают кавказские евреи. Ерго, до 10-го века история горских евреев была неотделима от истории хазар. В 10-ом веке Хазарский каганат стараниями Святослава пал. После этого о хазарах ничего не слышно. Значит, логично допустить, что ничего не слышно было именно о горских евреях. И действительно, до 18-го века ничего о них не известно.

Чтобы принять всю эту изящную концепцию, необходимо допустить, что народ, известный ныне под именем горских евреев и говорящей на диалекте татского языка, жил там, где он живет, и в 10-ом веке, а самое главное — и до 10-го. Но этого-то как раз мы утверждать не можем: о горских евреях умалчивает как древняя, так и новая (до 18-го века) история.

Можно подойти и с другой — антихазарской — стороны. Тогда окажется, что прибытию горских евреев в Дагестан споспешествовали неукротимые враги иудеев-хазар — арабы. С арабскими обозами проникли на Кавказ персы. Татский же язык (включая и еврейский диалект) — язык иранский, близко родственник персидскому. Возражение, пожалуй, можно сделать такое: говорение евреев на идише, языке германском и близко родственном немецкому, еще не означает еврейского участия в Великом переселении народов, сокрушившим Рим.

Вторая точка зрения высказана в авторитетной "Краткой Еврейской энциклопедии"\*.

В ее оправдание можно сказать, что мнение свое "Энциклопедия" высказывает сверхосторожно: "Судя по языковым и косвенным ист. данным можно предположить..." Языковой стороны мы уже касались; что же касается "косвенных ист. данных", они следующие: в 639—643 годах Азербайджан и Дагестан подверглись арабскому нашествию; следовательно, если предположить, что евреи уже были в это время на этом месте, почему бы им не оказаться в гуще исторического процесса? Но это то самое, что и требуется установить: были ли горские евреи в то время на нужном месте, а если не были, то откуда они пришли?

Если окрестные народы, погрязшие в своих проблемах, не удосужились обратить внимание на горских иноплеменников, послушаем, что говорят о себе сами евреи.

Первый раз они высказались в 1728 году, привечая немецкого путешес-

---

\*"Краткая Еврейская энциклопедия", т. 2 (Габбай-Измил). Иерусалим, 1982, стр. 182.



твенника и российского агента Гербера. "Их раввины не могли сообщить о их прошлом никаких сведений, кроме того, что их предки были уведены в плен падишахом Мусуля (Мосула — З. Г.), то есть Ниневии, и сосланы в Мидию и здешние страны"\*.

Отдаленность места жительства спасла евреев Кавказа (всех, ибо того же мнения держатся и грузинские евреи) от участия в строительстве Второго Иерусалимского Храма (словно знали, что будет он разрушен).

Но не все горские евреи были такими неразговорчивыми. Вот, например, рабби Шимон из города Грозного. В 1886 году в разговоре с Всев. Миллером р. Шимон показал: "Евреи, сначала жившие в Кордоуре (?), бежали от притеснений врагов одни в Мюджи (Шемахинск. у.), другие в Варташен (Нухинск. у., Елисаветпольский губ.), а отсюда некоторые перешли в Дерей-катга и Эндери (ныне крепость Внезапная"\*\*\*). Все указанные населенные пункты, за исключением исходного, находятся в пределах Азербайджанской ССР. Незадача только с Кордоуром (уже Миллер поставил здесь вопросительный знак).

Однако подлинные жемчужины приберегали учащиеся Темир-Хан-Шурина (ныне г. Буйнакск) реального училища. Их бесхитростный рассказ удалось записать в 1882 году. Вот он:

"Кавказские Евреи были вытеснены из Вавилона (Багдада) персидским царем 602 года тому назад. В начале переселения Евреев главою церкви их в Вавилоне был некто Сафарат, и самое время их переселения называется временем Сафарата. Переселяясь из Вавилона, большая масса евреев прибыла в местность Гатта, находящуюся в узких ущельях. Здесь они заботились не столько о хлебопашестве, сколько о защите от нападений. На крутых скалах они построили себе маленькие селения; от этих селений теперь остались развалины жилищ и кладбища. В ущельях, где расположена Гатта, протекает речка — Бугай-чай. Когда бывает засуха, евреи выходят с священными книгами к берегу Бугай-чая, где находятся могилы их предков, выкапывают яму, берут с молитвою воду из Бугай-чая и наливают в яму, дабы шел дождь. При выкапывании ямы для молебствия о дожде был найден замечательный надгробный памятник рабби Анины. На памятнике была надпись: умер 279 лет после Галют Сафарата. Местные Евреи время переселения из Вавилона называют: Галют Сафарат, то есть несчастье Сафарата"\*\*\*)

Итак, мы не только получаем сведения о событиях 600-летней (для нас

---

*\*И. Г. Гербер. "Известие о находящихся с западной стороны Каспийского моря между Астраханью и рекою Куром народах и землях и о их состоянии в 1728 году". "Ежемесячные сочинения и переводы, служащие к пользе и увеселению служащих", СПб, 1760, Октябрь, с. 306—307.*

*\*\*Вс. Миллер "Материалы...", с. 2.*

*\*\*\*"Предания о некоторых местностях Дагестана". — "Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа", вып. 2. Тифлис, 1882, с. 138.*

уже 700-летней) давности, но также узнаем о существовании у горских евреев собственного летоисчисления и извлекаем из исторического небытия имя гордого водителя народа — Сафарата.

Это все, конечно, замечательно, если оставаться в границах кругозора преподавателя реального училища. Но стоит немного выйти за эти пределы, и все становится на свои места, ибо "Галют Сафарат" — это не "несчастье Сафарата", а "Г а л у т С ф а р а д" — изгнание из Испании. Конечное "т" вместо "д" в слове "Сфарад" объясняется тем, что слово это русский учитель записал со слуха, как слово "брот" вместо "брод", "плот" вместо "плод" и т.д. Что же до загадочного "Кордоура" из рассказа рабби Шимона, то здесь нам в помощь дан Иуда Черный, записавший еще одну версию рассказа о странствиях горских евреев. В этом рассказе древним местопребыванием евреев, плененных Салманасаром, царем Ассирийским, названо селение Курдован.\* В сев. Миллер не исключает, что Курдован идентичен Курдевану, селению горских евреев в Шемахинском уезде Бакинской губернии\*\*.

Но обжегшись на Сафарате, подумем на Курдован и оглянемся на Кордоур. И тогда из-под легендарного пепла покажется — К о р д о в а .

Итак, если верить преданию, горские евреи происходят из той же общины, что и Иегуда Галеви, Ибн Эзра, Ибн Гвириоль и Барух Спиноза.

А почему, собственно, не верить? Ведь не соседи-азербайджанцы поведали евреям о печальной судьбе Еврейской Испании? Нет, не соседи. Значит... Ничего не значит: уже полтысячи лет мир живет в эпоху, для которой этнографические методы не действительны. Распространение информации более не закреплено за фольклором. Слово народное, вещь вообще крайне ненадежная, уступило место печатному слову. Из книги обрели горцы народную память. Изготовлены книги эти были не на Кавказе, конечно, а отпечатаны в Венеции в конце 16-го и начале 17-го веков. Сохранились они еще в начале нашего века.\*\*\* С книгой в горы проникли и знания о Талмуде, хотя и не всегда в надлежащей строгости: заповеди Моисея, например, горцы записывали на внешней стороне пергамента, что сразу же делало их негодными.\*\*\* (записывать текст Торы можно лишь на внутренней стороне кожи).

В окрестностях Курдевана приютилось еще одно предание:

"В смутные времена Надир-шаха, терпя от различных нападений и не будучи уже в состоянии терпеть жестокую участь свою, большая часть евреев решила навсегда оставить этот край и уйти в Багдад и Палестину. Их наставником и путеводителем был рабби Давид-бен-Реувин. Они странствовали с места на место, пока дошли до Каспийского моря и сели на корабль. Корабль потерпел крушение, но евреи спаслись на чудесно возник-

---

\*И. Черный. "Горские евреи", с. 17.

\*\*Сев. Миллер. "Материалы", с.Ш.

\*\*\*Феликс Львович Шапиро. "Сборник статей и материалов". Иерусалим, Еврейское Агенство (Сохнут), 1983, с. 87.

\*\*\*\*И. Ш. Анисимов. "Кавказские Еврей-горцы". М., 1888, с. 183.

шем острове. Там они жили пять дней, пока проплывавший мимо корабль подобрал их и доез до материка. Они высадились на берег Ширвана, а от туда опять странствовали до старой Шемахи, оттуда в селение Мюджи. Только они вошли в это селение, как рабби Давид-бен-Реувин скончался, изнемогши от изнурительной дороги. Он был погребен на старом еврейском кладбище, в селении Курдеване, местопребывании в древности евреев, пленников Салманасара, ассирийского царя. Пришельцы рассказали своим собратьям свои приключения на море и на суше, и все славили Бога Израиля".\*

Первое, что обращает на себя внимание – это фантастичность повествования. Дело не в чудесно возникшем острове, а в маршруте. Взглянув на карту, мы обнаружим, что изнурительная дорога растянулась на 40 км по суше, 70 км по морю и завершилась в Курдеване в 70-и км от побережья – в результате никак не более 180-и км на всех видах транспорта. При этом совершенно очевидно, что "Курдеванский Анабазис" окружен торжеством, приличествующей Исходу из Египта. Но не стоит упрекать горских сказителей в отсутствии логики. Не стоит, поскольку путешествие в Курдеван – из того же собрания, что и несчастья Сафарата. Дело в том, что мужественный рабби Давид-бен-Реувин есть никто иной как знаменитейший Давид Реувени – князь Иудейский, отродясь не бывавший на Кавказе.

Все рассказанное можно оценивать только с точки зрения общей теории культурных контактов, а именно: европейская история, попадая на Восток, превращается в восточную легенду. Вывод малоутешительный, но, как мы уже успели понять, легендарны и научные утверждения. От легенд Востока их отличает лишь концептуальная форма Запада. И пока историки будут довольствоваться косвенными ист. данными, не будет удержу малограмотным бредням какого-нибудь Илишаева. Такому мало написать, что "Маген Давид" изобрел горский еврей, он не постесняется тиснуть и ф о т о г р а ф и 1813, 1815 и 1832 годов, а также фотомонтаж, выдаваемый за портрет Герцля с двумя горцами подмышкой.\*\*\*

Фальшивые генеалогии не приносят славы. Кого бы не вписывали в предки горских евреев, и для них, и для нас важно только одно – они евреи. В Израиле они, слава Богу, не нуждаются в эпитете. Собственно говоря, такую цель провозглашает и Б. Маноах – "по мере своих сил содействовать слиянию отдельных "клеток" нашего народа в единый организм" (с. 2).

Он прав, – иначе нашему народу, как и любому организму, не выжить.

---

\*И. Черный. "Горские Евреи", с. 16–17.

\*\*Н. Илишаев. "С Кавказа в Иерусалим". Тель-Авив, 1981.

## ЛЕНИНГРАДСКИЙ КЛУБ-81

Я никогда не был членом содружества ленинградских писателей, столь неудачно названного Клубом-81; но возникло это объединение у меня на глазах, и поскольку на Западе все еще недоумевают относительно его природы, то мне и кажется небесполезным поделиться моими наблюдениями и соображениями.

Идея клуба (или даже профессионального объединения неподцензурных писателей, которых в этом городе десятки, если не сотни) давно носилась в воздухе, а с конца 1980-го, после подавления машинописного литературного журнала *Тридцать Семь* и обыска у одного из его редакторов, поэта Виктора Кривулина, сделалась предметом диалога с охранкой. Рассказывали, что гебисты, потребовав от Кривулина прекращения журнала, предложили ему в качестве альтернативы нечто вроде дискуссионного клуба, а он, будто бы, отказался. Достоверно известно, что 7 декабря 1980-го, телефонным звонком на Запад, Кривулин декларировал создание в Ленинграде Свободного культурного цеха, существующего на правах профсоюза, — а также и то, что цех этот был всего лишь декларацией и реально никогда не существовал. Затем идея была подхвачена кругом составителей и авторов журнала *Часы*. (Это машинописное издание, начатое около семи лет назад, продолжается и по сей день вышло более сорока книг журнала объемом в 400-500 страниц, содержащих решительно все мыслимые в журнале разделы.) Между литераторами и гебистами начались телефонные разговоры и полуофициальные встречи. Я тогда служил сменным мастером (потом — кочегаром) на Первом Октябрьском участке Адмиралтейского предприятия Теплоэнерго-3, проще говоря: треста котельных, и среди моих сослуживцев постепенно оказалось несколько литераторов, известных в Ленинграде и на Западе. Один из них, Борис Иванов, был всецело поглощен идеей объединения, он же был в числе первых парламентариев и затем в группе учредителей Клуба-81. Позже он отрицал какую-либо инициативу сверху, называя Клуб победой общественности над КГБ; но мне запомнилось другое: рассказ о звонке из КГБ — в котельную к Иванову. Впрочем, я не был свидетелем ни этого, ни других таких разговоров, слышанный мною рассказ мог быть неизбежной данью литературной легенде, а самый вопрос об инициативе перестал казаться мне важным после достижения договоренности между сторонами. Разрешение было дано, Клубу отвели для собраний лекционный зал музея Ф. М. Достоевского (позже — еще и большую пустовавшую квартиру по улице Петра Лаврова, 5), а в качестве куратора над этой небывалой организацией поставили научного сотрудника Пушкинского Дома, доктора наук и члена Союза писателей, Юрия Андреева, тут же прозванного *Андропычем*, человека вполне ничтожного, о котором вскоре стало известно, что он — инструктор ЦК КПСС по литературной части. Был составлен список из примерно 80 предполагаемых членов содружества. На организационное собрание пришел человек тридцать. Инициаторы выдвинули обширную культурную программу, далеко перекрывавшую область собственно литературы; на-

пример, предполагалось прослушивать и обсуждать классический джаз: среди людей, близких к инициаторам, были литературный критик и пианист-виртуоз. Был зачитан проект устава Клуба, любопытный документ, проникнутый духом компромисса, полный унизительных двусмысленностей и недомолвок, — но в котором, однако, вполне открыто формулировалось требование отказаться от зарубежных публикаций. Пункт этот был для меня неприемлем, но несравненно больше меня задело то, что активисты, как вскоре выяснилось в кулуарах, вовсе не считали его для себя обязательным. Обсуждалось и было отвергнуто предложение просить приравнять участие в Клубе к общественно полезной деятельности: некоторые опасались, что Клуб может стать еще одной бюрократической препоной типа Союза писателей, способной и вовсе поставить вне закона авторов, желающих остаться в стороне. Слушая прения, я пытался понять, что мне и другим может дать этот клуб в творческом отношении, и не находил ответа. Доводы в пользу легальных собраний и выступлений, о возможных в будущем публикациях, не убедили меня. Чтения в частных квартирах привлекали меня больше, чем в казенном месте: публиковаться, хоть и крайне трудно, но можно в России, — при этом литератор сохраняет гораздо больше свободы, осуществляя обе свои потребности в обход советской власти, а не в силу объявленного соглашения с нею. Постепенно я уверился, что истинными мотивами инициаторов Клуба были, с одной стороны, дурной коллективизм, желание заседать и председательствовать; с другой стороны, коллаборационизм, признание пусть лишь временно совпадающих, но все же общих с режимом целей. Мне же он был в сецело и окончательно чужд.

Отношение мое к Клубу определилось не сразу, до организационного собрания я был сторонником объединения, видимость общественной деятельности в безгласной стране заворожила меня. Несмотря на мой отказ подписать устав, я еще некоторое время продолжал получать по почте приглашения, и два-три раза побывал на собраниях Клуба. В эти редкие посещения в конце 1981-го, вместе со стихами Елены Игнатовой и прозой Наля Подольского (вскоре получившего за нее прокурорское предостережение), мне запомнилось и другое: покровительственный, начальственный тон членов правления Клуба в обхождении с рядовыми участниками, и у них же — занятая смесь подобострастия и дерзости перед Андреевым; до сих пор вижу поэта А. Драгомощенко, с искательной улыбкой и в полупоклоне пожимающего руку статному, молодящемуся, излучающему спокойное достоинство куратору.

Следующая запомнившаяся мне встреча происходила уже не в музее Достоевского, а в одной из котельных, бывших до недавнего времени местом работы и эскапизма для многих неподцензурных авторов. Борис Иванов и поэт Сергей Стратановский собрали здесь тех, кто не пожелал вступить в Клуб. Таковых, кроме меня, оказалось пятеро: поэты Тамара Буковская, Елена Пудовкина, Владимир Ханан, Олег Охупкин и Владимир Эрль; присутствовал также литературовед Иван Мартынов, уже потерявший к тому времени статус советского ученого, но к участию в Клубе не приглашенный. Целью представителей правления было переубедить нас. Помню долгие и бесплодные споры, сцены нетерпимости и непонимания. Пятеро оста-

лись при своем; поэт Олег Охупкин подписал устав и быстро сделался одной из наиболее заметных фигур в Клубе.

Последний раз я участвовал в акции Клуба как слушатель и зритель. В конце 1983-го удалось, наконец, провести публичное выступление поэтов содружества. Центральный зал Дома писателя был переполнен, публика толпилась на лестнице. Я не имел пригласительного билета и оказался внутри буквально чудом. Там мне дали отпечатанную типографским способом программку, в которой значилось: выступают члены литературного объединения Клуб-81... Лишь человек, долгие годы наблюдавший местную литературную жизнь, мог оценить, сколько уничижительного смысла вложили организаторы в эту казенную реплику. Уже начав действовать, Клуб долго не имел имени. Никакими усилиями не удалось заставить Андреева ввести в название слово *писатели* или хотя бы *литераторы*. Итогом препирательств явилось странное, ничего не значащее сочетание, отдающее площадью и балаганом. Одно забавное происшествие показывает, что Андреев защищал здесь не только партийную, но и народную точку зрения. Однажды, в вестибюле музея Достоевского, посетитель спросил, здесь ли выступают писатели; гардеробщица решительно возразила ему: нет; посетитель предъявил приглашение.

– А, эти-то, *самодельные*? Здесь, проходите, – был ответ.

Итак, в программке нельзя было употребить слово *поэты*, и непосвященный не знал, будет он слушать стихи или прозу. Но словосочетание *литературное объединение* было уже не вынужденной уступкой бытующим нравам, а просто плевком в адрес выступавших: так или иначе известных авторов, пишущих не первое десятилетие, в возрасте около и даже старше сорока, приравниали к членам рассеянных по городу любительских кружков, посещаемых юнцами и пенсионерами и доставляющих легкий хлеб их руководителям, членам Союза писателей. Едва сообразив все это, я увидел, как Андреев выводит на сцену своих подопечных: Ольгу Бешенковскую, Елену Игнатову, Елену Шварц, Сергея Стратановского, Олега Охупкина, Виктора Кривулина, Эдуарда Шнейдермана, Виктора Ширали, Бориса Куприянова, Владимира Нестеровского и Аркадия Драгомощенко. Здесь их ожидали новые унижения. Куратор решил предвдварять каждое выступление краткой характеристикой автора. Обнаружилось, что благообразный сотрудник Пушкинского Дома плохо владеет словом и не понимает стихов, но очень хорошо знает свою роль: все представляемые (лучше знакомые аудитории, чем ему) оказались у него людьми хоть и не бездарными, но все же еще далекими от подлинного профессионализма. Но этого мало. По мере того как поэты, один за другим, заканчивали свои выступления, я увидел, что читают они не лучшие и, в основном, старые свои вещи. Выяснилось это по окончании вечера: Стратановский, а за ним и Игнатова, не дожидаясь моего вопроса, рассказали мне, что было решено читать лишь из сборника, составленного в Клубе в 1981-м и теперь проходящего шлязью Горлита. Книга эта и по сей день ожидается. Выйдя на улицу, я вздохнул с облегчением и очень захотел забыть поскорее этот грустный спектакль.

Из моих наблюдений не следует, что среди членов Клуба-81 нет людей талантливых и добросовестных. Таковые есть – как есть они и в Союзе

писателей. Человек, не мыслящий себя вне России, не может уклониться от коллаборационизма, вынужден в той или иной степени сотрудничать с режимом. Но писателю следовало бы сознавать это, стараться свести соучастие к минимуму и уж во всяком случае не искать с ними сближения и диалога. Что же касается властей, то с их стороны Клуб-81, конечно, никакая не уступка, а всего лишь попытка селекции писателей – для последующей трансплантации части второй литературы в первую, быстро теряющую читательское доверие.

*Яков Ашкенази*

## “ЦВЕТНОЙ ТУМАН”

*(М. Булгаков. Фотобиография. Сост. Э. Проффер,  
“Ардис”, Анн-Арбор, 1984)*

Рассказывают, что в музее Шекспира была выставлена колыбель, а под нею было аккуратно указано: “Колыбель Шекспира, когда он был маленьким”. Вам смешно? Вам кажется, что вас надувают? Совсем нет. Надеются на богатство вашего воображения. Не более того. Но и не менее. “Случайно на ноже карманном найди пылинку дальних стран...”

...Так это тот самый камень, который голгофа? который тесали для могилы Гоголя? – вот он, на могиле Булгакова. Казалось, это все фольклор, легенда – а вот он, на фотографии. На фотографии – могильный камень; а может, не тот камень? или не так дело было? Но вы отбросьте недостойные сомнения и думайте – вот, как оно было, и вот этот камень, и подумайте о предначертанной судьбе камня, который долго искал своего подлинного воплощения и – воплотился.

Что может означать одиночная буква “М”, вышитая на шапочке? Если шапочка принадлежит человеку по имени Михаил, то буква “М” указывает, что шапочка принадлежит этому Михаилу. Но владелец шапочки написал роман, в котором герой носит точно такую же шапочку? Значит, это та самая шапочка – из романа! Какое удивительное превращение – шапочки, вышитой на ней буквы, героя романа, автора романа – и документальное подтверждение этого чуда.

Фотобиография Булгакова, составленная покойным Э. Проффером, вполне заслуживает хвалебной аннотации, вынесенной на последнюю страницу обложки, а в аннотации говорится, в том числе, следующее: “Уникальная фотобиография одного из величайших писателей России,... более ста пятидесяти редких и ранее не опубликованных фотографий,... свободный от цензуры рассказ о жизни писателя. В этот художественный альбом включены фотографии почти каждого этапа жизни Булгакова, образцы рукописного текста,... фотографии его родственников, жен, друзей и коллег по перу,... письма и документы, карикатуры и рисунки, страницы из театральных журналов 1920-х годов, сцены из его спектаклей... и наконец, фотографии мест, где жил Булгаков, о которых писал...” А именно – мест, к которым вы бежали, приехав в Киев: Андреевский спуск и дом семьи

Турбиных, а также мест, к которым вы бежали, приехав в Москву: подвал, в котором жил Мастер со своей Маргаритой, дом Грибоедова; дом, в котором была квартира Берлиоза, дом Массолита, и место, где Аннушка пролила масло. И скамейка на Патриарших прудах.

Такие скамейки, как та, что на фотографии, ставили в парках, кажется, в начале 60-х годов. Берлиоз, Иван Бездомный и Воланд сидели на другой скамейке. Но та скамейка, на которой они сидели, стояла на том самом месте. Цветной туман.

Разглядывающий эти фотографии увидит в альбоме образы трех поколений, представителей трех эпох в жизни России: родители Булгакова и сам Булгаков до революции; Булгаков и его окружение в двадцатые-начале тридцатых годов, и они же во второй половине тридцатых годов. Меняются лица и ситуации, персонажи фотографий смотрят часто наигранно, как и полагается для любительской съемки. И только Булгаков смотрит всегда настороженно, с разными оттенками этого состояния. Он настороженно насмешлив, настороженно внимателен, настороженно сосредоточен, настороженно печален. Это качество отношения к своему времени автора "Белой гвардии" и "Мастера и Маргариты".

### ЖУРНАЛ "АЛЕФ" —

одно из самых популярных периодических изданий  
на русском языке.

Сегодня журнал "Алеф" нашел своего читателя в Израиле, США, Канаде, Австралии, Бельгии, Франции, Греции, Испании и даже... в СССР.

Название рубрик журнала: "Вокруг света", "Проблемы дня", "Экономическое обозрение", "Приглашение к спору", "Страничка ЦАХАЛа", Это — Израиль, это -- еврей", "Знакомые незнакомцы", "Люди среди людей", "Библейская археология", "Из истории Эрец-Исраэль", "Дела секретные", "Террор", "Литературная страница", "Детективы", "Женская страничка" — говорят о разнообразии журнала, о том, что каждый может найти в нем материалы, которые будут ему интересны.

Наш адрес: Тель-Авив, П.Я. 37356, Израиль, тел. 03/621-682.

Стоимость журнала в Израиле — 350 шекелей, за границей — 1,5 доллара (вместе с пересылкой)



## Объявляется подписка на журнал "Двадцать два" на 1985 год

Стоимость годичной подписки: в Израиле – до завершения "пакетной сделки" – 13175 шекелей, по завершении – будет объявлено особо в соответствии с новым курсом цен; за рубежом – 40 долларов (авиапочтой в Европу – 50, в США – 56 долларов), для организаций – 50 долларов. Заказы и чеки направлять по адресу: "22", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль.

### ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Прошу подписать меня на журнал "22", начиная с №  
Прилагаю чек (чеки) № ..... на сумму  
Журнал прошу выслать по адресу

.....  
.....  
(пишите разборчиво, желательно указать № телефона)

Жертвую в фонд журнала

.....  
(фамилия)

### КО ВСЕМ ЧИТАТЕЛЯМ

Мы призываем всех, заинтересованных в сохранении нашего журнала, помочь нам пожертвованиями, которые будут приняты с глубокой и искренней благодарностью независимо от их размера.

В ноябре-декабре журнал поддержали пожертвованиями следующие лица: доктор Сорокин (Раанана) – 2000 шек., А. Луцкая (Рамат-Ган) – 6825 шек., М. Козленко (Кирият-Гат) – 6825 шек., Варнавицкая (Хайфа) – 5000 шек., С. Рахлин (США) – 25 долл., Л. Шамкович (США) – 10 долл., П. Хнох (К.Тивон) – 1825 шек., М. Краковский (Тель-Кабир) – 2825 шек., Карапетян (Кфар-Сава) – 1825 шек.

### КО ВСЕМ АВТОРАМ

Редакция не возвращает отвергнутые рукописи и не вступает в переписку по их поводу.

**В ПЕРВЫХ НОМЕРАХ 1985 ГОДА РЕДАКЦИЯ ПРЕДПОЛАГАЕТ НАПЕЧАТАТЬ:**

**в разделе литературы**

*продолжение романа Ле-Карре "Маленькая барабанщица"  
окончание повести Леонида Цыпкина "Мост через Нерочь"  
главы из новой книги Сергея Юрьенена "Инфантильный роман"  
новые произведения Феликса Розинера и Леонида Гиршовича*

**в разделе израильских проблем**

*интервью из серии "Израиль-84 — кризис сионизма?"  
материалы дискуссии "новых израильтян" с "новыми американцами"  
статьи из подборки о фанатизме в иудаизме и исламе*

**в разделе публицистики**

*новое эссе Станислава Лема "Провокация", любезно предоставленное автором журналу "22"  
статьи — Александра Воронеля "Непрочитанный Солженицын"  
Артура Грина "Притчи цадика Нахмана из Брацлава"  
Дмитрия Шляпентоха "Иов советский и Иов китайский"  
Майи Каганской и Зеева Бар-Селла "Начало и конец советской фантастики"  
Александра Донде "Мнимые величины русской эмиграции"  
Фреда Каца "Катастрофа как бюрократическая рутина"*